
Л. А.
АВИЛОВА
РАССКАЗЫ
ВОСПОМИНАНИЯ



Л. А. АВИЛОВА

РАССКАЗЫ
ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·
1984

Р2
А20

Составление и примечания Н. С. Авиловой

Вступительная статья И. А. Гофф

Художник Ю. Ф. Алексеева

Авилова Л. А.

А20 Рассказы. Воспоминания/Сост. и прим. Н. С. Авиловой; вступ. ст. И. А. Гофф.— М.: Сов. Россия, 1984.— 336 с., 1 л. портр., ил.

Творчество Лидии Авиловой (1864 — 1943) развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А. П. Чехова. В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80 — 90-х годов, рассказывающие о премьерах чеховских пьес, о встречах автора с Л. Толстым и М. Горьким. Сборник дополняют отрывки из дневников писательницы и ее известная, неоднократно переиздававшаяся повесть-воспоминание «А. П. Чехов в моей жизни».

А $\frac{4702010100-187}{М-105(03)84}$ 80—84 Р2



О ЛИДИИ АВИЛОВОЙ

Не всякая книга нуждается в предисловии. Тем более книга, где немало страниц отведено воспоминаниям, в которых явственно проступают биографические черты автора и характерные черты времени...

Не кратчайший ли это путь для знакомства с писателем?..

И все же мне кажется, мало какая книга столь нуждается в нескольких страницах, ее предваряющих, как эта, принадлежащая перу писательницы Лидии Авиловой. В свое время весьма знакомая читающей публике,— рассказы, рассеянные по множеству популярных газет, и повести в «толстых» журналах,— издавшая несколько книг (последняя из них вышла в 1919 году), она на долгие годы затем замолчала. И все же ее молчание было кажущимся — она продолжала работать исподволь, преодолевая страдания потерь, жизненные неурядицы, а затем и болезнь, имя которой — старость... Ибо настоящий писатель не может не писать.

Иван Алексеевич Бунин, близко знавший Авилову, в беседе с Пушешниковым сказал о ней: «Она принадлежит к той породе людей, к которым относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах,— конечно, она не отдала писательству своей жизни, она не сумела завязать тот крепкий узел, какой необходим писателю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с искусством, но в ней есть та сложная, таинственная жизнь. Она как переполненная чаша...»

Сложная, таинственная жизнь...

Большой художник и проницательный психолог, Бунин сказал это задолго до того, как прочел воспоминания Авиловой «А. П. Чехов в моей жизни». Он охарактеризовал их как блестящие.

«Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием...»

Привожу эти строчки здесь, в начале, так как именно воспоминания Авиловой, много раз печатавшиеся, переведенные на иностранные языки, сделали имя Лидии Алексеевны широко известным у нас и за границей. В 1947 году, спустя четыре года после смерти Авиловой, они впервые увидели

свет в однотомнике «Чехов в воспоминаниях современников». До недавнего времени эти яркие воспоминания о Чехове, где Авиловой невольно приходится говорить и о себе, были почти единственным способом узнать, что представляет собой сам автор воспоминаний, ставших открытием не только для Бунина, но для очень многих. И встреченных, как и всякое открытие, по-разному. Порой восторженно, порой с недоверием. Уж слишком незнакомо было читающей публике, да что там — даже близко стоявшим к Чехову людям, лицо автора воспоминаний, давшего нам возможность отчетливо и близко увидеть другого, непривычного Антона Павловича Чехова.

Долгие годы лицо Авиловой оставалось в тени. Так не пора ли предоставить читателю возможность ближе узнать ее? Узнать как писателя и как личность.

Лидия Алексеевна Авилова (урожденная Страхова) родилась 3 июня 1864 года в скромной дворянской семье. Имение Клекотки Тульской губернии, небольшое поместье, было поделено бывшим владельцем на троих детей,— одной третью его владели Страховы. Вскоре семья Страховых перебралась в Москву, на Плющиху. С тех пор детство девочки Лиды делилось между городом, с его долгими скучными зимами и запретами, и сельской жизнью, с ее весной, полевым простором, пеньем жаворонков, запахом трав. Первые впечатления в Клекотках навсегда останутся главной частью ее души, источником сил, обновления и радости, которую давали ей даже воспоминания о Клекотках:

«Кричат грачи, и ходит волнами весенний, деревенский воздух, и пахнет молодой крапивой и теплой землей... Все только в начале, только в обещаниях...»

Москва, гимназия, вместо старой доброй няни — водевильные гувернантки, сопровождающие повсюду,— девушке неприлично одной появляться на улице.

Гимназия разочаровала ее. «Когда я стремилась стать гимназисткой, я представляла себе ученье как-то иначе, не так скучно».

Ей было одиннадцать лет, когда внезапно умер отец. Семья Страховых была большая,— в живых из детей осталось шестеро.

Чередование зимних будней и летних праздников, первая любовь, пожалуй даже не первая — нулевая, которую сама она называла с годами детской глупостью. И подлинная первая любовь, красивый безвольный юноша из богатой семьи. В двадцать лет она стала его невестой. Он был военным, танцевал на балах в ментике, опушенном соболями. Она хотела, чтобы он поступил в университет, он обещал ей. Но у него недоставало воли. И она сама отказала ему. Отказав, тосковала. «Я решила, что выйду замуж «трезво». Мне жилось хорошо. Весело мне уже не было, но мне было интересно: я много писала...»

Писать она начала с детства, писала стихи и прозу. В гимназии на выпускных экзаменах ее сочинение на вольную тему было прочитано вслух как выдающееся. Ее рекомендовали Виктору Александровичу Гольцеву, который стал ее первым литературным наставником. Она приносила на его суд все, ею написанное. Знакомство с Гольцевым, совпавшее с окончанием гимназии (1882 год), его уроки дали ей необычайно много. Видимо, и он был доволен своей ученицей, потому что искренне огорчился, узнав, что она выходит замуж, сказав: «Это значит, что из вас ничего не выйдет».

В 1887 году она становится женой Михаила Федоровича Авилова, студенческого друга одного из ее братьев. Родом донской казак, он был на год старше ее. «Миша знал, что я не люблю его, как принято любить женихов»,— пишет она. «...ему, казалось, было совсем безразлично, что его будущая жена только ценит, а не любит его. Он как будто даже забыл о моем признании. Но, как потом выяснилось, совсем не забыл, и я за это признание долго и тяжело платилась».

Так все же почему она решила выйти за него замуж?

Она говорит о нем: «Я знала, что он умный... очень здраво глядящий на жизнь и очень верный человек». И добавляет не без иронии: «Ужасно я тогда ценила этот «здравый взгляд и верность...»

В том же, 1887 году молодые переезжают в Петербург и поселяются там вблизи Худековых — женой Сергея Николаевича Худекова, издателя «Петербургской газеты», была старшая сестра Авиловой Надежда Алексеевна. В доме сестры Лидия Авилова знакомится со многими известными литераторами. В главе воспоминаний, озаглавленной «Петербург», читатель найдет галерею портретов — иные лица даны бегло, словно едва намечены карандашом (Минаев, Мамин-Сибиряк), другие стереоскопически выпукло (Лейкин, Тихонов, актриса Савина, Боборыкин).

В тесной квартирке Худековых Авилова впервые встретилась с одним из авторов «Петербургской газеты» Антоном Павловичем Чеховым. Это случилось в 1889 году,— у нее уже был полуторагодовалый сын. Спустя три года они встретились снова. Ей было в ту пору двадцать семь лет, Чехову тридцать два.

Эта — вторая — встреча положила начало сложным отношениям, возникшим между Чеховым и Авиловой, их переписке. Не будем пересказывать то, о чем спустя десятилетия рассказала сама Лидия Алексеевна Авилова. Что, по ее словам, «так празднично осветило и так мучительно осложнило» ее жизнь. Читатель, не знакомый с мемуарами Авиловой, имеет возможность познакомиться с ними теперь.

Но нельзя не сказать, какое влияние на Авилову имел писатель Чехов, который почти на протяжении десятилетия читал рассказы, присылаемые ему, по его просьбе, Авиловой,— часто в рукописи. Чехов ощущал в ней истинное дарование и сетовал на то, что она относится к своему дарованию недостаточно серьезно. Он давал ей советы, которые она, по ее словам, тогда «плохо понимала». Уважая в ней художника, он никогда не делал ей

скидок, даже зная, что огорчит ее. Тут уместно заметить одну особенность в их переписке — письма Чехова к Авиловой отличаются от прочих писем, адресованных его корреспонденткам, серьезностью тона. Пишет ли он ей о своих финансовых делах, сообщает ли о решении переселиться в Ялту. Зная ее обидчивость, он шутит разве что критикуя ее рассказы, пытаясь смягчить свою критику: «То что есть Дуня, должно быть мужчиною. Сделайте Дуню офицером, что ли...» И, когда она обижалась: «...бог с Вами, уступаю, оставьте Дуню, но утрите ей слезы и велите ей попудриться». Чехов не только разбирал и критиковал написанное Авиловой, но иногда и сам передавал ее рассказы издателям. В том же письме от 3 марта 1892 года Антон Павлович пишет: «Гольцеву я хотел отдать рукопись с единственной целью — увидеть Ваш рассказ в «Русской мысли». Кстати, вот Вам перечень толстых журналов, куда я каждую минуту могу и готов адресоваться с Вашими произведениями: «Северный вестник», «Русская мысль», «Русское обозрение», «Труд» и вероятно еще «Неделя». И далее: «Уж коли хотите заниматься всерьез литературой, то идите напролом, ничтоже сумняшеся и не падая духом перед неудачами. Простите за сентенции». В его письмах встречаем: «...я хотел бы, чтобы Вы прислали мне что-нибудь Ваше — оттиск или просто в рукописи. Ваши рассказы я всегда читаю с большим удовольствием. Буду ждать...»

Первые рассказы Авиловой были напечатаны в «Петербургской газете». Постепенно круг ее публикаций расширился, она помещает свои рассказы в «Русских ведомостях», «Севере», «Сыне отечества», «Ниве»...

Дом Худековых, бывший для литераторов отчасти клубом, литературный кружок Гнедича, застолья у Лейкина, «завтраки» у Тихонова...

После выхода в свет в 1896 году сборника Авиловой «Счастливец и др. рассказы» она была избрана членом Союза взаимопомощи русских писателей (1897 год). Пишет и печатает в журналах повести,— «Наследники» («Русское богатство»), и «Обман» («Вестник Европы»). Критика отмечает ее литературные успехи. Появляются хвалебные статьи.

Но еще важнее высказывания о ней Толстого, Бунина, Чехова...

О повести Авиловой «Наследники» Бунин (под псевдонимом И. Чубаров) пишет в «Южном обозрении» за 1898 год: «В этой же книжке «Русского богатства» напечатана небольшая повесть молодой симпатичной писательницы Лидии Авиловой «Наследники»...»

Бунин излагает сюжет: «Перед читателем — наследники отживающего и отжившего свой век барства, разоренного и придавленного бессилием и... безденежьем, цепляющегося за обломки широких и благородных в известном смысле традиций...

Второе поколение... Неутешительны отпрыски знатного барства, но еще неутешительнее отпрыски мелкого дворянства... сопоставление сделано удачно и итог подведен весьма смело...»

В примечании к т. 84 «Литературного наследства», где помещена эта рецензия Бунина, сказано: «В повести Л. А. Авиловой Бунина привлекла проблема, в ней поставленная,— судьба русского поместного дворянства,

истории вырождения которого был впоследствии посвящен «Суходол»...»

«Впоследствии»!..

Толстой сказал о ней: «Авилова хорошие темы находит...» Он следил за ее творчеством, и многое нравилось ему,— читал ее рассказы вслух в кругу семьи, а один из них — «Первое горе» — отобрал для включения в свой «Круг чтения». По этому поводу Лев Николаевич писал Авиловой: «Я перечел этот рассказ, и он мне понравился еще больше, чем прежде, то есть очень...» Он не раз упоминал ее имя. В высказываниях Толстого, записанных Маковицким, встречаем: «Авилова пишет лучше Андреева. Она выбирает старые нравственные темы и пишет на них». О некоторых ее вещах он замечал, что они написаны «умственно-сухо». Толстой не знал, что это следствие уроков Чехова, которые она тогда «плохо понимала». Чехов, который напоминал ей: «Да! Когда-то я писал Вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И Вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление...»

Налет сентиментальности есть в ее рассказах «Тайна печали» и «Глупыши». Когда же она пыталась писать «холодно», у нее получалось сухо,— рассказ «Власть» и, отчасти, «Без привычки».

Чехов учил ее: «Вы мало отделываете, писательница же должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд был кропотливым, медлительным».

Она не могла выполнить этого. Детей было уже трое, они болели поочередно, а иногда и все сразу. Характер у мужа был несносный. Вдобавок он не одобрял ее писательства, ревновал к нему, и к чуждой ему литературной среде, и особенно к Чехову, который незримо — Михаил Федорович чувствовал это — вошел в их мир, занял сердце и мысли Лидии Алексеевны.

Она писала урывками, часто по ночам. Написано было уже немало. Появился и свой читатель — ее имя знали, говорили о ней. В письме от 10 июля 1898 года Чехов пишет ей из Мелихова: «Вы хотите только три слова, а я хочу написать их двадцать... Что Вы поделываете? Что пишете? Я часто слышу о Вас так много хорошего, и мне грустно, что в одном из своих писем я критиковал Ваши рассказы («На изломе») и этой ненужной суровостью немножко опечалил Вас.

Мы с Вами старые друзья, по крайней мере я хотел бы, чтобы это было так...»

Способности ее развивались, крепли. Она была прирожденным писателем, и если, по словам Бунина, «не сумела завязать тот крепкий узел, какой необходим писателю», то серьезные причины для этого были. И одна из них, главная,— ее приверженность семье, своим детям, которых она страстно любила. Но дети не только требовали внимания, заботы, они невольно были для нее предметом постоянного наблюдения, размышлений о воспитании, о характере. О том, что влияет на человека, начиная с самой ранней поры... Этот феномен, имя которому — ребенок, его душа — и помог ей

создать ряд произведений, которые можно причислять к лучшим. Мальчик Гриша, «маленький барин» из рассказа «Первое горе», тяжело переживает несправедливость, учиненную с его другом кучером Игнатом, с которым его связывала «странная, но искренняя дружба». Маленькая деревенская девочка Любка из рассказа «Пышная жизнь» — бледный росток, упрямо тянущийся из мрака к солнцу (один из самых обаятельных образов, созданных Авиловой). Или «Глупыши» — детские игры и шалости перед сном. Детство этих присмотренных, обласканных баловней бесконечно отличается от Любкиного детства, но для писательницы их душевный мир одинаково важен и интересен. Как и душевный мир собственных сыновей, несхожесть их характеров (Воспоминания, глава «Сыновья»).

Старший брат Авиловой, Федор Алексеевич Страхов, был известный толстовец. Но Лидия Алексеевна, необычайно высоко ценя гений Толстого-художника, не принимала толстовства, о чем говорит и в своих дневниках. Однако жизнь народа, нужда деревенского человека, его бедность, болезни — все это глубоко трогало Авилову, было ей близко. Недаром она родилась и выросла в Клекотках, где всегда чувствовала себя своей — не дачницей.

В рассказе «Без привычки» хозяйка имения смотрит вслед брату, идущему на стук топора — узнать, кто рубит: «Коля — дачник,— подумала она,— в деревне он и ходить-то по-настоящему не умеет». Но если в слове «дачник» слышится и авторское осуждение, то в последующем оно адресовано самой помещице, смеющейся над мягкотелостью брата, побоявшегося спугнуть «злоумышленника» — женщину с грудным ребенком.

Лидия Алексеевна была по натуре человеком общественного темперамента. Она участвовала в литературной жизни, исправно посещала собрания Всероссийского общества писателей. В начале русско-японской войны она обращалась к Толстому, Чехову, Боборыкину и другим с одинаковой просьбой. Так, 5 февраля 1904 года она писала Чехову: «Я решилась просить Вас... пожертвовать какой-нибудь маленький рассказик, хотя бы страничку, в сборник на помощь раненным на войне...» И в следующем письме: «Мне кажется, что Вы поняли, что я не решилась бы просить... если бы у меня напряжение не было доведено до крайности, если бы я окончательно не измучилась от бездеятельности...» Лучшие представители интеллигенции того времени мучились тем же. И сам Чехов хотел принять участие в войне в качестве врача — он, уже безнадежно больной человек!..

Авилова тяжело пережила смерть Чехова. Она написала Марии Павловне, с которой не была знакома:

«Многоуважаемая Мария Павловна!

Мне очень трудно писать, потому, что я не знаю Вас... Я пишу только Вам, а не для публики, даже не для окружающих Вас... Поверьте мне: если бы я сама не чувствовала горя, если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с собой — я бы не считала себя вправе обратиться к Вам... И мне некому,

некому, кроме Вас, сказать, как это все ужасно. Как это все трудно понять, и когда поймешь, как безотрадно, скучно жить...» (Клекотки, Тульск. губ., 20 июля).

В 1914 году Лидия Авилова была принята в члены Общества любителей российской словесности при Московском университете. Тогда же вышла ее вторая книга «Образ человеческий». Это вновь сборник рассказов. Круг тем ее как будто не велик, но это все те же вечные темы — любовь, смерть, семья, дети и старики. Психология сложных человеческих отношений. Она пишет о том, что хорошо знает. Один из главных, любимых ее мотивов — родная природа. Она у Авиловой не приправа к сюжету, не фон, на котором разворачиваются события. Она — равный участник происходящего; поведение героев, их ощущение связаны с ней неразрывно. Таков рассказ «На хуторе».

По сути, в нем нет сюжета. Картина мирного летнего вечера, с чаепитием на балконе, под цветущими липами; у «гигантских шагов» беспечное веселье детей, вернувшихся с речки... и — умирающий в темном сарае молодой рабочий — глухонемой, «блаженненький», он «вчера еще был здоров и возил с поля хлеб, а потом его принесли на руках и положили в сарае...». Человек умирает среди чужих. Даже те, кто ему сочувствуют, в душе равнодушны к нему. Большинству же и вовсе нет до него дела — жизни нет дела до смерти.

«Со двора доносился хохот и крики детей и вдруг почти у самого входа в сарай раздалась веселая плясовая песня. Пели бабы, проходя по двору и направляясь к землянке. Шли они медленно, очевидно оттого, что одна из них плясала впереди. Напев длился, повторяемый без конца, и, казалось, он врывался в сарай и наполнял его собой... На дворе тени вытянулись и убежали далеко за конюшню. На гумне солома блестела, как золотая. Воздух был прозрачен и чист, и даль уходила глубже, и было необъяснимое удовольствие глядеть на поля, на зелень, на небо, как будто взгляд отдыхал на них и нежился в их мягких вечерних тонах.

Бабы все шли через двор и можно было видеть, как одна из них, впереди всех, вертелась и подпрыгивала под бесконечный напев плясовой...»

За чаем возникает разговор о народе, о его вере в непостижимое, сверхъестественное. Спорят муж и жена, и мы ощущаем голос автора в реплике молодой женщины Наташи: «...мы с нашим сознанием силы, с нашим непомерно развитым самолюбием, довольствуемся меньшим: мы верим в возможное, он — в чудесное... Наш дух слабее их духа...»

Этот рассказ помечен рукой Авиловой словом «Караичка». Так назывался хутор на Дону, где родился Михаил Федорович. Видимо, впечатления от поездки на родину мужа и послужили материалом для его создания.

Ее лучшие рассказы насыщены «той сложной, таинственной жизнью», которой так переполнена она сама. Их трудно пересказывать, потому что,

как правило, фабула не играет в них главной роли. Эта роль отведена настроению героев, тончайшим его оттенкам...

В рассказе «Творчество» встречаются двое после десяти лет разлуки — еще не старый, но уже выдохшийся, уставший от жизни писатель и друг его юности, женщина, мечтавшая когда-то стать певицей. Они идут в луга, где прежде гуляли вдвоем, вспоминают прошлое. Элегический тон сменяется иронией, грусть — смехом, надежда — разочарованием. Происходит объяснение, которое ничего не объясняет. И возникает пейзаж:

«Вдруг на весь луг, на блестящее вдали золотом жнивье, на сверкающую, как сталь, полоску извилистого ручья легла широкая густая тень и не стало ни яркой зелени, ни золота, ни блеска и сверкания. Это солнце скрылось за горизонтом, не забыв на земле ни одного луча».

Читая эти страницы, невольно вспоминаешь Чехова, чье влияние сказывалось порой и на ее стиле. Именно уроки п р о з ы Чехова действовали на нее сильней, чем его советы в письмах. Но сказывались они потому, что ее душа была созвучна его душе. При всей разности натур, не говоря уже о несоизмеримости таланта, они многое воспринимали одинаково. Достаточно прочесть короткую, но необычайно яркую рецензию Авиловой на премьеру «Чайки» в Александринском театре. Рецензию, скромно названную «Письмо в редакцию» и появившуюся в «Петербургской газете» через два дня после скандального провала.

Какая острая, современная — говоря о сегодняшнем дне — оценка дана ею! Не только пьесы Чехова «Чайка» — всей новой чеховской драматургии, которую она поняла и приняла сразу,— ее «Письмо в редакцию» опубликовано 20 октября 1896 года: «...говорят, что «Чайка» не пьеса. В таком случае посмотрите на сцене «не пьесу»! Пьес так много... Я не знаю, как сделал Чехов: пришли на сцену люди, и так как эти люди давно жили до бенефиса г-жи Левкеевой и будут жить после бенефиса, то пришли они со своими радостями и страданиями, которые дала им жизнь, и стали жить перед публикой... Публика любит силу, любит, чтобы перед ней боролись. Тригорин мало боролся. Он не плакал и не бил себя кулаком в грудь. Вы спросите: почему же он этого не делал? Я не знаю почему. Я думаю, что он забыл о том, что на один этот вечер перенесся на подмостки. Он просто жил, как жили все кругом, не заботясь о том, что на них смотрят гг. рецензенты...»

Так писала она, почти единственная в те первые дни, противоборствуя свисту и улюлюканью публики и господ рецензентов, скандализованных новаторством Чехова-драматурга.

Да, чтобы так понять, необходимо было внутреннее созвучие. Оно было и в присущей обоим обостренной любви к природе, и в художественном чутье, и в чувстве юмора.

О своей любви к природе Авилова пишет в дневнике:

«Какую радость дает природа даже в городе! Какую любовь глубокую и странную дает она человеку!.. И это единственная любовь, которая давала мне т о л ь к о (выделено Л. А.) счастье...»

Началась первая мировая война, и Авилова принимает участие в сборнике «Клич» (в помощь раненым) под редакцией Бунина и Телешова (рассказ «Покой»).

Тяжело пережитая ею смерть Чехова, внезапная кончина мужа в 1916 году, замужество и отъезд за границу дочери — Лидия Алексеевна долго ничего о ней не знала,— разруха и лишения, сопровождавшие первые годы революции, подточили здоровье, но не сломили ее щедро одаренную душу. Ее поддерживают, как могут, деля с ней трудности этих лет, ее сыновья Лев и Всеволод.

В 1918 году Авилова вступает в члены Всероссийского союза писателей и получает охранную грамоту. В том же 1918 году в серии «Дешевая библиотека» появляется ее книжечка, составленная из двух рассказов: «Пышная жизнь» и «Камардин», в 1919 году — еще одна, «Первое горе».

Она едет в Чехословакию и привозит домой безнадежно больную дочь и внука Мишу. Там, в атмосфере эмиграции, она еще острей чувствует свою любовь к родине. В письме Бунину в Париж от 4 июня 1923 года, еще живя за границей, Авилова пишет: «...я ищу, тоскую, и, представьте себе, я люблю до страдания свою родину...» Жизни вне родины она не мыслила. В дневнике, который она вела с перерывами долгие годы, есть запись: «Моя любовь... Она рисует мне русские поля, русские тихие, безлюдные реки, она поет мне русские песни вроде Лучинушки и говорит мне простым говором знакомые мне ласковые слова... Она заставляет меня сознавать, до глубины души, что если бы не было России, то не было бы и меня...»

В 1929 году Лидия Алексеевна Авилова избирается почетным членом «Общества А. П. Чехова и его эпохи», где выступает с докладами о личности Чехова и его творчестве.

В 1930 году умирает дочь Авиловой. Воспитанию внука посвящены все последующие годы ее жизни. И еще — работе над воспоминаниями о Чехове, которые она решилась, наконец, подготовить для опубликования. Неверно было бы думать, что воспоминания написаны ею в это последнее десятилетие ее жизни. Она их, в сущности, писала всю жизнь, начиная с тех, что были в юбилейных чеховских сборниках 1910 года. Это как бы ядро будущих мемуаров «А. П. Чехов в моей жизни». Обстоятельства не позволяли ей тогда говорить о пережитом в полный голос. Лишь с течением лет она смогла восполнить пробелы, досказать недосказанное.

Известно более тридцати писем Чехова к Авиловой. Те, что она сама, еще при жизни мужа, согласилась передать Марии Павловне для публикации. (Было еще несколько писем к ней Чехова. Они пропали вместе с другими, известными нам, в годы скитаний писательницы). Мы можем судить лишь о тех, которые знаем. О чем они? О том, как надо писать? И об этом тоже. Но и о многом другом, о чем пишут друг другу только друзья. «Мы с Вами старые друзья...» — писал Чехов Лидии Алексеевне. Доказательства дружбы мы находим почти в каждом его письме к Авиловой.

«...Я к Вам с большой просьбой, чрезвычайно скучной — не сердитесь,

пожалуйста... (Речь идет о розыске и переписке ранних рассказов Чехова, напечатанных некогда в «Петербургской газете» и необходимых Чехову для марксовского издания.— *И. Г.*) Точных дат у меня нет... я даже забыл, в каком году печатался в «Петербургской газете»... Умоляю Вас, простите, что я беспокою Вас, наскучиваю просьбой; мне ужасно совестно, но, после долгих размышлений, я решил, что больше мне не к кому обратиться с этой просьбой» (5 февраля 1899 года).

«...За Вашу готовность помочь мне и за милое доброе письмо я шлю Вам большое спасибо, очень, очень большое... Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе и я ничего не пишу...» (18 февраля 1899 года).

«...Умоляю Вас, напишите мне поподробнее, что было в Союзе, когда судили Суворина, за что судили, как судили и проч. и проч. С этой просьбой мне больше не к кому обратиться — только к Вам» (16 апреля 1899 года).

«...Когда мы увидимся? Мне нужно повидаться с Вами, чтобы передать на словах, как бесконечно я Вам благодарен и как, в самом деле, мне хочется повидаться» (27 апреля 1899 года).

В его письмах к ней нашли отражение все значительные для него события этих лет: покупка, а затем продажа Мелихова, инцидент с рассказом «Попрыгунья», смерть отца и решение перебраться ближе к югу. И грустное описание своего «умения жить», и дотошный отчет о плачевном результате своей сделки с издателем Марксом: «Вот Вам мои коммерческие тайны»,— и негромкие жалобы на нездоровье, одиночество, ялтинскую скуку...

Конечно, они друзья. Но слово д р у з ь я для Антона Павловича не однозначно. Оно исполнено глубокого значения. И в любви для него дружба — непременная основа: «Они любили друг друга как очень близкие родные люди, как муж и жена, как нежные друзья...» («Дама с собачкой»)

К своим воспоминаниям Лидия Алексеевна Авилова написала предисловие. Оно не вошло ни в одно из четырех изданий ее мемуаров. В этом предисловии Авилова объясняет причину, побудившую ее рассказать о Чехове, каким она его знала.

«Я рассказываю о моих встречах с Антоном Павловичем, о тех встречах, которые имели для нас большое значение... Антон Павлович имел на меня громадное влияние, хотя я и не записывала его слов. Я слышала беседы Льва Николаевича Толстого: их действительно можно было записывать. Но он никогда не убеждал меня так, как один взгляд, брошенный Чеховым».

В своей неоконченной книге «Чехов» Бунин писал:

«Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрыла даже тех отрицательных замечаний, которые делал Чехов по поводу ее писаний, как и замечаний о ней самой. Редкая женщина!»

У него же о Лидии Алексеевне читаем: «...был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса... В ней все было очаровательно: голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз... Я любил с ней разговаривать, как с редкой женщиной, в ней было много юмо-

ра даже над самой собой, суждения ее были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всем этом была очень застенчива, легко растеривалась, краснела...»

Бунин заключает: «Да, с воспоминаниями Авиловой биографам Чехова придется серьезно считаться...»

Последние годы жизни Авилова жила в семье сына Всеволода. 27 сентября 1943 года Лидия Алексеевна Авилова умерла.

Среди ее бумаг остались неопубликованные отрывочные воспоминания, из которых она надеялась со временем составить книгу. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление о замысле автора. Некоторые записи предназначались лишь для себя и для самых близких, если прочтут когда-нибудь — уже после ее смерти. И, как это часто бывает, именно эти записи наиболее глубоки и пронзительны.

В своем дневнике за год до войны она записала:

«...вспомнила, что когда умрешь, то уже не будешь чувствовать покоя. Просто меня не будет. Трудно вдуматься в это «не будет». Никакого удовлетворения. Ничего. Хорошо, что у Миши будет жена. Я тогда сразу об этом подумала. А мне — ничего. Даже покоя. Мне ничего. Будто и не жила. И следа от меня не останется».

Ее могила затерялась на Ваганьковском кладбище.

«И следа от меня не останется...»

Нет, останется след. Должен остаться. Чем дальше, тем явственней он будет. Тем глубже. Доказательство этому — книга Лидии Авиловой.

Инна Гофф

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящем издании публикуются: посмертно изданная мемуарная повесть «А. П. Чехов в моей жизни», высоко оцененная И. А. Буниным; рассказы, напечатанные в различных дореволюционных периодических изданиях и в сборнике рассказов «Образ человеческий» (1914 г.); несколько неопубликованных отрывков; воспоминания и дневники, которые публикуются впервые.

Лидия Алексеевна не писала последовательных воспоминаний и не предполагала их публиковать, так же как не писала и дневников, предназначенных для опубликования. В различных местах записок читатель найдет об этом ее замечания: «...если дети прочтут после моей смерти...»; «...это отрывки, без всякой последовательности, без всякой цели, без всяких претензий на воспоминания. Сны моей жизни»; «...очень беглый обзор (писателей — современников Лидии Алексеевны.— *Н. А.*) составляет остов, который потом не трудно будет превратить в связный рассказ», «попытаться написать, уже литературно, документ маленькой человеческой души». Лидия Алексеевна не успела обработать своих записок. Поэтому отрывки воспоминаний и дневников составителю пришлось выбирать из сплошного текста записок, подбирать в хронологической последовательности и тематически, поясняя их в примечаниях и вставках, но не делая в тексте никаких изменений, кроме незначительных сокращений, которые даются отточиями. Представлялось необходимым текст записок оставить нетронутым: именно в таком виде он является документом, достойным опубликования.

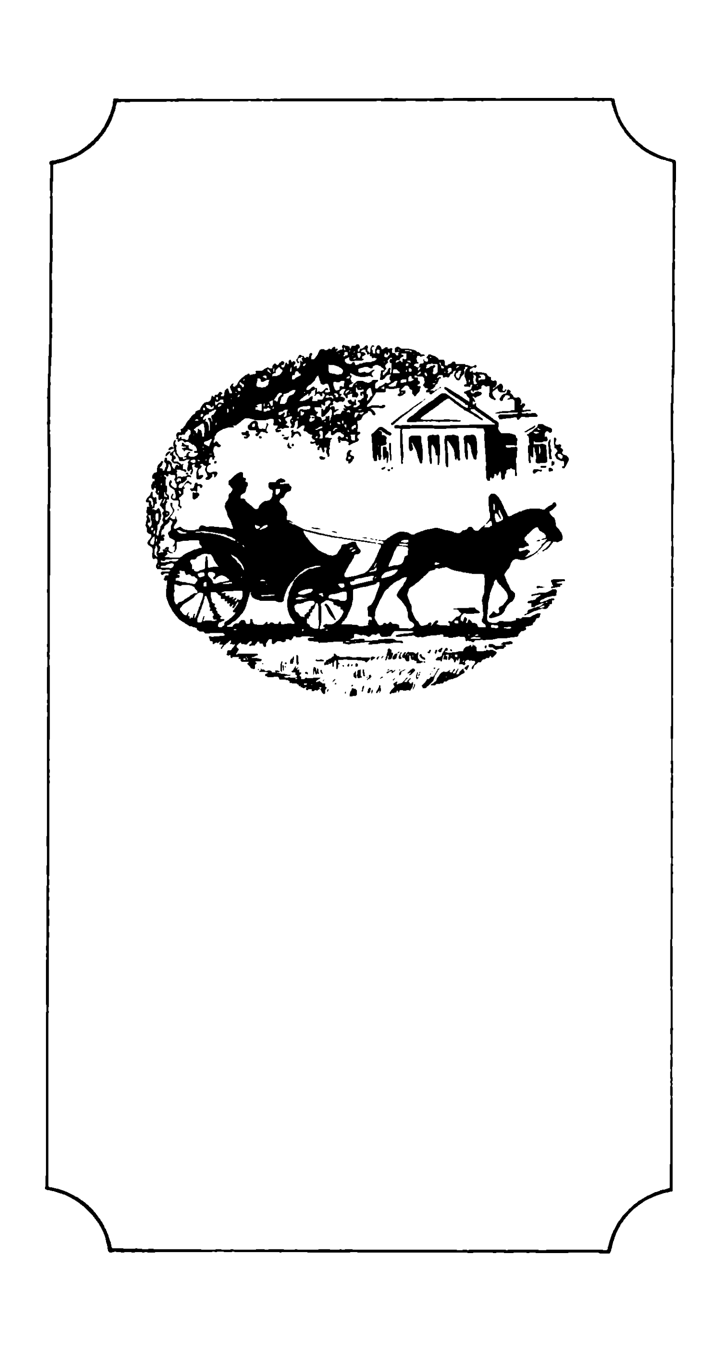
Наиболее связные воспоминания скомпонованы по содержанию. Воспоминания, не озаглавленные автором, снабжены заголовками. Как не принадлежащие автору воспоминаний, заголовки эти даны в квадратных скобках.

Составитель выражает благодарность Г. В. Гаовской за предоставление газетных публикаций с рассказами Л. А. Авиловой: «Последнее свидание», «На хуторе», «Тайна печали».

Н. Авилова

Рассказы







БЕЗ ПРИВЫЧКИ

— Слышишь? — спросила Ольга Ивановна и жестом руки заставила брата натянуть вожжи.

Шарабан мягко катился по густой траве лесной опушки; желтеющие ветки кустов попадались в колеса, а в стороне, стройный и нарядный в своей запестревшей осенней листве, стоял молодой лесок.

— Слышишь? — повторила Ольга Ивановна и наклонила голову.

Николай Иванович вытянул шею, сузил свои большие темные глаза и покачал головой.

— Ничего не слышу. Что тебе показалось?

— Не показалось, а я ясно слышала, что в лесу рубят.

— Рубят? Нет.

— Ну, вот! Станешь ты уверять! Держи в ту сторону, поезжай шагом и не разговаривай.

Он свернул по тому направлению, куда указывала она, и слегка ударил вожжами по спине лошади. Прямо перед ними открылась широкая просека; солнце, уже близкое к закату, глянуло им в лица, блеснуло искрами в золотых очках Николая Ивановича и заставило Ольгу Ивановну опустить глаза. Она стала следить, как бежало переднее колесо, подгибая под собою былинки травы, как мелькали упавшие желтые и красные листья, а молодое лицо ее чувствовало на себе ласку осеннего солнца.

Легкий стук заставил ее встрепенуться, и она опять схватила брата за руку.

— Стой,— шепнула она.— Слезай и иди прямо к оврагу. Это, должно быть, там. Я подожду.

Он покорно передал ей вожжи, спрыгнул на землю и с недоумевающим выражением повернулся к ней лицом.

— Я пойду. Что же дальше? — спросил он.

— Накроешь с поличным; веди сюда... Лошадь есть — лошадь возьми. Не потакать же ворам! Какой же ты хозяин?

— Голубушка моя, вот звание, которого я себе никогда не присваивал!

— Скверно делал! Все равно, не век же тебе в твоих канцеляриях сидеть — приучайся! К оврагу... Иди же, да осторожнее.

Николай Иванович одернул на себе суконную тужурку, поправил очки и, неловко ступая среди травы и сухих сучьев, направился к оврагу.

Лошадь смирно стояла, попрядывая ушами; Ольга Ивановна опустила вожжи, ленивым движением нагнулась вперед и, щурясь от солнца, стала следить за фигурой брата. Он шел, слегка подпрыгивая на своих длинных, тонких ногах; раз или два он споткнулся и, по движению его локтя, Ольга Ивановна угадала, что он опять поправил очки.

«Коля — дачник,— подумала она,— в деревне он и ходить-то по-настоящему не умеет. Чиновник. Если бы не я, что сталось бы с имением?»

Николай Иванович скрылся.

Он медленно углублялся в чащу, и до слуха его уже долетал теперь легкий стук топора.

«Не ошиблась! — думал он про Ольгу.— У нее есть этот навык, некоторого рода наметанность... Я не думал, что из нее может выработаться такая дельная, хорошая хозяйка. Но что же, однако, буду я делать с ним?» — вспомнил он, прислушиваясь к стуку в лесу.

«Легко Ольге говорить: «веди сюда! Лошадь есть — лошадь бери». Как же это я все возьму, поведу?..» Николай Иванович охотно повернул бы в противоположную оврагу сторону, но он заметил нетерпение и презрительность в тоне сестры, и ему теперь захотелось доказать ей, что ему нисколько не трудно справиться с своей задачей, что поймать с поличным вора далеко не такая мудреная наука.

«Однако, что же я «ему» скажу? — опять подумал он.— Надо кричать, браниться, надо казаться рассерженным и возмущенным».

Он сморщил лоб и тихо, так, чтобы не слышно было в двух шагах, откашлялся, прочищая себе голос.

«Никогда не приходилось кричать,— припомнил он,— а теперь нельзя без этого: странно было бы говорить тихо, вежливо».

Вдруг он остановился. Между оголенными ветвями деревьев мелькнула человеческая фигура, в ту же минуту раздался стук топора, и на землю медленно, с шумом повалился большой сухой сук. Николай Иванович отступил: он никак не думал, что неприятель так близко, и почувствовал теперь, что еще не вполне приготовился к своей роли. Человеческая фигура нагнулась, подняла сук и потащила его к целому вороху сложенной суши. Теперь Николай Иванович разглядел ее: это была женщина, голова ее была укутана платком, юбка бесцветного сарафана была высоко подоткнута и открывала босые, словно высохшие ноги. Она медленно двигалась, собирая нарубленную сушь; спина ее с трудом сгибалась... Николай Иванович оправился от неожиданности и уже готовился выступить из своей засады грозным и непоколебимым судьей, как вдруг вблизи вязанки что-то зашевелилось, и Николай Иванович ясно услышал жалобный плач ребенка. Баба торопливо бросила топор, пугливо оглянулась и села на траву. Она подняла с земли что-то небольшое, увернутое в тряпье, потрясла это на руках и бережно приложила к груди. Николай Иванович ясно видел ее лицо, еще молодое, но уже вполне бесцветное, с впалыми щеками и тупым, равнодушным взглядом. В короткий срок своего пребывания в деревне он уже не в первый раз встречал такой взгляд у крестьянской женщины.

«Неужели так забивает, притупляет жизнь?» — спросил он себя и тут же вспомнил, что Ольга ждет его и что ему предстоит выполнить трудную задачу.

Что же, собственно, надо было делать? Выйти из своей засады, напугать до полусмерти эту и без того уже напуганную женщину? Видеть ее ужас, ее горе, слышать ее мольбы и... Что же дальше? Отнять у нее эту дрянь, набрать которую стоило ей столько трудов, обвинить ее в краже, лишить ее тепла и, может быть, лишить горячей пищи ее детей, таких же худых и запуганных, как она?

Женщина продолжала кормить ребенка и в то же время тревожно оглядывалась по сторонам.

«Подойти, пристыдить, пригрозить даже, а потом простить?» — подумал Николай Иванович и тут же возмутился, до того лживой и бессмысленной показалась ему эта сцена. К тому же одна мысль, что появление его несомненно вызовет у этой кормящей женщины испуг, почти ужас, стала ему настолько невыносима, что он забыл свою решимость достойно выполнить возложенную на него обязанность и — отступил. Щурясь и поминутно поправляя очки, осторожно шагал

он, пробираясь среди кустов и деревьев; он прятался за стволы и останавливался, оглядываясь на сидящую женщину. Когда под ногой его слабо хрустнул вереск, он сразу пригнулся к земле, на лице его отразился испуг, а в груди сильно забилось сердце.

«Боже мой! — невольно подумал он.— Кто же вор? Я ли боюсь этой женщины или она боится меня?»

Когда Николай Иванович сообразил, что ушел достаточно далеко, он, наконец, выпрямился, облегченно вздохнул полной грудью и быстро зашагал по направлению к своему экипажу.

— Ну, что? — спросила его Ольга Ивановна.

— Никого! — храбро ответил он.— Я исходил всю эту часть леса. Тебе показалось.

Она пытливо глянула ему в лицо, он хотел ответить ей прямым, откровенным взглядом, но покраснел и смешался.

Когда Николай Иванович уселся на свое место, Ольга передала вожжи, лошадь фыркнула, тряхнула головой и пошла крупным шагом. Наступило неловкое, напряженное молчание, а из лесу, со стороны оврага, отчетливо раздались короткие, гулкие удары топора.

— Ну, Ольга,— сказал Николай Иванович, чувствуя, что его ложь не удалась,— я не имел мужества... Духу у меня не хватило... Женщина, понимаешь ли, больная, нищая... Женщина с ребенком...

Он опять покраснел.

Ольга Ивановна заметила это; она подумала, что брату стыдно и неловко за свою сентиментальность и ложь. Она ласково заглянула ему в глаза и засмеялась.

— Ничего, Коля, ничего! — успокоила она его.— Все дело, конечно, только в привычке.

НА ХУТОРЕ

Солнце опустилось за высокие тополи, и в то время, как горячие лучи его еще обдавали поверхность пруда и ту часть дома, которая была обращена к нему, на противоположной стороне, по широкому двору, ложились длинные тени, протягивались и захватывали все больше и больше пространства. Тень ползла по траве, приближаясь к конюшне, и взбиралась вверх по белому столбу гигантских шагов. На широком балконе, под ветвями двух густых цветущих лип, которые стояли по сторонам, как два чудовищных букета, был накрыт чайный стол, кипел самовар, и казалось, что и ему было про-

хладно после длинного дня удушливой, палящей жары.

— Дети-и! — кричал в саду женский голос,— к чаю-ю!

Калитка садовой изгороди слабо стукнула, и на ступени балкона поднялась женщина лет за 50, в широкой ситцевой блузе, с головой, покрытой белым батистовым платком. Платочек она сейчас же сняла и стала махать им себе в лицо. Из боковой двери балкона, шлепая босыми ногами по некрашеным доскам, вышла девочка-подросток и принесла большой кувшин холодного молока.

— Аль еще купаются? — весело спросила она.— Самовар бы не заглох.

— Нет, теперь скоро,— сказала барыня.— Ничего не слыхать про Семена-то?

— Ничего,— сказала девочка,— лежит.

— Не приходил в себя?

— А кто его знает! Молчит.

Девочка засмеялась.

— А когда он говорил-то? От роду немой.

— Петр при нем? — спросила барыня.— Он ему как? Сродни, что ли?

— Какой сродни! Земляк, из одной деревни. Сидит. Ему туда и обедать носили.

— Не говорил он: не нужно ли чего-нибудь? Семен глухонемой, а Петр его понимает. Он мычит как-то.

Девочка совсем весело рассмеялась.

— Не мычит уж теперь! — сказала она и ушла.

Барыня села на приступку балкона, закурила папиросу и стала глядеть перед собой. Отсюда она могла наблюдать, как к гумну, налево, медленно подползала вереница нагруженных хлебом телег. Золотистая солома блестела на солнце, а волы медленно, словно осторожно, ступали своими тяжелыми ногами, и головы их низко и покорно наклонялись над ярмом.

«Последний оборот,— думала хозяйка,— сейчас станут кончать».

Около риги показалась пестрая группа рабочих; группа стала расти и, наконец, медленно двинулась к усадьбе. Послышались голоса, смех, отрывки песен: рабочие закончили тяжелый денной труд и теперь шли через двор к землянке, где им готовили ужин.

«А Семен лежит! — подумала хозяйка и ее лицо приняло озабоченное выражение.— Возил вчера с поля хлеб, был здоров, а потом его принесли на руках и положили в сарае. Говорят, без шапки шел».

Она опять помахала в лицо платочком и пересела к чайному столу.

— Эх, жизнь, жизнь! — громко вздохнула она и тут же подумала о том, что у глухонемого Семена есть отец и что тот не иначе завтра должен прийти сюда же на работу.

— Пустяки! поправится! — успокаивая себя, решила она и стала заваривать чай.

Калитка сада стукнула, и во двор с громким криком выбежали четверо детей и бросились к гигантским шагам.

— Не бери мою веревку! не бери мою веревку! — кричала на бегу меньшая девочка, с трудом поспевая за старшими. Все разом схватили по лямке и с криком и хохотом побежали кругом столба. На балконе тоже стало шумно.

— Мамочка, милая, чаю, чаю скорей! — говорила молодая, полная женщина, присаживаясь к столу и подвигая к себе корзину с печеньем.

— Зачем мне сахару? Вынь из стакана сахар,— просил молодой человек в студенческом кителе, протягивая руку через стол и выбрасывая сахар на скатерть.

— Мама, запрети Алеше переплывать пруд и сидеть в воде по целому часу. Он рискует жизнью и здоровьем,— ворчливо говорил плотный мужчина лет 35-ти.

— Осторожнее! осторожнее! — крикнул он, обращаясь к детям.

— Отчего ты не позовешь их пить чай? — спросил он жену.

Молодая женщина стала звать детей, но те летали кругом столба и едва отвечали на зов.

— Ну, бог с ними, пусть! — сказала бабушка, любуясь их весельем и не спуская с них тревожных глаз.

— 24 градуса в воде! — объявил студент и тряхнул мокрыми волосами.

— А ты озяб, потому что купаешься слишком долго. Это уже не польза, а вред,— наставительно заметил ему зять и пожал плечами.— Запрети ему, мама...

К балкону подошел мужик и остановился с шапкой в руках.

— Ты, Петр? Что тебе? — спросила барыня.

— Насчет Семена я...— откашливаясь в руку, начал мужик.

— Ну, как он? что надо?

— За священником бы послать.

На балконе вдруг стало тихо; все обернулись к Петру и молча глядели на него. Петр отвернул голову и глядел в землю.

— Что так? Зачем это? — спросила помещица, и лицо ее стало испуганным.

— Плох,— сказал Петр.

— Послушай,— заговорила старушка,— я послала за доктором. Ты знаешь? Доктор приедет завтра, а может быть, нынче в ночь.

Мужик махнул рукой.

— Священника бы ему,— сказал он.

— Но отчего ты думаешь, что он плох? — спросил студент.— Он не говорит, потому что нем. По-моему, он просто слаб... Бог его знает, что такое с ним было! Обмороки, может быть.

Петр молчал.

— Пожалуй, если ты находишь...— нерешительно начала помещица.

— Ну, зачем это! — быстро и тихо проговорил зять.

— Отец его еще не приходил? — спросила молодая женщина.

— Нет, не бывал.

— Боже мой! Какой это удар для него, если...

— Послушай, Петр, ты его как-нибудь приготовь. Брякнет ему кто-нибудь, что сын умирает, а это может убить старика.

Петр не ответил. Он как будто не слыхал или не понял того, что ему говорили, и только серьезно, почти строго оглядел присутствующих. Лицо его было спокойно, и даже что-то торжественное сквозило в выражении его.

Старушка встала и накинула на голову платок.

— Куда ты, мама? — окликнули ее.

— Пойду, посмотрю,— сказала она.— Наташа, налей сама кому надо.

В сарае было почти темно и пахло сыростью. Старушка остановилась у входа, огляделась и направилась к чему-то вытянувшемуся на старой кровати, с красной подушкой в изголовье.

— Ну, что ты, Семен? — громко спросила она и вдруг чуть-чуть вздрогнула и оглянулась, отыскивая глазами Петра.

— Отчего он закрыт? — спросила она, пересиливая свой испуг.

Петр подошел к больному и откинул с его лица развернутое полотенце.

— От мух это я... Отбою нет,— объяснил он. Больной не шевельнулся. Глаза его были закрыты, а лицо спокойно, как у спящего.

— Семен! — позвала барыня. И вспомнив, что он всегда был тут на ухо, она наклонилась и опять громко позвала:

— Семен!

Он открыл глаза и взглянул на нее.

— Что у тебя болит? голова у тебя болит? Болит? — почти крикнула она и показала на лоб.

Он молчал и глядел на нее странным взглядом.

— А здесь? — продолжала она свой допрос и дотронулась рукой до его груди.

Он тяжело вздохнул и закрыл глаза.

— Бог его знает! — сказала барыня.— Может быть, он и без сознания.

— Он умирает! — уверенно сказал Петр.

— Ну, вот! Да с чего?

— Значит...— сказал Петр,— значит бог его к себе призывает.

— Но нельзя же умирать ни с того ни с сего, правда ли, что он работал без шапки? Может быть, от жары?

— Так бы всем и умирать! — сказал Петр и чуть-чуть усмехнулся:— Не жилец он был на земле, вот оно... Блаженненький, значит, простой... простая душа. Он что ребенок малый. Таких бог к себе берет. А без воли его ни один волос...

— Боже мой! Боже мой! — вздохнула старушка и в тяжелом раздумье, молча смотрела на умирающего.

Со двора доносились хохот и крики детей, и вдруг почти у самого входа в сарай раздалась веселая плясовая песня. Пели бабы, проходя по двору и направляясь к землянке. Шли они медленно, очевидно оттого, что одна из них плясала впереди. Напев длился повторяемый без конца, и казалось, он врывался в сарай и наполнял его собой. Петр подошел к постели и опять накинул полотенце на лицо больного.

— Священника бы как раз,— тихо сказал он.

У входа мелькнула тень и вслед за ней показалась Наташа.

— Мама! — робко позвала она. Старушка оглянулась.

— Я принесла чаю,— сказала молодая женщина,— может быть, он выпьет.

Она встала рядом с матерью и с удивлением глядела на полотенце.

— Бог его знает! — сказала старушка.— Может быть, он и без сознания.

Она приподняла край полотенца и громко спросила:

— Хочешь пить? пить хочешь?

Семен молчал, глаза его были закрыты, но по губам, как

показалось ей, промелькнула тень улыбки. Она взяла ложечку чаю и влила ему в рот. Он проглотил. Она влила еще и еще. Наташа с ужасом и любопытством глядела ей через плечо.

— Ну, что ж,— сказала старушка,— как богу угодно! — и она перестала поить его чаем.

— Это правильно,— сказал Петр,— все бог, все он, наш отец. Он знает, что творит.— В голосе мужика слышалась радость.

Они еще постояли втроем, поглядели, потом старушка глубоко вздохнула и направилась к выходу. Наташа пошла за ней.

На дворе тени вытянулись и убежали далеко за конюшню. Начинало свежеть, но солнце еще не совсем зашло и на гумне солома блестела как золотая. Воздух был прозрачен и чист, даль уходила глубже, и было необъяснимое удовольствие глядеть на поля, на зелень, на небо, как будто взгляд отдыхал на них и нежился в их мягких вечерних тонах.

Бабы все еще шли через двор, и можно было видеть, как одна из них, впереди всех, вертелась и подпрыгивала под бесконечный напев плясовой. У столба дети продолжали свою шумную беготню. Они махали ногами, взлетали и на лету кувыркались в воздухе.

— Ну, что? Ну, как? — спрашивали на балконе, когда обе женщины поднимались по ступеням.

— Бог его знает! — сказала старушка.

— По-моему, он в сознании,— сказала Наташа.— Когда мама предложила ему чаю, мне показалось, что он улыбнулся.

— Скажи, милая, чтобы ехали за попом,— распорядилась помещица.

— Ну, к чему это? — горячо возразил зять.— Не лучше ли послать за доктором еще раз. Подтвердить, чтобы ехал непременно, хотя бы ночью.

— Да, вот Петр,— оправдываясь начала старушка.— По-нашему, нужен доктор, а по их мнению, полезнее священник.

— Как странно,— заметила Наташа,— народ, собственно, любит лечиться и, если есть возможность, то идет к доктору из-за пустяка; в серьезных же случаях охотнее обращаются к знахарям или зовут священника. Вера в науку слаба, а сильна какая-то другая, слепая вера.

— Сильны предрассудки! — убежденно сказал муж.

— Нет, есть что-то другое, более глубокое,— задумчиво возразила Наташа.— Любовь к непостижимому, к сверхъес-

тественному. Наш брат выше всего ценит свой разум, мечтает объять им вселенную,— народ любит сознание личного ничтожества и гордится той силой, которая делает из него слепое и послушное орудие. Мне кажется,— добавила она,— что, в то время как мы глядим себе под ноги, он смотрит в даль и видит конечное.

— В то время, как мы идем к свету, он топчется в своей темноте! — раздраженно подхватил муж.— Человек только тогда становится человеком, когда начинает понимать свою силу.

— Может быть! — задумчиво продолжала Наташа,— но, заметь, что мы с нашим сознанием силы, с нашим непомерно развитым самолюбием, довольствуемся меньшим: мы верим в возможное, он — в чудесное; мы идем к горизонтам, которые нам открывает наш разум, он стремится к беспредельному. Наш дух слабее их духа.

— Мы еще не можем предвидеть, чем будет в будущем человек. Его интеллектуальный рост еще ничем не ограничен.

— А где цель? — тихо спросила Наташа и прибавила чуть слышно:— Где счастье?

Дети устали бегать и поднялись на балкон пить молоко. Они шалили, толкали друг друга под локти, обливали скатерть и хохотали до слез. Отец прикрикивал на них, а бабушка мягко, но упорно брала их под свою защиту.

— Они нечаянно, они не шалят,— говорила она наперекор очевидности.

У землянки одна артель рабочих кончила свой ужин и теперь шла назад, поперек двора, к большому сараю. Опять слышались пение, смех и впереди идущих прыгала и кружилась баба с красным платком в руке. Навстречу им с громким хрюканьем бежали десятка два свиней, и их уши болтались на бегу, как тряпки. Встретившись с толпой, они сразу остановились и затем пустились по двору врассыпную.

— Митюшка! — крикнула помещица, прикладывая ко рту руки, сложенные воронкой,— чего свиней-то распустил?

Митюшка прибежал с длинным кнутом и стал бегать по двору, загоняя свиней в хлев.

— Поросенка забыл, поросенка! — кричали ему с балкона. Он оглянулся, увидал поросенка и присел в траву, протягивая голову вперед.

— Пеструшка! — ласково позвал он,— Пеструшечка, поцелуемся!

Поросенок подбежал и ткнулся пятаком в его лицо. Дети громко расхохотались.

— Как это ты его приучил? — закричал старший мальчик. Митюшка уже бежал за поросенком к хлеву.

— Хлебом я его... изо рта кормлю,— ответил он на бегу.

— Петр идет! — озабоченно заключила Наташа.— Уж не хуже ли?

— Дети! тише! не слыхать ничего! — крикнула бабушка.— Ты чего, Петр?

— Огарочка не найдется ли? — попросил Петр.— Темно в сарае. Со светом все лучше, веселее.

— Конечно, конечно,— торопливо сказала старушка.— Дети, спросите свечку у Анисьи.

— Огарочек бы... Зачем свечку! — протестовал Петр.

— Ты и ночь не спал? — спросила Наташа.— Кого бы посадить вместо тебя?

— А я-то что ж? — сказал Петр.— Умрет, тогда высплюсь.

— Ты бы попросил, чтобы рабочие не пели. Может быть, ему беспокойно? — предложил студент.

— Зачем! — сказал Петр.— Он и здоров был, не слыхал ничего. Хоронить-то теперь неспособно: 10 верст везти, а лошади нужны в работу.

— А сколько ему лет? — спросил кто-то.

— А кто его знает! лет 20 есть. Я его сызмальства знаю: всегда простой был. Обижали его, а он что малый ребенок... Не жилец был.

Принесли свечу и Петр ушел.

— Что такое? что случилось? — спрашивали дети.

— Человек тут один умирает.

— Где умирает? отчего?

— В сарае. От жары, должно быть. Вот вы все без шапки бегаете!

— И он тоже без шапки? оттого?

— Да, от солнечного удара.

Дети на минуту затихли, потом вдруг сразу встрепенулись и побежали к столбу.

— Не бери мою веревку! не бери мою веревку! — на всякий случай кричала меньшая девочка.

Взрослые расположились на ступенях балкона.

— Убирать можно? — спросила девочка-подросток, шлепая своими босыми ногами.

— Можно. А ты боишься мертвых, Феня?

— Страсть! — ответила девочка и засмеялась.

— Чего же боишься-то? живой человек может какое ни на есть зло сделать, а мертвый что?

Девочка фыркнула и утащила самовар.

— И здесь вера в таинственное,— сказала Наташа.
Все молчали и чувствовали себя подавленными.

— Ощущаешь какую-то ответственность,— сказала старушка,— точно виновата в чем-то, а в чем моя вина?

— Вина, может быть, в том,— сказала Наташа,— что себя и своих детей мы бережем больше, чем надо.

— Ну, что, вздор! — крикнул ее муж.— Мы бережем, потому что имеем понятие о гигиене. Мы не невежды. Но мы любим обвинять себя, любим эти широкие вины, в которых нет определенного. Это своего рода кокетство, эта наша виноватость перед народом. Ах, дескать, простите! мы умнее вас.

Солнце давно село, и на небе загорелись первые бледные звезды. Даль долго светилась и наконец погасла. Вторая и третья артéль рабочих прошли от землянки к сараю, и теперь там стало людно и шумно. Слышались шутки, смех и какие-то два несложных, доморощенных инструмента резко и фальшиво высвистывали тот же бесконечный напев плясовой.

В смежном сарае, наискось от раскрытой двери, светился огонек. Это горела свеча у постели Семена.

— Ах, дети мои, дети мои! — с глубоким вздохом сказала старушка,— говорят, что когда долго живешь, то привыкаешь к горю. А вот я боюсь его все больше и больше; боюсь уже не за себя, а за вас, за внуков, и жизнь мне кажется страшной. Смотрю на своих крошек и думаю о том, как много тяжелого, горького придется им испытать.

— А они, в свой черед, будут бояться за своих детей и внуков,— сказал кто-то.— И так до бесконечности...

— А говорят,— горячо заметила Наташа,— говорят, наша сила в науке. Разве она успокоит наш страх жизни? Разве она докажет нам, что наши дети будут счастливее нас?

— Наука! — продолжала Наташа.— Но что мне в том, что два человека на двух концах земли могут переговариваться друг с другом, как соседи, потому что их соединяет проволока и еще какие-то эфирные волны! Я знаю, что, когда человек страдает, другой, рядом стоящий, не может уделить ему даже от избытка своего счастья, потому что их не соединяет ничего. Отчего мама и мы все не сумели отстранить удара от старика, который придет завтра и не застанет своего сына? Отчего мы не сумеем утешить его и только спрячемся от его горя?

Никто не ответил ей. Дети пришли и сели на ступени.

— Спать вам пора! — сказала бабушка, ласково гладя их по головкам.

К балкону, сбоку, подошел Петр. Его заметили только тогда, когда он был уже совсем близко.

— Петр! Что ты? Что такое? — разом спросили все. Петр поднял лицо и взглянул на звезды.

— Отошел наш Семен! — сказал он и широко перекрестился.

Кто-то ахнул и сейчас же замолк.

— Что такое, бабуся, «отошел»? — спросила меньшая девочка и положила свои ладошки на щеки старушки.

Петр не уходил и стоял, опираясь рукой о балкон. А печальная весть бежала по двору, и было похоже на то, что из ворот сарая, от одинокого огонька расползлась по широкому темному двору неожиданная, зловещая и всегда величественная тайна. Нелепые звуки доморощенных инструментов оборвались и замерли. Но в то время, как люди затихли, не зная, что сказать, звезды, казалось, блестели еще ярче, потому что для них на земле не могло существовать ни тайн, ни горестей, ни радостей. С той высоты, на которой горели они, земная жизнь не могла представляться ни важной, ни интересной.

ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА

I

Вы уже знаете, конечно: мой муж умер. Я поражена. Я не ждала его смерти. Правда, он был уже стар, но он так мало думал о близком конце. Все это случилось так внезапно, почти без болезни, если не считать постоянного недуга, которым он страдал уже много лет.

Целыми днями я одна. Я хожу по дорожкам нашего сада, который уже весь зелен и до того свеж и душист, что, когда глядишь на него, когда дышишь его воздухом, удивляешься, что на земле существуют болезнь и смерть. Я сижу на берегу нашей красавицы реки, гляжу на волны, на небо, и мне кажется иногда, что я вижу все это в первый раз. Я уже сказала вам: я поражена. У меня новые мысли, неожиданные чувства, и поэтому все, что я вижу, кажется мне новым и неожиданным. Я едва смею признаться... Когда мой муж умер, первой моей мыслью была та, что я свободна. Я хотела сейчас же написать вам, но смутное чувство удержало меня. Я стала ждать вас, уверенная, что весть о моей утрате непременно дойдет до вас, а между тем я не могла представить себе, как бы мы встретились теперь, перед этой свежей могилой, и меня преследовала странная мысль, что та ложь, которая была

тайной, теперь стала явной, что глаза, которые закрылись навек, видят больше, глубже, чем видали при жизни, и что мы уже не в силах обмануть мертвого, как обманывали живого, когда он верил нам, улыбался нам и любил нас.

Я стала ждать вас, но я скоро поняла, что вас удерживало то же чувство стыда и раскаяния, которое поразило меня своей силой и неожиданностью. Я всегда страдала при мысли о моем преступлении, но, когда я говорила вам об этом, вы сердились. Вот почему мне пришло в голову, что вы теперь чувствуете то же, что и я. Признаюсь вам: это открытие обрадовало меня. Вы как будто стали еще ближе мне, еще роднее. Я вижу теперь, как вы чутки и как прекрасна ваша душа.

Ваша вина так мала в сравнении с моей, что, если бы вы не были так добры, вы могли бы презирать меня, и вот вы мучаетесь ею наравне со мной. Вы удивительны! Я так хотела бы подняться до вас, что, кажется, уже становлюсь лучше и чище. Я уже не смею по-прежнему говорить вам «ты». Я стыжусь своих воспоминаний и отгоняю их. Моя любовь, не уменьшаясь, переживает какой-то кризис, из лжи и обмана она восстает чистая, обновленная страданием. Да, вы правы, нам не надо видеться теперь. Пусть каждую минуту мы думаем друг о друге,— нас все же разделяет наш тяжелый грех. Но не надо отчаяния! Милый! может быть, я не права, может быть, я говорю и думаю как слабая женщина, которая, как растение без солнца, не могла бы жить без любви и счастия, но я верю, что бог простит нас... Он благ, и он знает, как мы боролись, как мы страдали и как глубока и сильна наша любовь. Будем верить вместе, что он простит, и когда на душе нашей станет яснее и спокойнее, примем этот дар как благословение и соединимся, чтобы никогда уже не разлучаться вновь. Я с удивлением сознаюсь, что не знаю, умеете ли вы и любите ли вы молиться. Я буду молиться за двух. И если вы думаете, что богу угодны и приятны слезы раскаяния, то знайте, что я плачу за двух. Я плачу так много, что мои глаза с трудом глядят на свет. Но я верю и надеюсь.

Ваша Люся.

II

Ты хотел еще раз доказать, до какой степени ты сильнее и выше меня. Ты даже счел невозможным ответить мне на мое письмо хотя бы несколькими словами. И я опять поняла почему. Я так хорошо изучила тебя, что знаю, как трудно тебе было бы удержаться от выражения страсти. И ты побоялся оскорбить ею нашу новую любовь. Еще раз преклоняюсь перед

тобой. Но видишь ли, милый, ты способен на подвиги, но не надо требовать их от твоей «маленькой Люси». Я помню, как ты часто называл меня так. Я всегда преклонялась перед силой и мужеством, но сама я никогда не умела быть сильной. До сих пор еще я завидую детям, которых носят на руках, которых берегут и холят, и мне кажется, что я никогда, никогда не привыкну к самостоятельности и свободе взрослой женщины и что если бы мне почему-либо грозило одиночество, я предпочла бы ему смерть. Но я знаю, что одиночество не грозит мне, а жизнь с каждым днем становится для меня желаннее и дороже. Это потому, что каждый день приближает конец нашей разлуки. Повторяю, нельзя ждать от меня подвига, а жизнь без тебя, даже без вести о тебе, больше, чем подвиг,— это мученичество.

Ну, что же делать! Брани меня, называй меня пустой и легкомысленной, но знай, что я жду тебя, жду давно, что я каждое утро просыпаюсь с надеждой увидеть тебя, каждый вечер засыпаю с отрадной уверенностью, что протекший день был последним днем нашего искуса, который мы добровольно наложили на себя.

Я с гордостью вижу, насколько ты строже к себе, насколько ты нравственнее меня. Я не пытаюсь даже искать оправданий: я виновата в том, что смертельно тоскую о тебе, что все мое существо полно тобой, и я не могу уже ни молиться, ни раскаиваться. Я не могу отгонять своих воспоминаний, и они не наполняют меня стыдом: я зову их, я люблю их, и я счастлива, когда мне удается вызвать в памяти звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих губах... Я думаю только о тебе.

Я виновата в том, что не хочу больше одиночества, что не вижу смысла отказываться еще от счастья видеть тебя. У меня больше нет печали, и я не хочу заменить ее лицемерием. У меня больше нет терпения, и я зову тебя, я молю тебя: приезжай!

Хочешь знать, как я провожу день? Я брожу по саду, который так густ и тенист, как будто ему надо скрыть много, много тайн. Я сажусь на скамью под сиренью. Помнишь ли ты эту скамью? Теперь сирень отцвела, но тогда она была в полном цвету, и от яркого аромата ее кружилась голова. Ты сказал мне, что будешь ждать меня там. У мужа были приступы боли, он стонал, жаловался. Я ухаживала за ним, как могла, и в голове моей проходили странные мысли: я думала, что бог ограждает меня от зла и обмана, я думала, что это он удерживает меня у постели больного, чтобы предохранить от последнего шага. И я... я радовалась и благодарила его и ук-

радкой утирала слезы, и мне тоже хотелось стонать и метаться от боли. Я сознавала, что для того, чтобы удержать меня, надо было именно внешнее, случайное препятствие, и так как оно было, я страдала невыносимо. Но больной выбился из сил и потребовал порошок, который всегда успокаивал и надолго усыплял его.

— Дай мне! — сказал он, указывая на коробку.

Тогда мне показалось, что я лишаюсь рассудка.

— Нет, нет! Не дам, не дам! — с ужасом почти закричала я. Но он требовал и сердился.

— Я страдаю! — сказал он, объясняя свое желание.

— Ты знаешь,— говорила я, опускаясь перед ним на колени,— когда ты так спишь, ты похож на мертвеца. Я боюсь! Не засыпай. Разве страдать так страшно?

— Я не хочу! — сказал он.

Я дала ему порошок, и когда он заснул, я вышла. И когда я шла, я молилась. Я говорила: «Господи! Поддержи меня, поддержи, или... прости!» И я теперь думаю, что он простил меня, потому что послал новое, чистое, светлое счастье.

Но я хотела писать о том, как я провожу день. Я брожу по саду, сижу на скамье под сиренью и выхожу на берег реки. Я всегда любила нашу реку, но теперь полюбила ее еще сильнее, потому что она должна принести тебя ко мне. Каждый день я жду на пристани. Я вижу, как за изломом реки взвиваются легкие клубы дыма, пароход показывается ненадолго и опять исчезает за густой зеленью поросшего лесом островка. И вот, пока я теряю его из виду, я стараюсь удержать рукою мучительное биение моего сердца. Я знаю, что, если тебя нет на пароходе, он не подойдет к пристани, а круто повернет поперек реки и побежит к противоположному берегу. И я вижу, каждый день вижу, как он поворачивает к другому берегу. Признаюсь: иногда мне очень хочется плакать, но тогда я думаю о том, что немного позже или немного раньше, но пароход должен будет подойти к моей пристани, и моя печаль сменяется радостью.

В одно утро я проснулась с таким чувством, как будто меня ждала большая радость. Это было в Троицын день. Я не надела своего траурного платья, а заменила его белым. Я поглядела на себя в зеркало и заметила, что у меня уже нет желания казаться красивее, чтобы нравиться тебе. Бледность и худоба очевидно не красят меня, но пусть они напоминают тебе о тех страданиях, которые я пережила без тебя и которые украсили наши души. Я более чем прежде похожа на девочку, на ребенка, но этот ребенок умеет теперь думать и любить.

В этот день я шла на пристань с надеждой, которая переходила в уверенность. Пароход показался из-за излома и скрылся, и пока я ждала его вновь, я пережила вечность. Он вышел нарядный, весь украшенный молодыми зелеными березками, и мне показалось, что он не повернул, а пошел прямо на меня... И тогда я почувствовала, что умираю... Я протянула руки, крикнула что-то... Но когда я пришла в себя, я была одна, а пароход был далеко.

Пойми, что жить в этом ожидании я больше не могу. Пойми, что наше счастье уже не оскорбит того, кто уже перестал жить. Ты ужаснешься, быть может, но когда я думаю о причине, которая все еще удерживает тебя вдали от меня, я чувствую невольную злобу... Я думаю: его уже нет, а он все еще стоит между нами!

Не надо больше разлуки! Я люблю тебя! Ты слышишь мой голос? Я люблю тебя!

Люся.

III

Дорогой мой! берегись... Ты не знаешь, может быть, что можно убить человека, не поднимая на него руки? Я уже не объясняю себе ни твоего отсутствия, ни твоего молчания. Я боюсь... Мне кажется, что, если бы во мне не было страха, я перестала бы существовать. Я жила надеждой, теперь я живу страхом. Эти чувства братья: в них одинаково мучительна и одинаково притягательна неопределенность. Пока я чувствую страх, я знаю, что еще не все кончено и что еще можно чего-то ждать.

Тебя нет. Отчего тебя нет? Я знаю, что ты здоров, потому что тебя видели; ты в городе, в нескольких десятках верст от меня. Берегись! у меня рождаются мысли, от которых больно, стыдно и жутко.

Нет, неправда, у меня нет мыслей. Моя голова отказывается работать. Что-то болит в ней и давит на мозг. Времени тоже нет.

День сливается с ночью и ночь с днем, и я не знаю, что сон, что действительность. Почему-то меня стало тянуть на могилу мужа. Я говорю с ним вслух, жалуюсь ему на то, что ты измучил меня, и он отвечает мне лаской, шепчет что-то без слов. Недавно еще я боялась его, но теперь я знаю, что он простил мне все, и беседа с ним приносит мне отраду. Ты не веришь, что он простил меня? Но ведь он любил!

В саду листья увяли и осыпались. На клумбах хороши и свежи только астры. Я плету из них два венка, тебе и ему, и несу их на могилу. Мне кажется иногда, что я тень, которая

блуждает по земле, потому что ее забыли, когда зарывали остальное.

Я чувствую тоску, но я часто забываю, о чем она, потом я вспоминаю, что меня мучит пароход, который всегда круто поворачивает от островка и бежит к противоположному берегу. Мне надо, чтобы он остановился у моей пристани! Я умираю оттого, что пароход не хочет подойти к пристани!

Над рекой низко бегут тучи, вода темна и холодна, и когда я вечером прихожу к пристани, я вижу вдали разноцветные огоньки. Это фонари на барках и судах. Пароход тоже подходит, весь освещенный, и когда он поворачивает, я вижу ряд светлых окон.

Возвращаясь домой, я стараюсь смеяться. Я делаю это для того, чтобы уверить себя, что я все-таки непременно дождусь тебя. Я вспоминаю все, что ты когда-либо говорил мне, и мне кажется иногда, что я слышу твой голос. Странная вещь: я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь, что любишь меня? сказал ли ты хоть раз прямо, просто: Люся, я люблю тебя! Мне так хотелось бы припомнить именно эту простую фразу! и я уверена, что ты никогда не говорил ее, потому что забыть ее я бы не могла! Ты говорил о том, что любовь все очищает и все упрощает... Любовь...

О, конечно, ты приедешь! ты не можешь не приехать! Ну, пожалуйста, прости меня, что я усомнилась в тебе. Пожалуйста, не вспоминай об этом никогда. Я хочу, чтобы ты сказал мне: «Люся, я люблю тебя!» Я хочу, чтобы ты поцеловал меня в голову... У меня болит голова и что-то давит...

Я придумала! Удивляюсь, отчего мне никогда раньше не приходила эта мысль? Чтобы пароход остановился у нашей пристани, надо выкинуть флаг. Я забыла об этом! Завтра я захвачу флаг с собой. Я встану повыше на перила, и подниму руку, и буду махать флагом. С парохода увидят, и тогда он подойдет. Будет так, как я хочу, и моим страданиям настанет конец. Отчего мне раньше не приходила эта мысль?

Завтра, завтра... Если я упаду в воду, ты легко вытащишь меня. Ты такой большой и сильный, а я маленькая, и я стала теперь так легка, что мне самой становится смешно. Ты унесешь меня на руках, как ребенка, и, пожалуйста, не забудь поцеловать меня в голову. Завтра...

P. S. Зачем я пишу вам? Неужели вы думаете, что я не понимаю и теперь, что вы обманули меня, что вы никогда не любили меня? В вашей веселой рассеянной жизни я была лишь развлечением — и только.

Все ясно теперь! Все ясно, когда не стараешься цеплять-

ся за надежду и уже не боишься никакой правды. Я не верю вам больше ни в прошлом, ни в будущем, и мне кажется, что я больше не люблю вас. Я хотела бы простить вам, чтобы спокойно и радостно ожидать смерть, но я еще не могу простить! Опять мне хочется, чтобы вы слышали мой голос. Я сказала бы вам: берегитесь! горе не тому, кто страдает, а тому, кто заставляет страдать!

ВЛАСТЬ

Небогатый помещик и земский начальник Андрей Дмитриевич Зыков остановился и стал прислушиваться. Сердце у него внезапно забилось, а рука невольно опустилась в карман, сжимая в нем револьвер. Было темно и тихо. В стороне темными чудовищами высились недавно сложенные скирды на гумне, впереди обрисовывались прямые линии надворных строений и очертания небольшого барского дома.

Андрей Дмитриевич прислушался и, крадущимися шагами, пошел вдоль стены скотного двора.

— Если только захочет, спрячется в скирдах и «его» все равно не найдешь,— тревожно размышлял он.— От красного петуха никто не обеспечен, решительно никто, ни на одну минуту!

Он перевел свой взгляд направо, где, словно поднимаясь из-под земли, темнела группа старых ветел на плотине. Ветлы молчали и, казалось, замышляли что-то, склоняясь над сонной водой пруда. Плотина, вся черная, точно обрывалась под их ветвями, и плохо верилось, что смельчаку, решившемуся перейти по ней на тот берег, не грозила неминуемая опасность провалиться в какую-то неведомую бездну. А между тем плотина была широка и содержалась в безусловном порядке.

Андрей Дмитриевич прислонился к стене, прислушался к неясным и непрерывным звукам, доходившим через нее, и уже собирался ближайшим путем вернуться к дому, как вдруг тот же подозрительный шорох, испугавший его раньше, приковал его к месту. На этот раз он ясно услыхал шаги. Кто-то крался, так же, как он, прячась и выжидая.

Андрей Дмитриевич схватился за револьвер.

— Кто идет? — с решимостью отчаяния крикнул он. Ему показалось, что в нескольких шагах от него шмыгнула человеческая фигура и припала к земле.

— Кто идет? отвечай! — кричал Андрей Дмитриевич.— Не ответишь, каналья, стрелять буду.— И он почувствовал, как револьвер запрыгал в его дрожащей руке.

«Убьет! «Ему» ничего не стоит убить... Никто не обеспечен, никто!» — быстро подумал он.

— Батюшка, Андрей Дмитриевич, ведь это я,— послышался из травы тихий голос, и в то же время, почти рядом с Зыковым, поднялась высокая, плотная фигура и покорно сняла шапку.

— Кто ты такой? кто? — неистовствовал Андрей Дмитриевич.

— Да я... я! Ваш приказчик... Трофим.

Зыков ощутил большое облегчение, и это чувство было до того сильно и радостно, что на минуту у него отнялась способность говорить.

— Что ты тут делаешь? что это за шутки? — наконец, опять закричал он, притворяясь рассерженным.

Трофим молчал.

— Отвечай! — грозно приказал Андрей Дмитриевич.

— Смею ли я шутить? — робко отозвался Трофим,— помилуйте-с...

Зыков затопал ногами.

— Так что же это? Чего ты тут лазишь, прячешься? Я, братец, этого не потерплю! Я, братец, отлично все вижу и знаю!.. Насквозь тебя вижу!.. Ты у меня не того... Пожар случится или покража, я тебя... я тебя в Сибирь. У меня, братец, власть! Отвечай: что ты тут делал?

Трофим низко опустил голову.

— Жену искал,— чуть слышно ответил он.

— Жену? Прасковью? — удивился Андрей Дмитриевич.

— Ее...— отозвался Трофим:— Накрыть хотел...

Зыков на минуту задумался.

— Эй, смотри у меня! не отводи глаз! — грозно, но не умея скрыть любопытство, заговорил он.— Что такое? жена?.. с кем накрыть?

Трофим мотнул головой?

— Нешто я знаю? — сказал он.— Хватился — Пашки нет. Вчера — нет, сегодня — нет... Словно сгинула. Где ж ей теперь быть? Не иначе, как где-нибудь здесь околачивается. Уйти ей некуда... Покажись мне, что кто-то юркнул, я и подполз.

— Эх ты! срамник! — сказал барин.— Борода у тебя седая, а молодую жену удержать не сумел. Власти в тебе настоящей нет! Поучил бы разок-другой, знала бы, как бегать!

— Как не учить! Известно дело — баба... Учил,— уныло отозвался Трофим.

— Мало, значит, учил. Да ты в скирдах ее поищи... Пошарь-ка хорошенько,— поучал Андрей Дмитриевич.— Да не вздумай закурить. Я, братец, если только увижу, что у меня

на гумне кто курит... У меня милости не ищи! Что хочу, то сделаю. У меня власть!

Андрей Дмитриевич быстро повернулся и чуть не бегом направился к дому.

Трофим проводил его унылым взглядом, надел шапку и, повернувшись лицом к скирдам, словно замер в тоскливом недоумении.

— Пашка! — позвал он тихо.— Коли ты здесь, выходи сюда. Сам найду — душу вытрясу, провалиться мне! Пашка! Дура ты этакая... Господи, создатель! что же это теперь будет? — И Трофим пошел бродить по скирдам.

Андрей Дмитриевич быстро вбежал по ступеням крыльца. В передней его ждал письмоводитель Душкин.

— А я вот тут... поджидал вас,— сказал он и поспешно встал ему навстречу.— Тут подписать требуется... принес...

— Хорошо. Пройдите в кабинет, я сейчас...

Письмоводитель захватил под мышку кипу бумаг и, осторожно ступая длинными, худыми ногами, пошел к двери кабинета. Зыков скрылся в другую дверь.

— Ну, что у вас тут? — спросил он, появляясь через минуту у большого письменного стола. Он сел, а длинный Душкин стал за его спиной и робко положил перед ним бумагу.

— Вот, соблаговолите... Вот тут подпишите... По делу Ивана Бобыля.

— Дальше! — буркнул Андрей Дмитриевич, заканчивая свою подпись красивым росчерком.

Душкин ловко подложил другую бумагу.

— Обижаются мужички,— тихо заявил он.

— За что? кто такие? — грозно спросил Зыков.

— Заринские... Свидетели по делу г-жи Мухояровой.

— Чего им? — нахмурился Андрей Дмитриевич.

— Третий раз приезжают, от дела отрываются... Дома лошадь нужна, приедут, а дело, за неявкой г-жи Мухояровой, отлагается.

— Ну, мне с Анной Николаевной из-за ваших мужиков не ссориться,— пожал плечами Зыков.— Все? — спросил Зыков.

— Теперь все-с,— ответил Душкин.

Зыков потянулся, как человек, наработавшийся до устали.

— Завтра к разбору сколько дел? — спросил он.

— Четыре: две неявки на работу по условию, воровство шпал на железной дороге...

Зыков нахмурился.

— Мерзавцы! где только могут надуть, украсть...

Душкин робко сказал:

— Здесь, собственно, действительно тяжелые условия: работа за долг, почти даром. Нужда непроходимая!

— Ах, оставьте, прошу вас! — рассердился Андрей Дмитриевич.— Вы всегда готовы за них заступаться! Однако факты против них. И мое правило: карать! и карать высшей мерой наказания. С этим народом церемониться нечего. Надо, чтобы он чувствовал страх; иначе, поверьте, батенька, он нам же свернет шею.

— На стол подано,— сказала старая экономка, заглядывая в дверь.

— Мое почтение-с! — торопливо сказал Душкин с неловким поклоном, поддерживая под мышкой кипу бумаг.

— С богом! — небрежно ответил Андрей Дмитриевич. Но вдруг он спохватился:— А, впрочем, вот что...— сказал он более мягко,— не хотите ли со мной закусить? Рюмку водки... Милости прошу! Жены нет дома, я совсем один.

— Я, собственно... не имею привычки,— застенчиво ответил письмоводитель.

— Нет, отчего же? одну рюмочку.

Андрей Дмитриевич быстро прошел вперед в столовую и, не садясь, оглядел на столе закуску и налил две рюмки настойки.

— Прошу! — сказал он и сделал жест рукой, приглашая Душкина выпить.— Вы еще мало знаете меня,— заговорил он, прожевывая закуску,— но вы уже должны были заметить: у меня в делах точность и аккуратность. Комар носу не подточит. На суде я строг. Это мое правило. Мужику надо импонировать, надо действовать на него силой и страхом. Вы служили раньше у Макшеева. Я знаю его... был у него на разбирательстве. Малый дельный, но народа нашего, прямо скажу, не знает.

— Его одобряют... любят,— вставил свое слово письмоводитель.

— Одобряют! любят! — насмешливо воскликнул Зыков.— Точно наш брат нуждается в их любви и одобрении! Вот если бы вы сказали мне, что его боятся по-настоящему! Народу надо импонировать! Надо, чтобы он видел в вас лицо официальное, власть... Надо поставить себя на известную высоту, окружить себя известной обстановкой. Я обратил особенное внимание на свою канцелярию: все сухо, строго, официально. Сразу чувствуешь себя обособленным, огражденным от всякого панибратства. Постойте! что это? — вдруг прервал он свою речь и стал прислушиваться.— Нет, это смеются в девичьей... Что прикажете! никогда, никогда не спокоен, по

милости этих дикарей, ваших хваленых мужиков. Один раз уже подожгли, и опять надо ожидать того же... Так вот, про Макшеева... Он даже о приличной камере не позаботился и представительности у него никакой. Выйдет в каком-то коротком, засаленном пиджачишке.

— Да, это точно,— подтвердил Душкин.

— Но разве это возможно?! — закричал Зыков.— Какое же может быть уважение к нему? Нет, батенька: форма — это великая вещь. Погончик, кокардочка — это импонирует. Вы должны были заметить: у меня струна. Издали шапки снимают. Я, батенька, себе за правило взял: всякое лыко в строку. Потакать да потворствовать — слуга покорный! Наш народ дик, необразован, и мы, телесные пастыри его, должны помнить это и сообразоваться с этим. Страх, батенька, только страх перед властью действует на этих людей.

— Батюшки! — крикнул он вдруг не своим голосом,— подпалили-таки, подпалили! — и он кинулся к балконной двери.

Из-за деревьев гумна ярким заревом выплывала полная красная луна. Письмоводитель криво усмехнулся.

— Восход луны-с,— успокоительно заметил он.

— Ну, вот, скажите! Как же не возненавидеть этих скотов, если из-за них поминутно такое волнение! — рассерженно заговорил Зыков, прикладывая руку к сердцу.— Ни сна, ни покоя! трясись день и ночь за свою шкуру. Не знаю существа, внушающего мне большую ненависть.

— Мое почтение! — сказал Душкин, пробираясь боком мимо Зыкова в открытую дверь балкона.

— А закусить? — предложил Андрей Дмитриевич.

— Увольте! не имею привычки.

Он все еще боком сбежал со ступенек балкона и пошел по дорожке к флигелю, точно отмеривая сажени своими длинными, худыми ногами.

Андрей Дмитриевич закрыл дверь, тщательно запер ее на замок и вернулся к столу.

— Дарья Тимофеевна! — крикнул он и, когда старуха вошла, сказал:— Присмотрите, чтобы окна были заперты на задвижки. Да чтобы у меня в девичьей дверь не распирали.

— Будьте покойны, батюшка,— ответила экономка.

Но перед тем как ложиться спать, Зыков вышел на крыльцо и повернулся лицом к гумну. Теперь луна была высоко, и длинные черные тени тянулись от построек и вдоль высокого каменного забора. Ровный, унылый, жуткий свет заливал широкий двор и белую как мел стену конюшни. Усадьба спа-

ла, и только где-то близко полуслепая сова пускала в воздухе свои хищные, тоскующие ноты. Нельзя было разобрать: грозила она или жаловалась.

Андрей Дмитриевич насторожился. Ему показалось, что вдоль забора, под деревьями, захрустели сухие ветви, как будто там медленно и осторожно пробирался человек.

— И собак нет! — быстро сообразил он.— Собак либо отвели, либо отравили. И сейчас подпалит! сейчас! Держи его, держи! — отчаянно крикнул он, устремляясь с крыльца к забору.— Эй, люди! вяжи ему руки! крути...

Но он сразу остановился: у забора с испуганным и жалким видом стоял Трофим.

— Опять ты? — накинулся на него Зыков.— Да это ты что же? Нарочно, что ли? Смеешься надо мной?

Трофим снял шапку и низко опустил голову.

— Да я тебя к суду по подозрению... в поджоге. Я тебя...

Трофим молчал и перебирал большими корявыми пальцами края своего картуза.

— Да ты никак пьян? Отвечай, ты пьян? — волнуясь и жестикулируя, допрашивал Андрей Дмитриевич.

— Помилуйте! — тихо отозвался Трофим чуть-чуть заплетающимся языком.

Зыков подумал, что Трофим сильно испуган его угрозами, он успокоился, и тень торжествующей улыбки пробежала по его строгому лицу.

— Что ж Пашка-то? все ищешь? — спросил он.

Мужик поднял голову.

— То-то, братец! распустил ты бабу,— наставительно и не без удовольствия сказал Зыков.— Постарше-то не захотелось, молоденькую взял, а власти настоящей в тебе нет. Вот и показала тебе молоденькая!

— Собаки со сторожем... Здесь собаки,— глухо ответил Трофим, стараясь твердо держаться на ногах.

— Так-то, братец!.. осрамился! Сторожу скажи, чтобы чаще ударял. Я не сплю, я слышу.

Зыков ушел в дом, и замок подъезда звучно щелкнул два раза.

Трофим опять опустил голову и в тоскливом раздумье развел руками.

— Власти, говорит, настоящей нет...— размышлял он.— Господи! да какой же еще власти нужно? Уж я ее, паскуду, бил, бил... Пашка! — позвал он дрогнувшим голосом.— Ну, хошь, сама меня побей? А? Ну, ее... к богу, эту самую... власть! Бей меня сама! бей!

Трофим подался вперед, выпячивая грудь и как бы подставляя ее кому-то. Но он был один. Кругом было тихо, и только одинокая сова продолжала пронизывать воздух своим жутким голосом.

ПЫШНАЯ ЖИЗНЬ

Она маленькая. Ей всего три года. У нее дед Антон Губан, бабка Анисья, а мать ее зовут Матрешей. Отца она не знает; он ушел на заработки года два назад и пропал. Может быть, его уже и в живых нет. Все может быть. Поэтому и Матрешу, и ее, маленькую Любку, выгнали из дома свекра, так как баб и ребят и без них там много. Матреша теперь ни девка, ни вдова, ни замужняя и живет опять у своих родителей. Избенка у них крошечная, в новом порядке против господского сада.

Любка уже все знает и все может рассказать. Она не жалеет, что ее отец, Аким, пропал.

— Вихрь его возьми! — серьезно говорит она.— На кой он нам нужен? Мы и без него проживем!

— А дед у тебя хороший?

— Когда хороший, а то пьяный. Он, подлец, наш самовар в кабак утащил.

— Ну, а бабушку ты любишь?

— Бабка дура. Закутает голову, ничего не слышит. Совсем дура.

— Только мать хороша?

Любка смеется.

— Знать, вправду, хороша?

— Лупоглазая! — немного конфузливо определяет Любка, и нельзя понять, похвала это или порицание.

Летом Любка весь день на улице.

Мать сшила ей из лоскутков пестрый чепец с оборкой и это ее гордость и ее радость. Платье ее с замазанным передом надето на голое тело, ножонки босы, руки и лицо всегда грязны, но когда на ее голове чепец, она считает себя нарядной.

— Обрядилась! — говорит она и конфузится от своего собственного великолепия.

Кроме чепца, у нее есть еще сокровище: нитка черного бисера. Ее она надевает только по праздникам.

На улице у Любки всегда есть дело. Она гоняет кур, ловит котенка, возит в тележке подобие куклы, возится в золе, поднимая ногами облака пыли.

Кто бы ни проходил мимо дома Губана, все всегда видят Любку и редко кто не заговаривает с ней, чтобы посмеяться ее бойким ответам.

— Где мать-то?
— На поденной. Садовник придтить велел.
— А тебя чего не взял?
— Я, как захочу, сама пойду.
— Работать будешь?
— А то?
— А за что тебя сегодня, говорят, бабка била?
— Да ведьма! Вот и дерется. Право слово, ведьма старая.

В окошечко избы показывается голова старухи Анисьи, и сморщенное лицо ее ласково смеется.

— Да когда же я те, касатка? Что ты? Иди, умница, домой: дождик сейчас пойдет, замочит. Иди, желанная!

Но Любка уже знает, что бабушке всегда кажется, что «сейчас пойдет дождь и замочит», и на ее зов она никогда не обращает ни малейшего внимания. Только послушайся ее и зайди в избу, и она сейчас же будет вычесывать Любке голову, а то, еще того хуже, снимет с нее платье, посадит голую на лавку, а платье в корыте выстирает и сушить повесит. Сиди и вой, пока высохнет. Не хочется голопузой-то на улицу выскакивать. Скажут: «бедная, перемениться не во что». А Любке это обидно, потому что она убеждена, что двор у них богатый. Когда ей в гостях предлагают угощение, она всегда пожимает плечами и немного презрительно улыбается и отворачивается.

— Пей чай, Любка.
— У нас дома свой чай-сахар.
— А пряника хочешь?
— У нас много всяких пряников.
— У вас, поди, и варенье варят?
— Варенья у нас страсть!

И хвастается она убежденно, и даже не может себе представить, чтобы у них не было чего-нибудь, что есть у других.

И если кто-нибудь хочет сильно рассердить Любку, так рассердить, чтобы она бросилась драться и кусаться, ей говорят, что она бедная, что их двор самый последний, что ее бабка из нужды лапшу в самоваре варит.

Любка ругает бабку дурой, но она знает, что она «дошлая». Умеет заговаривать зубы и ворожить. Раскинет карты и сейчас скажет, где искать пропажу. К ней охотно обращаются, а она, поможет или не поможет, а глядишь, и заработает малость своим искусством. Случилось даже как-то, что за ней прислала соседняя помещица, когда у нее сильно разболелись зубы. Она заговорила, и барыне полегчало. Так ведь та бабке три рубля пожертвовала! Давно это было, но Анисья еще не

может об этом забыть, как о самом значительном и счастливом случае в ее жизни.

Теперь у Анисьи постоянно ломит голову, в особенности «к погоде». Она говорит, что ей «вступило», когда за недоимки уводили корову. А тут безвестно пропал зять, и на шею стариков свалилась лишняя обуза: дочь с внучкой. В один последний год она состарилась за десять. Внучка хороша, да заботы-то сколько!

Любка смелая, и когда бабушка зазевается, а деда и матери дома нет, она часто уходит далеко от дома. Ее можно встретить на плотине или на аллее барской усадьбы, куда ее мать ходит на поденную работу, или по дороге в поле, где работает дед.

— Куда ты, паршивая! — кричат на нее встречные бабы.— Собаки разорвут.

В усадьбе вся дворня знает Любку. При случае ее сажают с собой обедать. Она держит ложку в кулаке, строго и важно оглядывается.

— Хороши щи, Любка?

— У нас так же щи варят,— отвечает она.

Сидит она всегда на коленях у кучера — это ее приятель. Он рассказывает ей, что, когда нет сена, он кормит лошадей своей бородой. Лошади отжуют, а она опять вырастет. Любка с любопытством перебирает пальчиками его бороду, действительно похожа на сено, и не знает, верить ли ей или не верить. Он же подарил ей зеленую пуговицу, которую кухарка пришила к ее платью с правой стороны груди. Эта пуговица так понравилась ей, что она стала бояться, как бы дедушка не утащил ее, как самовар.

— Пропьет, старый хрыч!

Любимое удовольствие кучера и всей дворни заставлять Любку ругаться и учить ее новым бранным словам.

Любка редко смеется, а все кругом нее хохочут.

За ней часто приходит сам дед и уносит ее на руках.

— Пойдем, внученька, пойдем, ягодка. Мы с бабкой-то о тебе стосковались. Куда наша Любка пропала? Не съели ли волки?

И Любка обнимает деда за шею, прижимается к его щеке щекой и позволяет нести себя, куда он хочет.

Дед худой, сутулый, в зимней шапке, босиком. Ходит он осторожно, точно постоянно боится наступить на стекло. Глаза у него красные и всегда слезятся. Портки и рубаха из домашнего холста.

— Ты зачем же сюда, внученька, зашла? Ты бы дома сидела.

Он несет ее и приговаривает, а она зажмурилась, уже сонная. Закачало ее.

Матреше некогда возиться с дочкой. Мимоходом она утрет ей нос или пригладит волосы, да так, что Любка едва не свалится с ног.

У Матреши никогда не умолкающая, никогда не забываемая обида. Она не хотела идти замуж за Акима, а ее выдали силой. Ну, вот что вышло! Другие живут, как люди, а она что? Загубили ее молодость! Обвенчали с немилым. Ни девка она, ни жена, ни вдова. В селе над ней смеются, из мужниной семьи ее выгнали. Сундук с приданым был,— половину не отдали.

У всех права, а у нее у одной никаких прав нет. Придет она домой с работы, ляжет ничком на лавку и воет. Любка подвернется, она ее оттолкнет.

— Не было бы тебя, ушла бы в город, в прислуги бы нанялась. У-у, постылая!

Бабушка подойдет и стыдит ее, стыдит. Дед замахивается, точно бить ее хочет, а она лежит и воет. Да и били ее: и бабушка била, и дедушка бил, а она будто и не чувствует. Только уж если надоедят ей, то приподнимется и так взглянет на них, что они оробеют и оставят ее в покое.

Дед возьмет шапку и уйдет.

А Любка стоит и смотрит на мать. Видно по глазам, что думает о чем-то, хочет понять: почему же она постылая? То-то дура мать! В город в прислуги собирается...

Любка не имеет понятия о том, что такое город и что такое прислуга, но она знает, что это что-то недостижимое, призрачное. Это не хуже ее чепца, нитки из бисера и даже зеленой пуговицы. Вот куда метит ее мать! Невольно сквозь напускную презрительность в душе Любки шевелится уважение к матери. Она даже немного робеет перед ней. Вот если бы Матреше вздумалось когда-нибудь приласкать Любку!

Когда Любке этого бессознательно хочется, она только стыдливо смеется.

Кто-то научил Любку новому слову. Оно короткое, звонкое, и Любка не знает, что оно скверное. Теперь все ее спрашивают:

— Кто твоя мать?

И она отвечает радостно и отчетливо.

Матрена услыхала и принялась бить ее так, что дед с бабкой насилу отняли.

— Кто научил? — допрашивала Матреша.

Но Любка заупрямилась или забыла. Она отвечала:

— Сама выдумала.

Матреше сказали, что если Аким умер, то его пачпорт перешлют в волостное правление. Она часто ходит узнавать, нет ли пачпорта, и всегда бежит назад в слезах, вытирая лицо фартуком.

Чтобы испугать ее и посмеяться над ее страхом, кто-нибудь изредка сообщает ей, что Аким «объявился», сидит у себя дома и сейчас пришлет за ней.

— Врешь! — говорит она, а сама бледнеет и хватается за что попало, чтобы устоять на ногах.

— Увидишь, как вру. Сидит. В окно смотрит.

Ужас и отчаяние придают Матреше силы.

— Убью я его! — говорит она холодно и спокойно.

Ее дразнят.

— Сам он тебя раньше убьет. Не слепой и люди не без языка.

Эти шутки дорого обходятся Матреше. Даже когда она убеждается, что над ней насмеялись, она не скоро приходит в себя и, крутя пальцем у левой стороны груди, уверяет, что у нее тут что-то оторвалось и покатилось.

Стоит зной, какого уже давно не было. Земля сохнет и трескается. Над деревенской улицей не опускается пыль, а так и держится в воздухе, а на дороге она глубокая, мягкая, горячая. В ней роются куры и садятся в нее, распустив крылья. Кроме кур, на улице никого больше нет. Даже собаки попрятались в тень. Солнце описывает по небу свой самый большой путь и уж как заберется с утра в вышину, так и льет оттуда светом и жаром до самого вечера. Пруд стал мелкий и ушел от берегов. Из колодцев стало трудно доставать воду, а все обычные лужи и трясины так высохли, что от них и следа не осталось, только земля там покрылась целой сетью широких трещин. Прилетит туда воробей, попрыгает, повертится.

— Чирик!

Где вода? Воды нет. Надо лететь напиться в пруду. Экая досада!

Стадо возвращается домой, окутанное тучей. Издали можно подумать, что где-то пожар, так густо, и черно, и высоко, точно дым, поднимается пыль. Овцы чихают и кашляют, коровы ревут. Кажется, что вот сейчас это стадо вытянет в свои засохшие, запыленные глотки остаток пруда и уж негде будет напиться и воробью.

Давно не было такой жары и суши, а народ как раз весь

на работе: убирают сено. Антон с самого начала сенокоса пьян с утра до ночи, но так как пьянствовать в это время освящено обычаем, то Анисья с этим мирится и только по обычаю же журит своего старика, когда он возвращается домой. Сама Анисья из дома уже давно не отлучается. Целый день возится в избе или около избы и изредка окликает Любку.

— Любка, ты где? Иди, касатка, домой, дождик сейчас пойдет, замочит. Иди, умница!

Любка, по обыкновению, не идет, но она и не убегает никуда, и не шалит, и даже не играет. Она тихо сидит, как курица, в горячей пыли и с чем-то молча возится, лениво, без увлечения. Почему-то она теперь кажется совсем маленькой, беспомощной, и даже трудно узнать ее русую головенку без чепца и ее бледное, почти чистое личико.

Любка больна животом. Надо бы свезти ее к доктору, да до больницы шесть верст и время такое тесное: лошадь занята, дед пьян, мать работает. Да ничего: выдуется! Боль детская. По всему селу ребята хворают. На то они и ребята. Беспокоит Анисью только то, что Любка ничего не хочет есть, а только пьет и пьет воду. Без еды умрешь. И поэтому она все придумывает, чем бы соблазнить внучку.

— На лучку-то. Зеленый лучок, сладкий! Ты его с хлебцем. Я сольцы посолю.

Любка ничего не хочет, мотает головенкой и отпихивает бабкину руку.

Что-то ей скучно. Не хочется даже ругаться. Бабка берет ее в избу и укладывает на лавку. Она там поспит и опять выползет. Приходит ей в голову, что хорошо бы отправиться на усадьбу. Может быть, там кучер коляску моет. Как-то раз он ее мыл, а она смотрела. И все время они перекликались. Она крикнет:

— Дядя!

А он ей:

— Ась?

Она опять:

— Дядя!

А он опять:

— Ась?

Она громче, и он громче. Она протяжно, и он протяжно. Да так без конца.

А потом он поднял ее, посадил в коляску и закатил ее в сарай.

И пошла бы, да ноги что-то не ходят: слабые. Слыш-

но ей, что на пруду крик и гам. Это ребятишки купаются. Купаются они теперь целый день, благо раздеваться недолго.

Любка знает, как это весело, но сама еще не купалась, а полоскалась как-то в луже, рядом с прудом. Там не утонешь. Так же весело было, но очень уж она замаралась, пришла домой вся в грязи.

Лихо купаются мальчишки! Заберутся на перила моста и оттуда летят в воду. Эти ничего не боятся! Смотреть на них жутко, но и интересно. Пошла бы, да не хочется.

Пробует она пореветь, да и реветь лень и бесполезно, потому что никто не слышит.

Но вот опять идет бабка и неожиданно начинает окутывать ее платком.

— Нездоровится, а на ветру сидишь. Как бы не охватило,— бормочет она.

Любка не протестует: давно не приходилось ей ходить в этом теплом платке, и ей кажется, у нее в нем богатый вид. Она даже улыбается от удовольствия. Знакомое чувство гордости всем великолепием ее жизни на миг заглушает нездоровье и скуку. Хоть бы прошел кто-нибудь мимо и увидал бы ее!

Бабка, должно, переделала все свои дела: села на порог избы и дремлет.

А солнце закатилось высоко, высоко и, кажется, остановилось. Неподвижны в воздухе зной и духота.

Дед убрал сено и пропил его почти все.

Анисья сама ходила к лавочнику Петру Степанову, кланялась в пояс и умоляла, чтобы он, если ее старик будет еще предлагать купить у него сена, гнал бы его, пьяницу, в шею и денег бы ему не давал. С той же просьбой ходила она и к другим купца̀м и всюду кланялась, плакала и проклинала мужа на чем свет стоит.

Над ней все смеются.

По вечерам у Губанов стон стоит от брани, крика и слез. Кончается это тем, что Антона выталкивают на улицу без шапки и он долго топчется перед своей избой, с трудом удерживая равновесие, и с недоумением разводит руками.

— А хозяин кто? — рассуждает он сам с собой.— Я хозяин. Это как же? Хозяина, да вон? Кто смеет? А не смеет этого никто.

И уверившись в своих правах, он идет назад в избу и кричит:

— Старуха! Хозяин идет! Покоряйся!

Любка лежит на печке и слушает. Она все не поправляется, и так извелась, что от ее крепкого, ладного тельца остались только кости да кожа. Но Анисья верит, что ей теперь скоро будет лучше: у тетки Ульяны нашлись порошки из больницы и она охотно пожертвовала их Любке, так как они ей давно больше не нужны. Ульяна давала их своему ребенку, а тот с год уже как умер, но не от порошков, а от того, что он белены наелся. Няньку его, Маньку, отходили, а он умер. А порошки хорошие и хорошо помогали. Чем еще ехать за ними, а они уж тут.

Любка охотно принимает лекарство, потому что гордится, что ее лечат. Это льстит ее самолюбию. Гордится она и тем, что мать об ней ревет. Матреша не верит, что Любка может поправиться.

— Чернеть стала,— говорит она,— лицо землей подернулось.

— Как Любка умрет, я и уйду,— грозит она старухе Анисье.— Мне уж место выходит...

Ревет она, что Любка умирает, и ревет о том, что, когда она развяжет ей руки, ей, пожалуй, не выдадут пачпорта из волостного. Ведь у всех права, а у нее никаких прав нет. Навязали ей силой мужа Акимку, он пропал где-то, и она должна пропадать. Ни жена, ни вдова, ни девица. Писарь говорит: нельзя такой пачпорта дать. Таких, будто, и не бывает совсем. Смеется, что ли? Как же не бывает, если она именно такая и есть? Такое, говорит, ты существо, что тебя ни под какой закон не подведешь.

От таких слов у Матреши обрывается и закатывается сердце. Если волостной писарь и шутит, то поди-ка поищи свой закон! Захочет, и шутка крепче закона ее дома свяжет.

Любка совсем не хочет умирать. Вся ее жизнь продолжает ей казаться богатой, красивой и нарядной, а о смерти она никогда и не думает и думать не умеет. Только когда мать говорит: «Умрет Любка. Чует мое сердце»,— ей становится немножко неприятно и она пожимается.

Заходит иногда соседка и спрашивает:

— Любка-то еще не умерла?

Если никого нет в избе, Любка сама приподнимается и отвечает:

— Нет.

— Полегче тебе, что ли?

— Не знаю.

— Как, ты все жива?

Но хотя этого еще никто не знает, Любкина судьба решена: она не умрет на этот раз. Она выдулась.

Дед и мать опять на работе в поле. Убирают рожь. У бабки ломит голову, и она вся закуталась большим теплым платком и ничего не слышит. Любка выползла на порог избы, оглянулась по сторонам и еще робко, еще слабо улыбнулась солнцу, теплу, зеленым деревьям, пыльной дороге, веселым воробьям и озабоченным курам. Она стоит на своих исхудавших ножонках, а ее пошатывает. Наклонилась было, за комочком земли, чтоб запустить им в петуха, и неожиданно крепко села на землю. Удивилась и теперь сидит, смотрит и слушает. Плывут облака по небу, зеленой стеной стоит через дорогу господский сад, и там, где-то, звонко лает собака. Кричат, купаясь, ребята на пруду. А над самой ее головой, на ветле, возится какая-то большая птица и все машет крыльями и точно срывается и падает и старается удержаться. По дороге идет старик нищий с сумкой за плечами; в руке высокая палка. Он не глядит на Любку, а все-таки немного страшно: как бы не унес.

И вдруг из-за угла сада быстро выскакивает лошадь, а за ней дрожки, а на дрожках Любка узнает своего друга-кучера. Он катит прямо к ней и тоже не глядит в ее сторону, а Любке хочется, чтобы он заметил ее, и она поспешно встает и машет руками.

Кучер осаживает лошадь и останавливает ее.

— Любка! Аль ты жива?

Она бежит к дрожкам изо всех сил, с испуганным лицом и поднятыми плечами, готовая упасть на каждом шагу и не падая только по какой-то странной случайности. Ее ноги спотыкаются, заплетаются, семенят на месте, но она все-таки подвигается вперед и, наконец, падает на руки кучера. Он поднимает ее и сажает перед собой.

— Ишь ты! Выздоровела,— удивляется он.— А весу в тебе никакого не осталось; что твой воробей.

Любка стыдливо смеется и заглядывает ему в лицо.

— Покатать, значит?

И они едут.

— Эй! — кричит кучер нищему, который бредет впереди, и тот испуганно отскакивает в сторону. Разбегаются с дороги куры и прыскают из-под ног лошади воробьи. Сбегаются собаки, прыгают и у колес, и у лошадиной морды, лают, задыхаются от злобы. Баба с коромыслом остановилась и ждет, когда промчатся дрожки. Взапуски припустила за ними стая мальчишек.

Любка вся сжалась и притаила дыхание.

Оголившиеся исхудалые грязные ножонки ее торчат в сторону, руками она уцепилась за одежду кучера; ветер треплет ее волосы, а бледное, изморенное лицо ее выражает растерянность блаженства.

Какой почет! Какая слава! Вот когда гордость ее вполне удовлетворена!

Гордость маленькой, ничтожной, еле живой Любки, в ее богатой, пышной, великолепной жизни.

ГЛУПЫШИ

Уже три дня Андрик чувствовал на душе тяжелый гнет; он сказал маме, что своих «сведений» из гимназии он не получал, но он солгал, и солгал потому, что в этих сведениях у него опять было замечание.

«Мазал мелом ладони и вытирал их о спины товарищей. Окунул в чернильницу нос. Смешил класс во время урока немецкого языка».

Мама сказала, что если он принесет замечание, она будет принуждена наказать его, так как директор жаловался ей, что одна школьная репрессия не имеет для него никакого значения.

Андрик, по его искреннему убеждению, вел себя последнее время довольно сносно, и когда в день роспуска на Рождество классный наставник вручил ему белую тетрадку, в которой он увидал перечень своих проступков и пониженный балл за поведение, он был неприятно поражен. Чтобы дать себе немножко времени на раздумье и не сразу испортить всю перспективу праздников, он солгал, и вот наступал уже сочельник, а он все еще мучился необходимостью отдать маме сведения и признаться во всех своих прегрешениях.

Как нарочно, мамы сегодня весь день не было дома: днем она ездила за покупками, а обедать и на весь вечер уехала к своей сестре на именины. Дома были только дети с няней и могло бы быть очень весело, потому что несносная мадам с ее очками и «parlez donc français» тоже куда-то ушла.

Андрик надел войлочные туфли, которые он имел право надевать только после ванны, сорвал с шеи крахмаленный воротник и в расстегнутой куртке и с засунутыми в карман руками ходил по комнатам — по столовой через гостиную в кабинет и обратно. Он отлично помнил, что не окунал носа в чернильницу. Не окунал, но попал случайно, что, конечно, может случиться со всяким; но он знал, что на такой случай могут существовать две совершенно различные

точки зрения, и он уже давно понял, что одна из них искренняя, справедливая и, следовательно, настоящая, а другая условная, педагогическая и, следовательно, возмутительная. Пока он не поступал в гимназию, у мамы была только «настоящая» точка зрения и все шло прекрасно. Теперь она часто огорчается тем, что, по его мнению, не стоит огорчения, или сердится тогда, когда, он знает, не стоило бы сердиться. Пока он не поступал в гимназию, мама всегда была одной и той же: близкой, понятной, доброй мамой, которая, правда, иногда сердилась и ставила в угол, но так, что это было совсем не грустно. Теперь она иногда бывала совсем другой и как будто нарочно не хотела понимать Андрика, становилась на «возмутительную» точку зрения, и вот один раз, когда он принес в гимназию какую-то птицу с ее старой шляпы и повесил ее в классе, а его за это пригласили на воскресенье, мама огорчилась до слез, и он до сих пор не может забыть, что она говорила ему.

— Ты меня не любишь,— говорила она,— ты мучишь меня, Андрик. Ты бессердечный, жестокий мальчик.

Тогда он в первый раз почувствовал какое-то тяжелое недоумение. Неужели мама так думала или неужели она притворялась? Из-за такой пустяковины, как какая-то растрепанная ворона! Правда, он шалун и все говорят, что в 12 лет можно было бы быть постепеннее. Но ведь если бы мама знала, как трудно удержаться от шалостей, и, главное, если бы она знала, как у него мучительно и скверно на душе, потому что у него замечание и потому что он ее обманул. И обманул-то ее потому, что боялся «возмутительной» точки зрения.

Он остановился перед зеркалом и стал внимательно оглядывать свою фигуру. На груди, под расстегнутой курткой, висел на тесемке гимназический галстук, похожий на черную тряпочку, а грудь была узенькая, ввалившаяся, с торчащими вперед плечами. На тонкой обнаженной шее круглая, как шар, сидела стриженная бобриком белокурая голова с круглым розовым лицом, с круглыми щеками и круглым вздернутым носом.

— А все-таки в моей наружности есть что-то,— подумал он,— для мужчин нужно значительное умное лицо. Досадно, что у меня толстые румяные щеки, но это оттого, что я ем слишком много булок.

Он сморщил лоб и сдвинул брови.

«Печать страдания»,— подумал он. И вдруг почти непрерывная все эти дни мучительная тревога заскребла на сердце, и замечание в сведениях опять ясно встало перед глазами.

Неожиданно для самого себя Андрик дернул головой, руками и ногами, весело засвистел и, раскатываясь по паркету на мягких подошвах, помчался в детскую.

Еще в коридоре он едва не столкнулся с Сережей, который тоже опрометью бежал куда-то.

— Ну, уж в этом никто не виноват. Никто! — быстро заговорил Сережа, моргая и жестикулируя.— У Мишки носом кровь, но уж это никто. Он сам залез под кровать. Я его тянул за одну ногу, потому что он был утопающий и в море есть акулы.

В детской был хаос и шум. Все столы и стулья были перевернуты, игрушки кучами лежали на полу. Из книжных шкафов все тетради и книги были свалены на кровати, а сами шкафы изображали не то какие-то экипажи, не то части погибшего корабля.

Теперь весь шум сосредоточивался вокруг умывальника. В центре, едва касаясь подбородком края таза, стоял пострадавший Мишка, сын горничной, с вымазанным кровью лицом и мокрым от воды передом рубашонки; Бобка пускал струю, опуская кран, а Ляля, немного брезгуя и превозмогая свою брезгливость, размазывала своей маленькой мокрой рукой кровь и грязь на Мишкином растерянном и испуганном лице. Все были мокры, возбуждены и недовольны друг другом.

— Бобка! Куда ты льешь! — кричала Ляля.— Ну, какой ты!.. Ну, вот опять пустил так, что даже на пол.

— Виноват я, что умывальник дурацкий? — кричал Бобка.— Это Мишка навалился и сдвинул таз. Мишка, не наваливайся!

— Не опускай совсем крана, а только немножко. Ведь знаешь... Ну, опять!

Бобка выпустил кран и сильная струя холодной воды, минуя детский умывальный столик, полилась на спину Мишки и на пол.

Все отскочили и захохотали, только Мишка еще больше напугался и собирался заплакать, забрав дыхание так, как будто хотел чихнуть.

— Мишка, Мишка! Это ничего! — закричала Ляля.— Мы тебя сейчас переоденем. Ты только молчи, молчи!

— Вы это что же здесь? А? — строго спросил Андрик.

— Это уж никто! — убежденно повторил Сережа, подергивая одним плечом и подпрыгивая на одной ноге,— Андрик! Отчего нос книзу, а кровь не всегда идет, а только когда ушибешься?

— Как нос книзу? Что за ерунда? — снисходительно спросил Андрик, чувствуя, что его звание гимназиста, его туфли и его горе поднимают его на неизмеримую вышину в этом глупом детском мирке.

— Вовсе не ерунда! Конечно, книзу,— горячился Сережа.— Но отчего только, когда ушибешься?

— А где же няня? — спросил Андрик.

— Не знаешь, не знаешь,— запел Сережа, прыгая на одной ноге через игрушки.

— К няне монашка пришла,— ответила Ляля.— Они на кухне чай пьют с медом. За медом Мишку в лавочку посылали.

— За двадцать копеек,— плачущим голосом пояснил Мишка.

Ляля вытерла ему лицо полотенцем, положила ему на спину и на грудь под мокрую рубашонку по носовому платку и он чувствовал себя так, как если бы он действительно потерпел кораблекрушение и был спасен. Только нос его немного припух и был краснее обыкновенного.

— Глупые вы, ребята! — сказал Андрик, с любопытством оглядываясь кругом.— Вы бы меня позвали вам корабль состроить. Ну, это что? — Он сдернул покрывало, натянутое на спинки двух кресел и удивился. Между креслами на игрушечном стульчике сидела его меньшая сестренка, Зюлька, с двумя куклами на коленях и крепко спала.

— Зюлька спит! — закричал Бобка и захохотал.

— А ведь мы забыли про Зюльку! Вот так ловко!

— Она шпит! — протянул Мишка и в то же время медленная улыбка растянулась на его лице.— Она жашнула.

— Это ее каюта! — закричал Сережа.— Ай да Зюлька! Проспала всю аварию.

— Я ее сейчас уложу! — вызвалась Ляля.— Я без няни умею.

Но Зюлька в это время проснулась, потерла глаза и сердито оглянулась.

— Зюлька! Мишка нос разбил, кровь шла,— подскочил к ней с новостями Бобка,— а я всю воду разлил и видишь, какая лужа, и у меня один рукав мокрый, а няня ничего не знает...

Зюлька напряженно слушала, стараясь все понять и оценить, и вдруг улыбнулась и вскочила.

— А сегодня Рождество? — спросила она.

— Да нет, глупая! Еще мама не приехала. Еще целая ночь. Еще няня все чай пьет с монашкой.

— А у меня на шпине платок ношовой,— лениво сообщил Мишка.

— Ну, Андрик, ну, миленький, ну, давай что-нибудь,— просил Сережа, повесившись на руку брата.

— Давайте теперь страшные болтушки выдумывать. Я уже выдумал! — закричал Боб.

— Не хочу твоих болтушек! — нетерпеливо заявил Сережа.— И чего страшного? «Поезд идет, в поле ночь, темно, и вдруг — волк!» Ну, право, Андрик, чего страшного?

— Ну, это что! — сконфуженно согласился Боб.— Я теперь гораздо страшнее выдумал. Вот ты увидишь.

— Шлон! — сказал Мишка и испуганно вытаращил глаза.

— Дурак! Шлон! — передразнил Сережа, а Боб покатился со смеху.

— Ну, и выдумал страшное! Хочешь, я слона поцелую? Хочешь?

— Он укушит,— флегматично протянул Мишка.

Андрик отстранил от себя цепкие руки Сережи и молча пошел из детской. Ему опять стало скучно, и от непривычки длительного душевного угнетения ему казалось, что он нездоров, что у него где-то что-то болит.

— Мне совсем наплевать на наказание,— подумал он,— и вовсе я не из-за этого скрыл, а скрыл потому, что... я не знаю почему.

— Андрик, не уходи! — умолял его Сережа.— Ну, давай что-нибудь. Или позови меня с собой.— Он шел за ним до дверей детской, а в дверях остановился и вздохнул.

Андрик пошел в свою комнату, бросился на стул перед письменным столом, откинув в сторону ноги в туфлях, и задумался.

— Сегодня скажу. Непременно! — думал он.— Завтра Рождество, подарки... Вдруг она подумает, что я, чтобы получить подарок, скрыл. Господи! Если бы это скорей прошло как-нибудь. Господи! Если бы мама поняла, что я... Ну, что же я? Ведь, если бы мама захотела понять, она бы уже лучше знала. Она бы все знала, и я бы не был так виноват. Но когда я успею сказать, если она поздно вернется, а я засну?

Он рассеянно открыл перочинный ножик, поскреб им по столу, потом потянулся за клочком бумаги и карандашом и, не меняя позы, начал писать.

«Мамочка, я ничего не знаю, как все это случилось. Мамочка, я опять шалил и потом немножко обманул тебя. Но я не хотел шалить и не хотел обманывать. Ты меня накажи, если

хочешь, но только ты не говори опять, что я тебя не люблю и что я злой и бессердечный».

Он почесал карандашом затылок, поморгал покрасневшими глазами и сердито нахмурился.

«А мой нос ты сама видела, что он был в чернилах,— прибавил он,— и ты мне тогда только сказала потереть лимоном. И ты мне, мамочка, припиши здесь, можно мне завтра с утра надеть новую куртку?»

Он порылся в ящике и сердито выбросил на стол «сведения».

— Подарки — уж кончено. Подарков я сам не возьму ни за что! — с чувством непонятного отчаяния и ненависти решил он.— Ни за что!

— Андрик! Ну, пожалуйста! — запел голосок Сережи за дверью.— Ведь скучно! Андрик! Хоть какую-нибудь процессию...

Андрик вдруг насторожился и повернул лицо к двери.

— Процессию? — переспросил он.

— Ну, да...

Ободренный его тоном, Сережа решился приоткрыть дверь и сунул в щель голову.

— Знаешь, процессию... Или Христа славить. Это Мишка умеет! Он уже славил.

Сережа уже совсем влез в комнату и с радостной надеждой на лице прижимал к груди сложенные руки и подпрыгивал, как резиновый шар.

— Свечку я знаю — где достать... и звезду... А еще что?

— Да, милый Андрик! Давай рядиться! — вдруг звонко закричал он и повис у брата на шее.

Процессия ходила по всем комнатам и по коридору в кухню. Впереди шел Андрик со щеткой, на которой была прилеплена свеча. За Андриком, точно в экстазе, не спуская с него восторженных глаз, шел Сережа с какой-то чалмой на голове и в мамином матинэ, из-под которого выглядывали тонкие ножки в туфлях и черных чулках. Боб, завернутый в нянин фартук и с абажуром, вместо головного убора, поминутно наступал на покрывало, которое волочилось шлейфом за Лялей. Мишка и Зюлька плелись сзади всех в украшениях из газетной бумаги, но Мишка так блаженно и мечтательно улыбался, а Зюлька была так горда и важна, что не могло быть сомнения в том значении, которое они придавали и своему шествию и своим костюмам. В кухне было тепло, чисто и еще пахло свежевымытым полом. Свернувшись на табуретке, дремал кот. Старуха кухарка в белой кофте

и белом чепце перетирала чашки после долгого чаепития с монашкой и нянькой, которые обе ушли.

— Да батюшки! Да что же это такое? — добродушно заахала она, всплескивая руками, когда шествие молча и торжественно потянулось мимо плиты.

— Да уж хорошо-то как! Да уж как прекрасно!

Горничная вышла на порог своей комнаты и смеялась, а сложенные на животе руки тряслись от смеха.

— Забавляются! — сказала она кухарке.— Мама-то в гостях, и мамзель отпросилась. Одни.

— А уж ты... косолапый! Я тебя! — ласково-строго крикнула она на сына и дала ему подзатыльник.— Спать тебе пора!

— А Зюленька-то наша, то-то королева! — заметила кухарка.

— Королева! — смеясь согласилась горничная.— И ни от кого не отстает, во всех играх в компании. Андрик-то второй год в гимназию ходит, а чем лучше?

Она зевнула и затворила дверь.

Когда няня кое-как прибралась в детской и пошла сказать детям, что им давно пора спать, в столовой стоял шум и гвалт, а в воздухе во всех направлениях летали бумажные стрелы. Шла война...

Первым поймала няня Мишку.

— Мать зовет! Иди, иди! — сказала она.— Нечего тут! Нашалился.

— Она не жовет. Шпать еще рано,— жалобно заговорил Мишка, выставляя локти и растирая себе голову руками.

— Иди, иди! — толкала его в спину няня.

— Андрик взял мои штрелы. Я хочу взять мои штрелы...

Няня выставила его за дверь и поймала Сережу. Она крепко схватила его за руку выше локтя, но он, казалось, даже не понял, что его держат, а продолжал скакать и кричать, инстинктивно стараясь освободиться.

— Красный, мокрый весь,— кричала ему няня,— да разве можно так, батюшка? Опомнись, очнись!

— Козел дает, назад не берет! — кричал кому-то Сережа.— Козел дает...

— Андрик, да побойся ты бога! — взмолилась няня,— всех так взбулгачил, что из рук вон. Вот мама вернется, застанет, что тогда будет?

— Детвора, спать! — вдруг крикнул Андрик, и лицо его сразу стало серьезным и строгим.— По местам, марш!

Одно напоминание матери вернуло ему сознание не-

приятной действительности и на его легкое детское сердце опять надвинулось то тяжелое и непонятное, которое было похоже на болезнь. Ему даже стало странно, что он так глупо и весело провел весь вечер.

— Миленький, иди к нам, пока мы будем раздеваться,— шептал ему на ухо Сережа.

Мишка все еще стоял в коридоре и тер себе голову руками. Полосатые чулки его спустились, высохшая светлая рубашонка была грязна и смята, выражение лица было покорно и безнадежно.

— А ведь завтра Рождество, а я забыл! — крикнул Сережа и промчался мимо него на своих изящных тонких ногах.

— Прощай,— сказала ему Ляля и присела перед ним так, что ее нос почти коснулся его припухшего носа.— Спи скорее, завтра Рождество.

— Она меня в шпину, а мать не жвала,— жалобно сказал Мишка.

— Ляля, ты хочешь слушать болтушку? Страшная! — подбегая, предложил Бобка, хмуря лоб и сверкая глазами.

— Ну нет! Уж, пожалуйста, не хочу! — возмутилась Ляля.— Ничего ты не выдумал и ничего интересного.

— А я тебе говорю — страшное и интересное.

— Ну, а я не хочу! Я хочу лежать и думать, что завтра Рождество, что елка, что подарки...

— Пожалеешь,— вспыльчиво и с угрозой тихо сказал Боб и, топая пухлыми ногами, обиженный в своем авторском самолюбии, побежал в детскую. Зюльку няня пронесла на руках.

— Большая девочка, срам! — укоризненно говорила она,— ты у меня маленькая была, да этого не делала. Больше стала, хуже стало.

Зюлька чуть-чуть хныкала для приличия, но ей было хорошо на няниных руках и еще не перестало быть весело, и, мимоходом, она постаралась задеть ногой Мишку по голове.

Мишка заморгал и, внезапно почувствовав, что глаза его закрываются от сна и что это почему-то обидно, вспомнил про свой разбитый нос, закрыл его грязным рукавом и, тихо всхлипывая, поплелся к матери.

Когда мама вернулась, ни болтовни, ни беготни в детской уже не было. Все спали. Спал Сережа, раскинув руки и ноги и чуть-чуть запрокинув голову, точно готовый каждую

минуту вскочить. Спал Боб, завернувшийся в одеяло, как кокон, и с таким сосредоточенным выражением лица, как будто он продолжал сочинять свои «болтушки». Спала Ляля, спокойная, тихая и улыбающаяся. Спала Зюлька, уткнувшись лицом в подушку и подняв голый, круглый задок. Все они знали, что надо было спать долго-долго, чтобы было Рождество. И это Рождество таинственно наступало в тишине. Оно уже было в воздухе, оно уже ютилось в топорщащихся чистых юбочках и праздничных костюмчиках, которые няня разложила по стульям,— в лампадке, которую она зажгла перед иконой.

Мама обошла все кроватки и пошепталась с няней.

— Все, матушка, благополучно было,— шептала няня.— Веселые были. Наигрались, набегались. Все, матушка, хорошо.

Мама подошла к Андрику. Он лежал лицом к стене и подозрительно тихо дышал.

— Мой большой,— с гордой нежностью подумала мама и, оглянувшись, увидала тетрадку сведений и записку на столе. Она поставила свечу и долго стояла и читала, точно не могла разобрать или понять написанного. Она читала и думала, что вся ее любовь к сыну, вся нежность и чуткость, на которые она была способна, весь страх за его будущее и жалость в настоящем читали и думали вместе с ней.

Андрик уже едва мог притворяться спящим.

Слезы уже давно текли по его лицу, и он забывал ровно дышать.

И вдруг мама тихо подошла к его кровати и легко провела рукой по его мокрому лицу. Тогда он обхватил ее за шею и она молча села к нему на постель.

— Андрик! — сказала она, а рука нежно гладила его по голове,— Андрик, ты меня теперь не поймешь. Ты еще мал. Но помни; Андрик, если я слаба, если моя любовь тебе вредит... если я делаю не так, как нужно... Андрик, сделай ты так, чтобы я в этом не раскаялась никогда.

Она порывисто прижала его к себе и вдруг встала и взяла свечу.

— А теперь спи и не думай ни о чем,— прибавила она.

Дверь закрылась, и стало темно, а Андрик сидел на постели и широко раскрытыми глазами глядел в темноту. Легкое детское сердце его тихо смеялось, и теплая ласковая радость точно лилась в грудь, и уже было ее так много, что становилось тесно и становилось больно.

Но вдруг ему стало холодно и все мысли, и все чувства

его превратились в усталость и разлились по всему телу. Он юркнул под одеяло, зарылся головой в подушку, сладко зевнул и сейчас же чьи-то руки ловко и нежно обхватили его, качнули... Мягко, сонно и далеко-далеко загудел удар колокола к заутрени.

ПЕРВОЕ ГОРЕ

Когда Гриша выходил на балкон, ему стоило только прищурить свои большие синие глаза, чтобы видеть за открытыми воротами конюшни круглый светлый зад Ловкого в его стойле, ряд уздечек на перегородке и кучера Игната в старой безрукавке и с неугасимой трубкой в зубах. Обыкновенно Гриша не долго противился искушению: он засовывал обе руки в карманы своих коротеньких штанишек, спускался с лесенки балкона и шел через большой заросший двор степенной поступью настоящего хозяина.

— Ну, что? — спрашивал он Игната, оглядывая знакомую и милую ему обстановку каретного сарая,— левая все еще хромает?

— Хромает еще, хромает! — с полной готовностью поддержать разговор отвечал Игнат.

— А хомут починил?

— Да, вот, починяю.

— Смотри: сегодня моего Королька никому не давать!

— Да разве моя воля? Скажут: «надо на станцию ехать, либо в село, запрягай Королька»... Я и запрягу.

— Что это, право! все мою лошадь, все мою...— ворчливо замечал мальчик.— А овса ей всыпал?

— Откуда же я возьму, ежели мне не приказано? — отвечал Игнат, и бородатое, обыкновенно хмурое лицо его принимало лукавое выражение.— Папенька не велел.

— Без овса! — отчаянно вскрикивал Гриша, и гневные слезы навертывались у него на глазах. Игнат весело и ласково смеялся.

— Ишь, порох какой! право, порох,— успокоительно говорил он.— Да уж будьте покойны: не обижу я вашего Королька. У других отниму, а Королек у меня всегда в полном удовольствии. Уж не бойся, милый!

Он ласково заглядывал в глаза мальчику и проводил по его голове своей корявой, грубой рукой. Гриша успокаивался и начинал свой обычный обход. Он садился поочередно во все экипажи, влезал на козлы и делал попутно свои замечания.

— Хорошая тележка! — говорил он тоном знатока.

— Дурного в ней нет! — сочувственно отзывался Игнат.

— Дрожина-то... прочная небось?

— Дегтем вымажешься, баловник! — предостерегал кучер.— Нянюшка будет браниться.

— Ладно. Не вымажусь,— спокойно отвечал Гриша.

Игнат служил в усадьбе первый год, но очень быстро сошелся со своим маленьким барином, и между ними завязалась странная, но искренняя дружба.

— Вот я вам расскажу, как я у Лухковских господ жил,— начинал Игнат.— Была у них лошадь...

— Ты у них до нас жил?

— Нет. До вас жил я тут у одного купца... Конечно, нужда... Без нужды дня бы у него не прожил!.. Тоже в суд!.. А за что меня в суд? разве я чужое брал?

— А разве тебя купец хотел судить?

— Чего уж там хотел! прямо, значит, подал жалобу. Будто я у него лошадь и телегу увел. Жалованья не платил целый год, а отпустить тоже не отпускает. Живи! Мы с бабой и так, и этак. Пользуется, значит, что пачпорта не было. Что ты тут делать будешь? Взяли мы с Матреной, с бабой моей, ночью лошадь в телегу запрягли, да и... домой. Не пешком же нам было идти, да еще с ребенком малым, до дому-то верст 60 будет. Хватился купец, а наш и след простыл. Лошадь я бы ему вернул, неужто взял бы. А он, вишь, рассвирепел, что даровой работник ушел, да в суд, да жалобу: так, мол, и так, обокрали.

— И судили тебя?

— Говорят — судили.

— Ну, как же?

— А вот и так же! — неопределенно отвечал Игнат, и густые брови его озабоченно хмурились, и все лицо надолго принимало угрюмое, почти страдальческое выражение.

— А ты бы сказал, что не виноват,— советовал Гриша серьезно.

— Да разве меня спрашивали? Да и где она, соколик, правда-то? Судили, судили, да вором меня и сделали. Вот как!

— Как сделали? — жадно допытывался мальчик.

— А вот так! — хмурясь и горько усмехаясь, отвечал Игнат.

Иногда разговор принимал другое направление.

— Разве Матрена твоя жена? — спрашивал Гриша.

— А то чья же? — добродушно отзывался Игнат.

— Чего же она не с тобой, а все в землянке хлебы печет?

Игнат улыбался.

— А чего ей тут со мной? Сказки мне, что ли, сказывать?

— Зачем сказки? — горячо возражал мальчик.— Мама сказки папе не рассказывает, так живет... А Полька, значит, твоя дочь?

— Значит, дочь.

— А еще у вас дети были?

— Нет, только и всего.

— Отчего у вас больше не было?

Игнат смеялся и крутил головой.

— Ну, уж и ребенок! — говорил он.

— Чего смеешься? — слегка обижаясь и объясняя свою мысль, продолжал Гриша.— Вот у папы с мамой трое детей... Игнат! — ласково просил он тут же, заглядывая в глаза своего приятеля,— когда уедем в город, ты уж побереги моего Королька.

— Уберегу! уберегу! — обещал Игнат.— Да только, милый, как бы мне раньше вашего не уехать.

— А куда? — удивленно спрашивал мальчик.

— А вот... туда! — с своей обычной загадочной манерой отвечал Игнат.

Нередко задушевную беседу друзей прерывала старуха няня.

— Гришенька! здесь, что ли? — спрашивала она, заглядывая в сарай.— И что это, право,— ворчливо продолжала она,— господское дите, а в конюшне живмя живет. Вот, пожалуюсь маме! Скажите на милость: приятеля себе нашел. Иди сейчас, иди! А ты, непутевый,— обращалась она к Игнату,— чем тебе ребенка образумить, ты его пуще заманиваешь.

— Да я что же, Анна Герасимовна? я ничего,— сконфуженно оправдывался Игнат.— Если бы я его дурному учил...

— Еще бы тебя в учителя! — презрительно замечала няня.— Иди, баловник, иди!

Гриша повиновался; но, чтобы подчеркнуть свое неудовольствие, шел не рядом с няней, а сзади ее, и преувеличенно надувал губы.

— Зачем Игната обижаешь? — наконец, лаконически спрашивал он.— Что он тебе сделал?

— А разве он тебе компания? — горячо возражала няня.— Тоже кучер! Одно слово, что кучер. Разве у нас раньше такие-то кучера были? Просто мужик косолапый.

Идет, голову повесит, морда вся в волосах, так что и глаз не видно.

— Врешь! видно! — сердито вскрикивал мальчик.

— Ну, спасибо, голубчик, спасибо, батюшка, что свою старую няньку на мужика променял! Мужик косолапый милее няньки сделался! — обиженным тоном говорила няня.— Спасибо, вот уж спасибо, родной!

— Да разве я сказал? Ну! — со слезами в голосе защищался Гриша.

Эти частые ссоры, всегда быстро оканчивавшиеся полным примирением, не проходили, однако, бесследно; запрещенная привязанность приобрела цену и силу всего запрещенного. Более чем когда-либо тянуло Гришу к Игнату, но, боясь огорчить няню и вызвать ее законную ревность, мальчик хитрил, закупал старуху лаской, нервничал и весь разгорался от радости и волнения, когда ему удавалось обмануть бдительность няни и скрыться в спасительной темноте каретного сарая. Тогда он опять говорил, спрашивал, лазил, а Игнат следил за ним, и странная нежность сквозила в его угрюмых печальных глазах под беспорядочно нависшими бровями.

— Идет! Анна Герасимовна идет! — шептал он иногда, лукаво улыбаясь. Гриша пугался, потом оба смеялись.

Отца и мать Гриша видел большей частью только за столом. Отец всегда был занят, мать целыми днями сидела у себя в спальне и считалась нездоровой. Когда у нее не болела голова, то болело что-нибудь другое, что не позволяло ей переносить шумного общества детей и даже яркого света дня. Когда Грише приходила в голову мысль забежать к ней, она ласкала его, порывисто целовала несчетное число раз и сейчас же просила уйти и не беспокоить ее.

Иногда Гриша сопротивлялся.

— Мама,— говорил он.— Я буду сидеть тихо, очень тихо.

Он садился в кресло и складывал руки на коленях.

— Ты здоров? — с беспокойством спрашивала мать.

— Да,— рассеянно отвечал он, занятый какой-нибудь посторонней мыслью, и сейчас же переходил на интересующий его вопрос. Говорил он шепотом, чтобы не нарушать общего настроения тишины и спокойствия.

— Мама,— шептал он,— отчего, когда жарко, непременно вспотеешь?

— А тебе жарко? — спрашивала мать.

— Жарко... А ты думаешь я в двух рубашках?

— Разве в одной?

— Конечно, в одной! Вот! — звонко вскрикивал Гриша и, расстегнув ворот ситцевой косоворотки, показывал свою голую грудь. Мать болезненно морщилась.

— Зачем ты кричишь? — упрекала она.

— Ах, я забыл! — виновато говорил мальчик и умолкал.— Мама! — шептал он опять минуту спустя,— скажи: зачем хвост?

— Какой хвост?

— А у лошадей, у собак?

— Как, зачем? Так просто хвост. Так уж устроено.

— Ан не просто! а мух махать? Чем бы им мух-то махать?

Болтовня мальчика начинала раздражать нервную женщину, но она еще терпела молча, в полной уверенности, что Грише самому надоест полумрак и он уйдет. Но Гриша скользил по спинке кресла, укладывался спиной на сиденье и задирал ноги, закладывая их одну на другую.

— Мама! — говорил он опять,— а ты знаешь, где заводятся блохи?

Мать брезгливо морщилась и закрывала глаза.

— Ну уж, Гриша! Что это за разговор!

— В гужах. Если заведутся блохи, надо гужи выбросить и уж новые...

— Вот что значит, что ты все по конюшням! С осени найму тебе гувернантку. Мне стыдно за тебя!

— Отчего стыдно? — удивленно спрашивал мальчик.

— Ну, хорошо. Ну, иди. Иди к няне и сестрам. Все ты или один, или с мужиками.

Гриша глубоко вздыхал, нехотя поднимался с кресла и опять вздыхал: ему еще не хотелось уходить из прохладной комнаты, от своей грустной, больной, но все же нежно любимой мамы.

— Поцелуй меня! — тихо говорила мать.

Он целовал, шалил, терся лицом об ее лицо, а она нащупывала под рубашкой его острые плечики и впадала в жалобный тон.

— Худой ты у меня! бледненький! Гриша, отчего ты такой?

— Шалю! — отвечал по привычке мальчик, но сострадательная нежность матери действовала на его нервы и жалобила его.

— Ты у меня плохонький! И тебе не легко! И у тебя часто не весело на душонке, мой мальчик!

И случалось, что, тронутый ее жалостью и непонятными еще для него словами, Гриша вдруг начинал рыдать на ее плече.

— Что ты? о чем ты? — испуганно допрашивала его мать и трогала его голову, чтобы узнать, нет ли жару.

Но Гриша сейчас же успокаивался и уходил. И не успевал он дойти до двери, как уже забывал о своих беспричинных слезах, занятый какой-нибудь новой интересной мыслью. Что-то еще вздрагивало и всхлипывало в груди, а он уже радостно нащупывал в кармане забытую веревку и соображал, какое бы сделать из нее наилучшее употребление.

А между тем первое серьезное горе уже висело над его головой.

В одно утро отец, не отрываясь от газеты, сказал маме через стол:

— Да... ты знаешь? За Игнатом приехали!

— Приехали уже? — испуганно переспросила мама и, словно обдумывая что-то, опустила на стол недопитую чашку.

— Неужели ничего нельзя было сделать? ведь у них дети,— тихо сказала она.

— Что ж прикажешь? — пожал плечами отец. — Не связываться же с этим мерзавцем... ну, как его там? с купцом этим... Я его немного знаю: кулак и мошенник.

— Ну, вот видишь, тем более! — сказала мама.

— Чего же, тем более? Увел лошадь, да еще замок сломан, ну, значит, воровство со взломом... Дело ясно.

— Но что же им было делать? — спросила мама.— Ведь этот человек воспользовался какой-то задержкой с паспортом, не платил жалованья, вымогал даровую работу... Ведь Игнат просто убежал из рабства...

— А уводить лошадь все-таки не следовало! Ну, будет, что теперь толковать! — с досадой ответил отец и опять углубился в газету.

Гриша жадно слушал и ничего не понимал.

— Мама, куда везут Игната? — спросил он, широко раскрывая глаза. Мать рассеянно поглядела на него, но вдруг вспомнила о дружбе мальчика с кучером, чуть-чуть нахмурилась и отвела глаза.

— Кто приехал за Игнатом, мама? — продолжал допытываться Гриша.

— Отчего не сказать ему? — недовольным тоном заговорил отец.— Что это за вечная боязнь огорчить, повлиять

на нервы? И выйдет какая-то мокрая курица, тряпка, а не человек...

— Боже мой, да говори сам! Разве я мешаю? — со слезами на глазах вскрикнула мама, подняла руки к вискам и вышла из-за стола.

— Вечные сцены! вечные сцены! — закричал ей вслед отец.— Твоего Игната везут в острог за кражу со взломом. Понимаешь? — сказал он жестко. Гриша побледнел.— Игната за кражу, а его жену Матрену за пособничество. Его на три года, а ее на полтора.

— А Польку? — спросил Гриша.

— А Польку... Ну, что ж Польку? Конечно, ее не в острог... Я уж не знаю, куда ее... Польку.

Гриша в упор глядел на отца, и глаза его делались блестящими и злыми. Он бледнел все сильней, но он боялся отца и сдерживался, насколько мог.

— Это за что же? — вызывающим тоном спросил он.

— Он украл, тебе говорят. Или все равно, что украл.

— Совсем не все равно!.. И сам же ты сказал, что купец мошенник.

— Ну, сказал.

— Так что же это? как же это? разве это можно?

Отец вдруг рассердился.

— Пожалуйста, пожалуйста, без историй! разбаловали так, что сил нет никаких.

Сдерживаясь, насколько мог, Гриша встал и вышел из комнаты. Но только он очутился за дверью, как гнев и обида на кого-то словно стиснули ему горло. Он побежал по коридору и выскочил на балкон. Его первой мыслью было повидать Игната, но ворота конюшни были заперты, и это означало, что Игната там нет. Гриша побежал в девичью. Там у стола сидела няня и пила чай, а напротив нее сидел какой-то незнакомый Грише мужчина в военной форме. Военный, манерно отставляя локоть, доставал из банки варенье и ел, запивая его чаем. Гриша сейчас же узнал нянину банку и понял, что няня угощает военного, но он был так занят неожиданной вестью об отъезде Игната, что не обратил внимания на присутствие няниного гостя.

— Няня, кто приехал за Игнатом? — дрожащим голосом спросил он.

Няня ответила не сразу.

— Да, отвезут теперь твоего голубчика; не будешь больше от няньки бегать.

— Кто приехал, няня?

— Теперь уж не отвертится... Кто приехал? да вот кто приехал.

Гриша понял не сразу. Тот, кто должен был везти Игната и Матрену в тюрьму, представлялся ему огромным, страшным и отвратительным на вид, а на него глядело загорелое, добродушное лицо военного и улыбалось не то смущенной, не то просто глупой улыбкой. Кроме него и няни, никого больше в комнате не было. Наконец, Гриша понял.

— Ты? — удивленно и недоверчиво спросил он, глядя в упор на военного.

— Я-с! — осклабляясь в широкую улыбку, ответил тот, видимо колеблясь, встать ли ему перед барчонком или продолжать сидеть.

— Ты? — еще раз повторил Гриша, и голос его как-то странно сорвался и зазвенел.

— Гришенька! да ты что? ты в уме ли? — крикнула няня.

Но мальчик уже не владел собой: в глазах у него помутилось, в голове странно зашумело.

— Ты... ты негодный!.. я тебя... я тебя расколочу! — взвизгнул он и бросился вперед. Но вдруг лицо его передернулось, углы рта задрожали, и он заплакал громко и жалобно, как плачут беспомощные, огорченные дети. Урядник смущенно смеялся и оглядывался по сторонам, разводя руками...

Гриша убежал в детскую, забился в угол около своей кровати и прижался к стене, держась обеими руками за грудь. Бессильное негодование все еще клокотало в нем и искало себе исхода. Он увидал на полу сестрину куклу, стал топтать ее ногами и, наконец, отшвырнул ее в другой конец комнаты. На стене висела его собственная картинка; он сорвал ее и бросил на пол. От такой усиленной деятельности нервная напряженность его несколько ослабла: он сел, прислонился лбом к железу кроватки, затих и стал мечтать... Он мечтал о силе...

Ему нужна была сила, чтобы мстить, чтобы покорять всех этих жестоких и виноватых людей: судей, которые осудили Игната, урядника, который должен был увезти его; няню за то, что она угощала урядника вареньем, и даже отца.. На отца Гриша негодовал за его видимое равнодушие к судьбе Игната. Он должен был заступиться, должен был прогнать урядника, а он оставался спокойным, читал свои газеты и даже сказал, что Игнат «все равно, что вор».

Гриша придумывал наказания и наслаждался.

«Ладно! — говорил он себе, думая о няне.— Эту я проберу: не буду с ней говорить и прощаться и обрежу себе палец. Пойдет кровь... ручьем... а я не дамся завязать. Пусть тогда кормит своим вареньем кого угодно!»

Гриша мечтал о мести и ковырял ногтем отставшую краску на железе. Вдруг он насторожился: ему послышался громкий говор отца и в ответ ему робкий голос Игната. Мигом он вскочил и выбежал в девичью. Среди комнаты, низко опустив голову, стояли Игнат и Матрена и переминались с ноги на ногу. Около Матрены, уткнувшись носом в сборки ее платья, стояла Полька, а мать глядела на нее сверху и на лице ее было больше тупого недоумения, чем страха и горя. Сзади них, из-за дверей, выглядывали любопытные лица дворни.

— Ну, ладно,— громко говорил Гришин отец,— теперь уж поздно и ничего не поделаешь. Насчет Польки не беспокойтесь. Худо ей не будет, а в животе и смерти один бог волен. Обещаемся ее беречь. С богом, Игнат! Что ж делать?!

Отец махнул рукой, как бы давая понять, что прощание кончено, но никто не трогался с места. Игнат молчал и тупо глядел себе в ноги.

— Да, мы обещаемся,— дрожащим голосом прибавила мама, протянув руку к Польке, но сейчас же опустила ее и отвернулась.

— Дела теперь уже не поправишь! — опять заговорил отец, видимо начинавший тяготиться немой сценой отчаяния этих людей.— Уж надо как-нибудь... Срок не так велик.

Матрена тихо отстранила Польку, сделала шаг вперед и молча повалилась барыне в ноги, касаясь лбом пола.

— Матрена! — вскрикнула та, и слезы сразу брызнули у нее из глаз.— Не кланяйся мне, Матрена! Поверь ты мне: я уберегу твою девочку. Я тебе клянусь... Не кланяйся в ноги!

Она наклонилась, дотронулась дрожащей рукой до плеча Матрены и сама опустилась на пол рядом с ней.

— Надо терпеть... всем надо терпеть! — торопливо шептала она.— Всем надо...

— Ну, довольно, довольно! — не скрывая своего нетерпения, заговорил отец.— Я очень огорчен. Я был доволен тобой, Игнат. Отбудешь срок, приходи опять. Возьму. И не беспокойся за дочь. С богом теперь!

Он взял за руку жену и хотел увести ее с собой, но та освободила руку и еще раз крепко обняла Матрену.

— Надо терпеть! — шепнула она еще раз.

Матрена встала. Она обвела комнату недоумевающим взглядом и остановилась на Грише. Один миг женщина и мальчик глядели друг другу в глаза, потом Гриша робко опустил ресницы и двинулся вперед.

— Прощай! — сказал он очень тихо и очень ласково. Но Матрена продолжала глядеть на него молча, все еще недоумевая над чем-то. Тогда Гриша направился к Игнату. Он протянул руку. Игнат взял ее и вдруг наклонился к самому лицу ребенка.

— Польку... будешь жалеть? — спросил он.

— Буду! — серьезно и торжественно ответил Гриша и смелым блестящим взором взглянул в печальные глаза своего друга. Игнат провел рукой по голове мальчика, истово перекрестился на образ и направился к двери.

— Матрена! — позвал кто-то из дворни. — Матрена! Игнат-то вышел. Ждут тебя, поди! Телега у крыльца.

Молодая женщина встрепенулась, тупое выражение недоумения сменилось испугом. Рядом с ней, по-прежнему уткнувшись лицом в складки платья, стояла Полька и дрожала всем телом.

— Ну, иди... иди к няньке,— сказал отец, останавливаясь перед Гришей, который опять сидел в детской за кроватью и мрачно смотрел перед собой.

Мальчик молчал и не трогался с места.

— Гриша! — строго крикнул отец,— тебе я говорю или нет?

Ребенок поднял голову и остановил на нем серьезный, неприязненный и пристальный взгляд.

Послушай,— невольно смягчаясь, заговорил отец,— ты, кажется, сердишься на меня? Я-то тут при чем? Разве я виноват? Это мне следовало бы хорошенько отчитать тебя: как ты смел скандалить и кричать на урядника? Да говори же! — нетерпеливо крикнул он, чувствуя, что упорный взгляд сына раздражает и как будто стесняет его.

— Пусть...— тихо и спокойно сказал Гриша.

— Что пусть?

— Пусть ты меня бранишь. Мне теперь все равно.

Отец немного растерялся.

— Ну, прекрасно,— сказал он. А я с тобой теперь и говорить не хочу.

Он повернулся и направился к двери.

— По-твоему,— крикнул ему вслед Гриша,— по-твоему, его вареньем кормить, как няня?

Отец остановился.

— Всякий делает свое дело,— заметил он,— исполняет свой долг. Уряднику приказано было ехать за Игнатом, он поехал. Весьма вероятно, что он хороший, добрый человек, а ты обидел его. И ты обидел меня, няньку... За что?

Гриша медленно опустил глаза, и на лице его ясно выразились недоумение и боль.

— Нехорошо, брат! — укоризненно заключил отец и вышел из комнаты.

Гриша сидел неподвижно.

«Обидел...» — думал он. Он вспомнил, как он мечтал о силе, мечтал о том, как он отмстит отцу, уряднику, няне за то, что они не заступились за Игната, не пожалели его так, как пожалел он.

«Нехорошо, брат!» — вспомнился ему укоризненный, почти ласковый голос отца.— Нехорошо?.. Обидел...— мучительно раздумывал мальчик.— Я обидел... А они все... Игната... за что?»

Гриша опустил голову еще ниже, и глубокие морщины прорезались на его детском лбу.

«Всякий делает свое дело... И те, кто послал урядника, тоже делали свое дело? И они тоже добрые, хорошие люди? А как же вышло такое нехорошее, злое дело?..»

Он поднял глаза, и в его остановившемся взгляде застыл мучительный вопрос.

В ВЕСЕННЕЙ ДЫМКЕ

Теплым солнечным днем ранней весны ходили они вместе по усадьбе. Он — уже старенький, зябкий, в теплом плюшевом картузе, в беличьем полушубке; она — молодая, в одном платье, в легким шарфом, накинутым на белокурую голову.

— Смотри. Знаешь ты, что это растет? — спрашивал он и тыкал концом своей палки.

Она присматривалась, нагибалась и ничего не узнавала. Из земли на каждом шагу высовывались и лезли всякие диковинки, в которых трудно было угадать то знакомое и обычное, чем они станут летом. Высовывались и лезли то былиночки, то трубочки и набалдашнички, зеленые, белые, красные, наивные, слабые и нежные.

Старик смеялся и называл растения.

— То-то, брат! Ничего-то ты не знаешь! Городская ты штучка!

— Трудно, дедушка, узнать,— оправдывалась Зоя,— вот хотя бы у пионов и стебли, и листья зеленые, а тут выбивается что-то красное.

— Красное, красное! — хохотал старик.— Так вот и вы, молодежь, порой, посмотришь, такой красный растет.

Канава около сада была еще полна снегу; и снег был плотный, твердый, белый. Дедушка мимоходом сунул в него палку.

— Можно в снежки поиграть на зеленой травке,— сказал он.— Замечаешь, как сомкнулись вместе три времени года? И никогда прошлое с будущим так близко не сходятся, так тесно не сплетаются, как ранней весной. Все — только воспоминания и ожидания. Сухие бурые листья в прошлогодней траве, желтое жнивье. Кажется, что будто еще вчера здесь махали косы, ложились в крестцы снопы, скрипели нагруженные телеги. А взгляни на деревья. Голы, как зимой, а цвет уже не тот: и в стволах, и в ветвях серая или зеленоватая окраска; почек не видно, а есть какая-то пышность, гибкость. И стоят они уже не в осенней прозрачности, а в какой-то дымке...

— А что это за красные кусты? — спросила Зоя.

— Калина-то? Что, не думается тебе, что если сломить веточку, из нее брызнет кровь? Это — калина... Ну, пройдешь, что ли со мной смотреть, как сажают яблоньки? — весело спросил старик.

Зоя пошла.

Яблоньки сажал садовник и поденные бабы. Готовые с осени ямки чернели среди молодой яркой травы, точно маленькие могилки. В эти могилки ставили тоненькие хворостинки, и бабы в ярко-красных юбках, перегнувшись вдвое, забрасывали ямку землей.

— Славно, славно! — почему-то сказал дедушка и бодро пошел вдоль по ряду только что посаженных хворостинок.

Зоя остановилась. Здесь, на солнышке, было очень тепло, почти жарко; странно было представить себе, что та белая полоса, которая лежала вдоль сада, была не что иное, как снег. Низко над травой порхала ярко-желтая бабочка, в саду кричали грачи и где-то дальше, в поле, мычала корова. Зоя оглядывалась, слушала и думала: «Что мне со всем этим делать, если у меня нет счастья? Зачем я приехала? Куда я дену себя?»

Она села на пень и опустила голову.

Солнце припекло ей плечи и затылок; живое тепло пробегало по всему ее телу. «Никогда, никогда я не буду больше счастлива,— думала она.— Никогда, никогда...»

Вечером все небо заволоклось облаками, деревья зашумели. Стало темно и холодно. Дедушка велел затопить камин,

и старый Егор, дедушкин камердинер, растапливал его соломой, стоя на коленях, и долго кряхтел и шептал. В комнате запахло соломой и дымом. Зоя слышала, как за окном деловито и озабоченно тараторили галки. Пришла Ефимовна, экономка, и долго говорила с дедушкой насчет каких-то телят и поросят.

— Не один будете, слава богу,— угодливым голосом говорила она.— Одним-то вам и праздник не в праздник, ей-богу! Теперь есть о ком позаботиться, ей-богу!

Она все смеялась и оглядывалась на Зою, и в этих взглядах была хитрость и ненасытное бабье любопытство. Зоя понимала, что своими разговорами о телках и поросятах, о приближающемся празднике она всеми способами спрашивала ее: «Зачем она приехала? Почему? Надолго ли?» Но это не сердило ее, а забавляло.

Наконец, и Егор, и Ефимовна ушли. Дрова в камине ярко горели и трещали; перед огнем в кресле сидел дедушка и молчал, а за окном все еще тараторили галки. Зое казалось, что дедушка молчит многозначительно и строго. Это молчание будто тоже спрашивало: «Почему ты приехала? Зачем?» Но сейчас же добавляло: «А если ты хочешь об этом молчать, будем молчать».

Соловьи еще не поют, дедушка? — спросила она.

/ Не слыхать еще, нет,— неожиданно весело ответил старик.— Рано еще, не время. А лягушки уже кричат. Как же...

— Дедушка, а тебе одному не скучно? — опять спросила Зоя.

— Нет. Совсем не скучно. Приедет кто-нибудь, свой, любимый, я рад. Я очень рад. А одному тоже не скучно. Никогда.

— Ты много читаешь, дедушка?

— И читаю. Да. И дела... Так, немудреные, житейские делишки. Нет, ничего... Не скучно. Что прочтешь, что увидишь или услышишь — все обдумать хочется. Ну, по силам. Какие там думы? Другому-то такие думы просто бы убожеством, нищетой умственной показались. Мне хватает. По силам. Верно ли, неверно; широко ли, узко. Для себя, для своей души, свой мир.

— Свой мир? — переспросила Зоя.— Неужели ты обманываешь себя на старости лет? Неужели ты еще хочешь верить в то, чего не было и не будет?

Старик молчал, видимо не понимая.

— Может быть, я обманываю себя,— наконец просто сказал он,— если весь итог моей жизни — обман.

— Если у тебя осталась вера в людей! — неожиданно резко сказала Зоя.

Она отошла от окна ближе к камину и легла на диване. Старик не ответил.

— Дедушка,— позвала она.— Вот ты прожил много-много лет. Назови мне людей, к которым ты никогда не терял уважения, которых ты любил только за то, что они достойны были любви. Если хочешь, то не называй, а скажи число. Или скажи, много или мало. Но скажи искренно.

— Но пусть будет мало, очень мало, ни одного имени даже,— спокойно сказал старик,— разве это разрушит мою веру в людей? Пусть ни одного имени. Это ничего. Вера все-таки есть, и это вернее и надежнее имен. А для пустой души самая богатая именами жизнь останется пустой. Без веры в людей не может быть людей.

Зоя приподнялась в темноте и развела руками.

— Дедушка, ну что же мне делать? Я больше не могу верить!.. Да, для меня жизнь останется пустой. Мне уже 18 лет, дедушка, а единственный человек, которому я беспредельно верила, обманул меня. О, дедушка, как это ужасно!

Не оборачиваясь, он знал, что она закрыла лицо руками, что она сидит теперь согнувшись, опираясь локтями о колени. Галки перестали болтать, и в доме и на дворе было очень тихо.

— А сколько ему лет, этому обманщику? — строго спросил старик.

Она вздохнула и выпрямилась.

— 23.

— Учится еще?

— Он кончает.

— Наверно, вообще негодяй?

— О, нет, дедушка! — горячо воскликнула Зоя.— Почему это тебе пришло в голову? Меня поэтому так оскорбил его поступок, что я была уверена, что он — лучший из людей. Но теперь... но теперь...

В ее голосе дрожали негодование и слезы.

— Мне он не дорог, дедушка, и никогда не был дорог... Понимаешь, он оскорбил меня. Нет, не меня, а во мне... Он оскорбил во мне самое лучшее, самое чистое... Он сделал мне так больно... в душе... Так больно!..

Старик внимательно слушал, и лицо его стало озабоченным и серьезным.

— Да разве тебе уже 18 лет? — спросил он.

— Да. Я тебе расскажу, дедушка, как все было. Ты хочешь?

— Расскажи. Хочу. Расскажи.

Она опять вздохнула.

Она горячо, но несвязно рассказала самую обыкновенную, вечно повторяющуюся историю молодой, еще неосознанной любви. Она хотела объяснить дедушке, что она оскорблена, разочарована, несчастна, а он понял, что она счастлива, что любовь ее взаимна, что та размолвка, которая заставила ее приехать к нему, те слезы, которые она едва сдерживала, только увеличивали ее счастье, приближали весну любви, сгоняли последний снег и холод.

— Дедушка, ты понимаешь? Дедушка, ведь это ужасно! Значит, у него не было никакого уважения ко мне? Я знаю, что он сделал это только для того, чтобы задеть меня. И все это заметили. И папа еще смеялся.

— Отец смеялся? — живо спросил старик.

— Да, он вообще над нами всегда смеется. Он очень любит Алексея, по-моему, даже слишком его хвалит. Он и теперь меня винит, что я будто слишком строга. А когда я уезжала, он опять смеялся и говорил: «Возвращайся христосоваться. Алексей давно на этот случай рассчитывает». Я! с ним христосоваться? Да ни за что!

Дед сидел прямо и молчал.

— Дедушка, отчего ты молчишь? — спросила Зоя.

— А вот выслушал и обдумываю,— задумчиво ответил старик.— Ведь это, пожалуй, серьезно, внучка? Обдумываю.

— Я боюсь, что я про него слишком много дурного сказала,— робко заметила Зоя.— Я бываю зла и несправедлива. Он хороший, дедушка.

— Обдумать надо, обдумать,— твердил дед.

— Ужин подан,— сказал Егор, просовывая в дверь голову.

— А ландышей, дедушка, еще нет? — глубоким, вздрагивающим голосом спросила Зоя и неожиданно засмеялась.— Я никогда сама не рвала ландышей, никогда!..

— Вон он, подлец! — говорил дедушка и указывал палкой на едва заметную точку, неподвижную в голубом небе.— Вон он, разбойник! Ишь, разделывает, негодяй!

Зоя не видела. Она становилась то рядом с дедом, то сзади него, чтобы верно определить направление, указываемое палкой, но жаворонок оставался для нее невидимкой. Он звенел сверху, то ближе, то дальше, и тот же, но более отдаленный звон звучал по всему полю, над изумрудными еще редкими зеленями.

Они шли по обсохшей дороге, уже настолько сухой, что весь верхний слой земли был в трещинах, и Зоя следила, как в эти трещины поминутно скрывались пауки, озабоченно снующие под ее ногами.

— А почты еще сегодня не было? — спросила она.

— Теперь, может быть, уже привезли,— хитро улыбаясь, сказал старик.— Хочу еще пройти, посмотреть... У меня там пашут. Пойдем, что ли?

Он был уверен, что она откажется и побежит домой спрашивать про почту; но она только секунду колебалась и согласилась. Дедушка пошел межой, и Зое пришлось идти сзади.

— Да, весна, весна,— говорил дедушка, тыкая палкой в комья земли на пашне.— Жавороночки да бабочки. И, думается, чего мне, старику, радоваться весне? А веришь ли, радуюсь, любуюсь. Вот букашец какой-то ползет, чувством своим говорю ему: «Ползи, брат, за своим делом! Пользуйся жизнью, люби ее, твое это святое право».

Он вдруг остановился, перевел дух, но сейчас же еще бодрее пошел дальше.

Дедушка! нерешительно окликнула Зоя. А как ты думаешь?.. Я прежде тоже думала, что весна и любовь это так поэтично и прекрасно. И так чисто-чисто! Я думала, что это — самое прекрасное и возвышенное...

И ты этого уже больше не думаешь? — спросил дед.

Вот, я не знаю. Я хочу сказать, дедушка, что я чувствую, что если это не так, то это ужасно. Если это обман, то лучше умереть. Правда?

— Ну, вот уж и умереть! — дед тихо засмеялся.— Дело-то очень просто, так просто, что обман совсем невозможен. Знаешь, какое это дело — любовь-то?

Зоя молчала.

— А такое оно дело, что каков человек, такова и его любовь. У всякого своя, у всякого особая. Каждый ее сам для себя творит. Как же она обмануть может? Вот сделать ее счастливой, радостной или даже долговечной, это уж зависит не от себя. Это не от себя.

— Дедушка, но ведь лучше совсем не любить, никого не любить?

— Как? — живо спросил дед и обернулся.— Ты думаешь, что, нарушая закон природы, ты сделаешь себя выше и красивее? Ты думаешь, что земля недостойна тебя?

Он увидел испуг и недоумение в ее глазах и засмеялся.

— Нет, ты этого не думала,— ласково продолжал он.— Нет, это не то, не то! Нет, я знаю, что это не то...

Он вдруг стал ощупывать свои карманы и притворно огорчился.

— Так и есть! Папиросы забыл, а покурить бы недурно. Зоенька, ножки у тебя молодые и от дома здесь недалеко...

— Я сейчас принесу, дедушка,— радостно крикнула Зоя и бегом помчалась домой.

Старик глядел ей вслед вдумчивыми, серьезными глазами и закуривал папиросу. Он был уверен, что она не обернется.

На дворе так и звенел голос Ефимовны.

— Запустила, говорит, наседку, посадила ее на яйца, а она, мать моя, только все яйца поклевала. Вот, говорит, тебе и ранние цыплята! Не удалась, значит, у нее наседка. А я ей говорю: я, говорю, еще и рассаживаться курам не позволяю. Потому, говорю, что теперь яйцо не настоящее. Жировое теперь яйцо.

Зоя стояла на крыльце и читала письмо. Лицо ее разгорелось, и глаза глубоко и спокойно сияли. Рядом с ней, на перилах, Егор чистил суконкой серебро и кряхтел и шептал.

— Ах, барышня, наша красавица, а я вас и не вижу, ей-богу,— закричала Ефимовна, и ее голос сразу стал угодливым.— Уж какая дедушке радость, ей-богу, что приехала к нему на праздник его внучка! А прежде вам, барышня, заварная пасха нравилась. Теперь-то какую сделать: заварную или сырую? Я знаю, вы пасху любите.

Зоя рассеянно обернулась к ней и вдруг засмеялась и прижала письмо к груди.

— Люблю! — звонко ответила она.

— Бывало, я вам еще тянушки из сливок с ванилью варила. Тоже вы любили,— подходя к крыльцу, говорила Ефимовна.

— Люблю! — тихо повторила Зоя.

— Дедушка-то теперь уж к заутрени не ездит,— продолжала Ефимовна,— а хоть и дома, а все праздник соблюдают: выйдут наружу и к звону прислушиваются. В этом году хорошо поздняя пасха. У нас из двух церквей звон слышен.

— Егор, дай мне папирос! — вспомнив дедушкино поручение, испуганно выкрикнула Зоя. Егор выронил из рук вилку.

— Дедушка ждет в поле. Скорей, голубчик!

— Господи Иисусе! Полную папиросницу им наложил и сам в карман сунул. Потерял разве? — недоумевал старик.— Платок, папиросницу, спички...

Зоя встретила деда уже за садом, у канавы.

— Смотри! — кричал он ей и тыкал палкой в канаву.— Снегу-то вчера было по края, а теперь? Смотри!

Снег лежал только на дне, сверху он был темный, грязный, снизу образовалась ложбинка, точно маленький свод, и с этого свода капала вода.

— Шалишь, с весной не поспоришь! — точно дразнил дед и радовался.

— Да, нашел я папиросы, нашел! — пристально глядя на Зою, сказал он.— А ты не догадалась почту спросить?

— Только мне письмо, дедушка. А тебе нет ничего,— сильно краснея, сказала Зоя.

Они уже подходили к балкону, когда Зоя вдруг остановилась.

— Дедушка, присядем здесь.

Он сел на садовую скамейку молча, с взволнованным, почти испуганным лицом, и его рука на ручке палки заметно дрожала. Зоя прислонилась лицом к его плечу.

— Я тебя обманула вчера,— прошептала она.

Он кивнул головой.

— Я сказала тебе, что он мне не дорог...

— Так, так... Алексей?

— Дедушка, это неправда!

— Так, так...

— Дедушка, что мне делать? Он пишет, что... что... он меня очень любит...

Зоя заплакала. Дед сидел неподвижно и молчал.

— Он хочет, чтобы я... была его женой... Дедушка, отчего ты молчишь? Ты сердишься? — с отчаянием спросила, помолчав, Зоя.

— Нет, девочка, я думаю.

— О чем? Скажи.

— Думаю о своей радости.

— О радости, дедушка? Какой?

— О той, которая одна мне осталась и которая так велика и бесконечна: радость за все прекрасное на земле... Радость за чувства такие же душистые и свежие, как ландыши. Радость за тебя, потому что мне кажется, что ты, как жаворонок, комочком, летишь в небо...

— Дедушка, но мне надо теперь уехать от тебя,—

прошептала Зоя.— Ведь он ждет, он зовет. Ты понимаешь?

— Но непременно, дружок! — вдруг встрепенулся старик.— Как же иначе? Завтра? Сегодня? Когда?

ТАЙНА ПЕЧАЛИ

От света висячей лампы зелень казалась темной и печальной. На большом обеденном столе ее высилась целая груда. Здесь же лежали цветы, еще совсем свежие, только что срезанные в оранжерее, но и они были тусклы и бесцветны.

— Я думаю,— сказала Евгения по-французски,— что лучше всего сделать много, много маленьких веночков и один большой.

— О, да! — охотно согласилась француженка, mademoiselle Julie,— я убеждена, что это будет очень красиво.

— Большой венок мы повесим на крест, а маленькими покроем всю могилу.

— Это будет восхитительно!

Обе женщины стояли по сторонам стола и глядели на растения, обдумывая, как и с чего начать.

— Voyons,— сказала француженка,— разберем сперва, что у нас есть.

Она стала выбирать из общей кучи темно-зеленые ветки мирты и откладывать их в сторону. Евгения задумчиво следила за ее рукой с короткими, словно обрубленными пальцами; потом она подняла глаза и увидала себя в зеркале. В черном траурном платье ее высокая, тоненькая фигура казалась еще выше и тоньше. Мелкие пряди светлых волос вились кругом лба и окружали ее лицо блестящим ореолом. Еще ни разу не случалось ей встречать цвета лица, подобного своему, и она любила его и гордилась им.

Евгения с трудом оторвалась от своего образа в зеркале и протянула руку к корзине с цветами. Цветов было множество, несмотря на позднее осеннее время, но ни один из них не знал, что значит бороться с холодом длинных, темных ночей и переносить на себе удары тяжелых капель неприветливого осеннего дождя. Они распустились и благоухали под крышей оранжереи, жили и умирали, повинуясь воле человека, без борьбы и, казалось, без сожаления.

Евгения придвинула к себе корзину и, любуясь цветами, но оберегая от уколов свои тонкие, белые пальчики, принялась за дело.

— Tata! — весело позвала француженка,— разве вы не хотите нам помочь?

— Но ее здесь нет! — заметила Евгения.

— Нет, она здесь. Вот она! — сказала mademoiselle Julie и указала в темный угол, где стояло большое старое кресло.

— Что ты там делаешь? — удивленно спросила Евгения, оборачиваясь к сестре и стараясь разглядеть в темноте ее маленькую фигурку.— Иди к нам.

Девочка сидела, прижавшись к мягкой спинке кресла, и глядела в потолок.

— Разве вы не хотите нам помочь? — повторила француженка.— Однако вам не мешало бы сплести маленький душистый веночек на могилу вашей бедной мамы.

Девочка промолчала и только еще теснее прижалась в уголок, так что большое широкое кресло могло казаться совсем пустым.

— Вспомните, какие прелестные пестрые веночки вы плели себе на лугу,— продолжала убеждать ее mademoiselle Julie.— Не поленитесь же вы теперь для вашей нежно любимой мамы?

— Оставьте меня! — нетерпеливо отозвалась девочка.— Оставьте, пожалуйста.

— О! вы опять капризничаете, Tata. Это нехорошо. Завтра ровно шесть недель, как умерла ваша мама. В память этой дорогой, бедной мамы вы бы должны были переломить свой дурной характер и сделаться кроткой, послушной девочкой. Как она прежде любила вас! Un bon mouvement, Tata! Прогоните ваш каприз и присоединитесь к нам.

— Да оставьте же меня! — вскрикнула девочка и в голосе ее послышались слезы.

Ну, и не будем разговаривать с ней! — сказала Евгения и пожала плечами.

Но что с ней? тихо спросила француженка.— Вы слышали, что я не сказала ей ничего резкого? Ваш отец опять будет недоволен, если узнает, что она плакала.

Отец сам виноват. Он слишком балует ее,— сухо ответила Евгения.— Если это будет так продолжаться, я не знаю, что из нее выйдет.

Вошел немец-садовник с новым запасом цветов и зелени.

Как идут дела? — добродушно и весело спросил он, приближаясь к столу.— Я пришел помогать.

О, это совсем лишнее! — быстро сказала француженка и насмешливо усмехнулась,— я и mademoiselle Eugénie справимся вдвоем.

— А такой букет, какой я сделаю, вы сделаете? — с явным вызовом в тоне спросил немец и подмигнул.

— У вас невоспитанная манера подмигивать! — вдруг рассердилась Julie.— Зачем вы всегда мне подмигиваете?

— Как это я подмигиваю? — спросил садовник и вдруг расхохотался.— Разве так плетут? — спросил он и протянул руку, чтобы взять начатый венок из рук гувернантки.

— Monsieur Renn! — воскликнула рассерженная француженка и оттолкнула его руку.— Я знаю, что я делаю, и так, как я делаю, будет хорошо. Если это вам не нравится, тем хуже для вас! У всякого свой вкус.

Немец опять засмеялся и отошел к другому концу стола.

— Сердитая какая! О-о! — заметил он, снова подмигивая в сторону mademoiselle, и его немолодое, широкое, добродушное лицо сложилось в лукавую усмешку.

— Как сохранить цветы, чтобы они не завяли до утра? — спокойно спросила Евгения.

— А поручите это мне и тогда будьте спокойны,— сказал Ренн.— Я сохраню. Я знаю, как обращаться с живыми цветами. Смотрите, как свежи мои цветы. Они, правда, живые... Живые, как птички, которые поют песни.

— Но они очень глупо срезаны,— заметила Julie, обращаясь к Евгении.— У одних очень длинные стебли, у других — почти ничего. Трудно сделать что-нибудь из таких странно срезанных цветов.

Немец громко захохотал.

— Она знает только бумажные цветы! Она думает, что стебель это — проволока, которую можно нарезать вершками или аршинами, как ей хочется. Она это думает! — смеясь и подмигивая, заговорил он.

— Вы не можете знать, что я думаю,— обидчиво начала француженка, но в эту минуту дверь быстро отворилась и в комнату поспешно вошел высокий седой человек со впалою грудью и беспокойным нервным лицом.

Он увидал стол, покрытый зеленью, и внезапно остановился.

— Да... вот что! — тихо сказал он.— Это к завтрашнему... Прекрасно, прекрасно. Не жалейте цветов, Ренн. Отдайте все, все...

— Больше не надо, папа,— спокойно заметила Евгения.

— Отчего больше не надо? — удивленно спросил старик.— Все, которые есть, все надо. А где же Татка? — с беспокойством спросил он, оглядываясь вокруг.— Татки здесь нет! где Татка?

— Я здесь! — тихо откликнулась девочка из угла.

— Она опять капризничает,— сказала Евгения.

— Тата! Татушенька! — с нежностью и бесконечною лаской позвал отец и быстро направился к большому креслу.— Ты что? а? что с тобой?

— Она становится невыносима, твоя Татушенька! — сухо заметила старшая дочь.

— Что с тобой? что? — не слушая ее, с беспокойством продолжал старик. Он нагнулся над девочкой и жадно, внимательно вглядывался в ее лицо. И он видел, что это детское личико с большими светлыми глазами, с маленьким носиком и кругленькими полными щечками делало невероятные усилия, чтобы не расплакаться и улыбнуться отцу. Веки быстро моргали, смахивая слезы, губы кривились и дергались, а в глазах, устремленных прямо на него, выражалось так много тоски и недоумения, что от этого взгляда у отца защемило на сердце.

— Случилось что-нибудь? — шепотом спросил он.— Что случилось?

— Я не хочу... помогать,— еле слышно прошептала девочка.

— Не хочешь? чего ты не хочешь?

— Плести веночек.

Он помолчал, точно обдумывая то, что только что слышал, и еще ближе, еще пристальнее взглянул в глаза ребенку.

— Так не хочешь? — спросил он.

— Не хочу! — прошептала девочка, не спуская с него своего тоскливого, недоумевающего и доверчивого взгляда.

— А вот я тоже не хочу! — вдруг сказал он и сел на кресло рядом с ней.

Она удивленно оглянулась на него, и личико ее чуть-чуть просветлело.

— Отчего? — быстро спросила она.

— А я сам хочу нарвать цветов,— зашептал он, все еще пристально вглядываясь в нее,— чтобы никто меня не видал... Набрать тех, которые она любила... связать их в пучочек... и отнести самому... самому на ее могилку. Да?

Девочка глядела на него вдумчиво и серьезно и вдруг ясно улыбнулась ему в ответ.

— У нас еще есть астры, папа...— неожиданно оживляясь, быстро зашептала она.— В цветнике... астры... Помнишь, она их любила? Отнесем ей астр! Беленьких, лиловеньких. Мы, вдвоем...

— Да, да! Мы с тобой... Отнесем...

Он порывисто обнял девочку, крепко прижал ее к себе и вдруг, точно вспомнив о чем-то неотложном, быстро встал с своего места и, не оглядываясь ни на кого, вышел из комнаты.

Венки были сплетены и вынесены в больших корзинах. Mademoiselle Julie ушла с Татой, чтобы уложить ее в постель, и в большой полутемной зале осталась одна Евгения. Она ходила взад и вперед вдоль темных окон, в которые громко и беспрестанно стучался частый осенний дождь.

В доме было томительно тихо, а на дворе бушевал ветер. Он налетал откуда-то издалека, ударял в стекла и обдавал их целым потоком дождя; он шумел в деревьях сада, срывал с них сухие листья и ветки, и они тоже ударялись о стекла. Рамы дрожали, и незакрытые ставни скрипели и жалобно стонали, удерживаемые большими железными крюками.

— Боже мой! что делается на дворе! — думала Евгения. — Осень... Потом зима — длинная, однообразная, жизнь без малейшего интереса, без развлечения, среди скучных людей, скучной природы. Жизнь, вся сплошь накрытая саваном!

Большая ветка ближайшего тополя хлестнула в окно, точно постучалась в него с отчаянной надеждой найти себе защиту и помощь.

Евгения чуть-чуть вздрогнула и отошла подальше от окон.

— Жизнь с томительной жаждой радости, счастья и с тяжелой необходимостью подчиняться чужому настроению.

Настроение отца ужасно... Он был бы готов похоронить себя в одной могиле с женой: он решил похоронить всю семью в старом деревенском доме. О переезде в город он не хочет и думать. Они будут жить здесь всю зиму, весь год... Они будут ходить на могилу, служить панихиды. Отец будет просиживать целыми днями в своем кабинете, Тата будет капризничать и в конце концов непременно выживет из дома Julie и поссорит Евгению с отцом. Что сделалось с этой девочкой со смерти матери? Ее трудно узнать — ее, всегда такую веселую и кроткую! Оттого ли так изменилась она, что отец не хочет и не может скрыть, до чего он любит ее. Он любил ее и раньше, но не так. Он был добр и ласков к ним обеим... почти равно. Евгения даже не замечала тогда его предпочтения к младшей сестре. Теперь он не может часа прожить без нее. Когда он не видит ее, он беспокоится, бегает, ищет: «Где Татка? Где Татка?» Вот все, что иногда целыми днями говорит он с окружающими. Если девочка почему-либо огорчена или не в духе, он сердится на других, он выходит из себя до того, что становится несправедливым

и резким. Он не позволяет сделать ей ни малейшего замечания, он не допускает ни малейшей строгости. Говорит он только с ней. Они шепчутся, глядя друг другу близко в глаза. Ночью, в халате, со свечой в руках, он проходит по коридору и долго стоит над ее постелькой. Татка спит, а он глядит на нее, шепчет что-то и крестит ее маленькими, поспешными крестиками. А Татка почувствовала свою силу, и ей тоже никого не надо, кроме отца. Она отстранилась от сестры и возненавидела француженку. Она стала скрытна и упряма. Но что хуже всего: она стала неискренна, она научилась притворяться. Когда Julie или Евгения возмущаются при отце ее упорством, она не оправдывается, а глядит на отца своими большими серыми глазами и молчит. Когда Евгения сердится на нее и добивается, чтобы она объяснила ей свое поведение, она глядит на нее и молчит. И каждый раз в ее взгляде одно и то же выражение, как будто она заучила его, как заучивают опытные актрисы: этот взгляд выражает тоску и недоумение. Уже несколько раз Евгения не выдерживала и принималась серьезно говорить с сестрой.

— Зачем ты притворяешься? — возмущенно спрашивала она.— Ты отлично знаешь, что ты виновата, что ты была упряма, капризна. Зачем ты делаешь вид, что тебя обидели, что к тебе несправедливы? Разве это хорошо?

Девочка молчала и глядела на сестру своим тоскливым, недоумевающим взглядом.

— Отчего ты не такая, какой была прежде, Тата? Ты была такая простая и милая. Ты никого не огорчала, никому не делала неприятностей. Теперь... ты прекрасно видишь, что папа на всех сердится из-за тебя: и на меня, и на Julie. Папа и без того болен и огорчен, и все мы огорчены и несчастны, а ты делаешь нас еще несчастнее. Ты была милая девочка, Тата; теперь ты... злая и нехорошая.

Девочка начинала громко плакать, а Евгения пугалась при одной мысли, что в эту минуту может войти отец. Из одного страха, без чувства сострадания или раскаяния, она принималась утешать сестру.

— Ну, не плачь! — принуждая себя казаться ласковой, говорила она и холодно целовала ее мокрые от слез щечки.— Ну, перестань! Не надо плакать, а надо стараться исправиться. И я верю, что ты исправишься... Да не плачь же! Или ты хочешь, чтобы папа услыхал и опять рассердился на меня?

Евгения действительно готова была заподозрить сестру, что она плакала только для того, чтобы обратить на себя внимание отца и навлечь на нее, Евгению, его гнев. Это

маленькое восьмилетнее существо точно встало между нею и отцом и отодвинуло их далеко друг от друга. Тата никого не хотела знать, кроме отца; отец думал и заботился только о Тате; а Евгению возмущала и оскорбляла эта внезапная горячая симпатия, которую она не умела понять и которая оставляла ее в стороне, одинокой и как будто забытой. И при таких условиях ей предстояло провести целую долгую, бесконечную зиму! Ни отец, ни сестра не будут чувствовать тех лишений, которые предстоит перенести ей. Они заменят друг другу весь мир, и для них в тишине и глуши деревни найдутся доступные им радости и отрада. Отец стар и болен, сестра еще мала. У них нет сознания молодости, красоты, силы; им не надо ничего, кроме взаимных ласк. Зачем же и ей оставаться здесь, с ними? Жить день за днем скучной, бессодержательной жизнью, томиться тоской и одиночеством? Отчего никто не подумал о ней? не справился об ее желании, не позаботился об ее счастье?

Евгения ходила взад и вперед по большой полутемной зале, вдоль темных, заплаканных от дождя окон; и чем больше думала она о себе, о своем положении в доме, тем больше чувствовала она свое одиночество, тем тяжелее становилось у нее на душе; точно и в ней, в этой молодой, еще неокрепшей душе, бушевала осенняя непогода, налетали порывы бури и ломали и выбрасывали вон те чувства, которые прежде давали ей счастье и радость. Если никто не думал о ней, если никто не любил ее, она тоже не хотела думать ни о ком, не хотела любить никого.

Навстречу ей из темной гостиной вышла француженка и с видом крайнего утомления бросилась на первый попавшийся стул.

— Ah! C'est trop fort,— сказала она.— После смерти madame в этом доме все так изменилось, что выносить этой жизни я больше не в силах. Я уезжаю!

— Что случилось? — испуганно спросила Евгения.

Julie пожала плечами.

— Ничего! — сказала она.— Ничего! Ваш отец там, у Tata. Эта девочка за что-то возненавидела меня, и я не знаю, что она сказала monsieur, но и он совершенно переменился по отношению ко мне. Он очень вежлив... О! я ни в чем не упрекаю его, но я чувствую, что он перестал мне доверять. Еще сейчас он так подозрительно расспрашивал меня, о чем я говорила с Tata, в каких выражениях я говорила. Боже мой! Я уже четыре года при этом ребенке, я уже успела полюбить его! — Она закрыла лицо руками и заплакала.—

Я считала себя родной в вашем доме; мне дали почувствовать, что я чужая, и лучше будет... лучше будет, если я уеду.

Евгения стояла, слушала жалобы Julie и смотрела, как она плачет.

— Зачем я буду жить в доме, где я не нужна? — продолжала француженка.— Monsieur не доверяет мне больше воспитание Tata, он хочет заняться им сам. Он слишком деликатен, чтобы сказать это прямо, но это ясно из его поведения, из его постоянного недовольства мною... Ах! что это такое? — вдруг испуганно вскрикнула она и отняла руки от лица.

— Это ветка стучит в окно! — спокойно сказала Евгения.— Это ветер. Не бойтесь.

Француженка приложила руку к груди и замолчала, глядя перед собой печальными, заплаканными глазами.

— Жить здесь в глуши, в одиночестве,— наконец тихо проговорила она,— чувствовать к себе неприязнь, недоверие...

— Нет, этого не будет! — вдруг твердо и решительно сказала Евгения.— Или вы не уедете и все останется постарому, или я уеду вместе с вами. Теперь мое решение принято, и оно не может измениться.

Она вся выпрямилась, точно выросла, и в ее темных, нежных, всегда приветливых глазах мелькнуло жесткое упрямое выражение.

— Отец в детской? — стараясь казаться как можно спокойнее, спросила она.

— Да, они там вдвоем. Tata объявила, что не хочет спать, и monsieur сидит у нее на постели.

— Если она не хочет спать, тем лучше! — сказала Евгения.— Мы, наконец, поговорим и втроем.

Она подняла голову так, как будто хотела придать себе как можно больше храбрости, и, сдерживая волнение, от которого сразу похолодели ее руки, спокойным и ровным шагом направилась в гостиную.

В детской горела одна свеча.

Когда Евгения решительно отворила дверь, она увидала на противоположной стене высокую тень узорчатой спинки кровати и черный, безобразно вытянувшийся силуэт отца. Огонь свечи отклонился, и неподвижные тени на стене заколыхались, как будто охваченные волнением. Старик не заметил ничего. Он сидел на кровати дочери, низко опустив голову, и говорил что-то тихим, монотонным голосом, словно читал. Евгения остановилась.

— Все она увидит, все она поймет,— тихо говорил

отец,— все она простит нам, девочка. И за каждого из нас, и за тебя, и за меня, и за Геню горячо и усердно помолится ее чистая душа, и бог услышит ее молитву, потому что наша мама теперь близка к богу, и он пошлет нам утешение, спокойствие и мир. Мама сделает так, что мы опять все, все сойдемся близко и тесно и не будем больше ни сердиться, ни раздражаться, а пожалеем друг друга за наше общее горе и будем нести его вместе дружно и покорно. И оно сблизит нас и сделает нас еще более дорогими друг другу. Спи, девочка, спи! Во сне ты будешь опять беззаботной и счастливой, а когда ты проснешься и вспомнишь, что твоей мамы нет с тобой, вспомни также, что остался с тобой твой старый отец, что он такой же слабый и виноватый, как ты, что оба мы с тобой не умеем покориться нашему горю, ты — потому, что ты еще мала, моя крошка, я — потому, что я стар, потому, что у меня уже мало силы. Оба мы равны в том, что у нас мало силы! И когда ты чувствуешь печаль, ты не сознаешь ее и глядишь своими тоскливыми, недоумевающими глазами; и когда горе гнетет меня, я не сознаю свою несправедливость, свою грубость к людям. Но если никто не понимает нас, если на нас сердятся, если на нас негодуют, мы понимаем друг друга, моя дочка. Мы знаем, что только горе, одно горе мешает нам быть добрыми и справедливыми, и мы знаем, что то же горе мешает быть добрыми и справедливыми к нам. Геня не сердится! Геня наша! Такая же любящая, печальная и несчастная, как мы. Еще несчастнее, быть может. Она не хочет быть с нами, она хочет быть одна, потому что у нее есть сила и она борется со своей печалью. Она видит, как мы слабы и беспомощны, и она отстранилась от нас... пока. Сильные не любят слабых, потому что с ними, среди них, теряют свои силы. Она не понимает нас, потому что ей нельзя понимать, чтобы бороться с собою; но она не разлюбила нас, Тата, нет! Она победит себя и вернется к нам. Она пожалеет нас и поймет, и простит...

Евгения, казалось, застыла на месте. Она прислонилась к косяку двери и, слушая отца, все ниже и ниже опускала голову. Лицо ее загоралось румянцем, и глаза медленно заволакивались слезами.

Отец говорил не для Татки. Татка не могла бы понять его, да она и спала, крепко и сладко спала, посапывая своим маленьким кругленьким носиком. Отец говорил для себя, говорил то, что наболело в его душе и о чем не сумел бы он сказать никому в целом мире.

— Папа! — осторожно, боясь испугать его, позвала Ев-

гения. Но он все-таки вздрогнул, обернулся и молча указал на спящую девочку.

— Я знаю,— прошептала Евгения.

Быстро, но бесшумно подошла она к кроватке, опустилась на пол и прижалась губами к руке отца. Она почувствовала, как эта рука дрогнула, точно хотела вырваться, и потом сразу осталась неподвижной, и затем настала глубокая безмолвная тишина. Здесь, в этой комнате, не слышно было ни дождя, ни порывов ветра. Ветви не стучались в окна, плотно закрытые ставнями снаружи и занавешенные шторами внутри. По белой стене колыхались взволнованные тени, а единственным звуком, который мог уловить слух, было спокойное, ровное дыхание спящего ребенка.

Наконец рука опять сделала движение, медленно высвободилась и осторожно приподняла голову Евгении. Отец и дочь поглядели друг другу в глаза.

— Геня! — чуть слышно сказал старик,— веришь ли ты, что я долго не понимал, что горе делало меня несправедливым, жестоким?

— Не тебя одного, не тебя...— прошептала Евгения.

— А она,— продолжал отец, указывая на девочку,— она даже не сознает, что у нее есть горе. Когда ей говорят, что она стала нехорошая, злая, она верит... У нее нет оправдания.— Свободной рукой он оправлял на подушке разметавшиеся волосы маленькой Таты.— Нет оправдания, а в душе неясный протест, и боль, и недоумение. Когда я понял это, Геня, я узнал такую жалость, которую не испытывал еще никогда. Если я оскорбил тебя ею, Геня, прости! Ты уже не только дочь, ты — друг.

Они осторожно поднялись и, крепко обнявшись, глядели на маленькую спящую фигуру.

— Отчего я не знала? — с глубоким раскаянием спросила Евгения.— Отчего ты не сказал мне?

И когда они, все так же обнявшись, вышли из детской и, направляясь к зале, проходили через длинную темную анфиладу комнат, Евгения уже не удерживала слез и не старалась скрыть их от отца.

— Отчего мы все так много молчим? — спрашивала она.— Отчего мы все не хотим быть понятными друг другу? Отчего мы так мало доверяем любви, преданности, состраданию? Отчего, когда мы страдаем, мы делаемся скрытными, самолюбивыми и чувствуем себя так... так страшно одиноко, как будто и сами не любим никого?

Отец ласково целовал ее маленькую, тоненькую ручку.

— Мы все немного похожи на детей,— грустно ответил он.— Когда мы несчастны, мы не хотим говорить об этом и мы ждем, чтобы нас поняли, чтобы нас пожалели. И нет благодарности горячее, безграничнее, как благодарность человека к тому, кто угадал его душевное состояние, кто сумел его пощадить и не осудить.

Они вышли в залу. На столе, на котором недавно лежали цветы, накрывали к ужину. У окна сидела француженка и по-прежнему глядела перед собой печальными, заплаканными глазами. Она обернулась на шаги, увидала отца и дочь и с тихим вздохом опустила глаза. Они подошли к ней и остановились.

— Tata заснула? — спросила она.

— Спит наша Тата! — сказал старик.

Евгения нагнулась и обняла рукою шею Julie.

— Вы не уедете, Julie,— сказала она.— Вы не чужая нам... Отец не хочет, чтобы вы оставили нас.

Француженка робко и недоверчиво взглянула на Евгению и перевела глаза на ее отца.

— Уезжать? вам? — удивленно спросил старик.— Отчего? Зачем?

Никто не ответил ему.

В окно рванулся ветер, залив его целым потоком дождя. Ветка хлестнула в стекло и судорожно забилась, как бы умоляя о помощи и защите.

Трое людей тесной группой глядели в непроницаемую темноту ночи, и хотя они не находили тех слов, которые могли бы сказать друг другу, они чувствовали, что их молчание понятно всем; и что если впереди их ждут новые недомолвки и сомнения, в эти минуты они связаны тем высшим откровением, которое нисходит на людей для того, чтобы они различили свет в темноте, увидали надежду там, где царили отчаяние, озлобление и смерть.

ТВОРЧЕСТВО

Чтобы попасть из сада в луга, надо перелезть через канаву. Она довольно глубокая.

Марья Павловна чувствовала себя в этот счастливый для себя день такой молодой, легкой и веселой, что ей хотелось бегать и шалить, и она первая, не дожидаясь помощи, соскользнула вниз на своих высоких острых каблучках, ухватилась за побеги ветлы и выкарабкалась на противоположную сторону. Потом она обернулась и засмеялась.

— Ну, лезь! — крикнула она своему другу детства, Андрею Ивановичу, с которым она свиделась сегодня после 10 лет разлуки.

— Ни за что! — возмущенно ответил он. — Ноги ломать? Я обойду кругом.

— Старый барин! Привык на дачах по дорожкам гулять. Ну, решайся!

— Но, пойми, что здесь круто и скользко!

— Да ведь я же перелезла. Ты только спустись, а я тебя вытащу за руку. Обходить кругом слишком далеко.

— А зачем нам непременно идти в луга? — спросил Андрей Иванович. — Ведь это все твои выдумки и глупости.

— Подагрик! — смеясь и издеваясь, кричала Марья Павловна.

— Да ты помнишь, ты помнишь, когда мы были здесь в последний раз? — спросила она, вешаясь на его руку, когда переход наконец был совершен и они шли вдоль ручья по мягкой зеленой траве.

— Помнишь, ты прискакал меня спасать, потому что за меня сватался Вальдек, а он так нравился отцу, или, вернее, отцу так нравилось его имение «Борки», что мне было объявлено, что, если я не дам согласия, конец! Денег нет, и ехать в Петербург в консерваторию не на что. Простись со всем и сиди в деревне. А какой же там Вальдек, когда я только о тебе и думала, только и мечтала поскорей удрать к тебе в Петербург. Ну, конечно, я написала тебе самое отчаянное письмо, но никак, никак не думала, что ты прилетишь сам.

Она вдруг слегка толкнула его, отступила на шаг и, глядя ему в лицо, расхохоталась.

— Ну, скажи, пожалуйста, зачем это ты разлетелся? Я, как сейчас помню, хотя с тех пор прошло чуть не 15 лет... В студенческом кителе и белой фуражке. У madame была мигрень, и она была зла, как черт. Танька пролила чернильницу на ее газету, и она ее выгнала из класса, и Танька стояла у дверей и ревела. Жарко было ужасно. У Зины, как у самой старшей и к тому же любимицы, была привилегия ходить в капоте, а меня это бесило, и я как раз сцепилась с ней из-за того, что я принесла себе с огорода зеленого аркада, а она, что получше, съела, а остальное выбросила. И вдруг колокольчик все ближе и ближе. Madame, конечно, тоже за Вальдека была и тебя вообще не выносила. Зина презирала всех, кто обращал на меня больше внимания, чем на нее. Поэтому она и Вальдека презирала, и тебя, и других. Ну, и встречу тебе устроили! Ты помнишь? Таньке опять попало,

за то что она тебе на шею бросилась. Madame пошла разыскивать отца, настроила его, как ей хотелось, и он вышел такой, что я все время боялась, как бы вы друг другу не наговорили дерзостей. И ведь, ей-богу, отец тебя любил! Если бы не madame и ее влияние на него... Если бы еще Зина была за нас...

— Что значит «за нас»? — спросил Андрей Иванович. — У тебя была когда-нибудь мысль выйти за меня замуж?

— Никогда! — крикнула Марья Павловна. — Честное слово! Влюблена я в тебя была по уши — это верно, но мне и в голову не приходило, что ты мог бы на мне жениться. Может быть, оттого, что мы были дружны еще детьми и считались чуть не братом с сестрой. Может быть, оттого, что ты как-то сразу поднялся в моих глазах на недоступную вышину. Мне импонировали твой талант, твой успех, твое имя, которое встречалось во всех газетах. Да, ты был не как «все» и на особом положении. Даже твой студенческий сюртук внушал мне особое уважение, потому что на нем уже был значок: ты кончил один факультет и перешел на другой. Ах, нет! Ты не знаешь, каким ты был в моих глазах! Мне кажется, что, если бы ты сделал мне предложение, ты был бы развенчан.

— Мое имя во всех газетах, — задумчиво повторил Андрей Иванович. — Да. Во многих. В числе сотрудников... Случалось, что я отказывался давать что-либо, и только разрешал печатать имя.

Марья Павловна опять взяла его под руку и повела.

— Вот ревновать мне тебя приходилось часто, — призналась она. — Кто не был в тебя влюблен из знакомых девиц? Все! Хотя бы не надолго, но все. И вот, какая ты дрянь! Ты тоже во всех был понемножечку влюблен.

— Я? — возразил Андрей Иванович.

Марья Павловна сжала его локоть.

— Ты, ты. Не возражай и не спорь. С каждой из твоих поклонниц ты сочинял маленький роман, с разнообразными настроениями и подробностями. О, я за тобой наблюдала! Вы разыгрывали какие-то пьесы, ты и она. Миниатюры. Разыгрывали по вдохновению. Вдохновлять ты умел, и самая безличная, самая шаблонная героиня на время становилась оригинальной и интересной. У тебя была способность расшевелить, разбудить, заставить найти и расправить крылья. И эту свою способность ты любил больше всего во всех твоих приключениях. Ты на время оживлял кукол и, наигравшись, прибирал их назад в картонки и на полки. Разве не правда? Скажи!

Андрей Иванович смеялся.

— Мне смешно слушать тебя. Это было так давно! Да, может быть, это так и было. Удивляюсь, как ты помнишь. Так я спасал тебя от Вальдека на этом лугу?

Марья Павловна остановилась, заставив и его остановиться, и вытянула руку.

— Вот там... Видишь, этот столбик, межевой знак? Здесь поворот ручья, и здесь когда-то было глубоко. Водилась рыба. Ну, был, по крайней мере, предлог сидеть с удочкой и требовать, чтобы никто не смел приближаться и шуметь. Всю печаль своей жизни я оплакала, кажется, на этом месте. На глинистом обрыве противоположного берега множество круглых дырок с ласточкиными гнездами. Ласточки летают и кричат. Мне казалось, что это очень красиво, что я сижу здесь и плачу, и я иногда, для картины, распускала волосы. Ах, Андрей! Я не видала тебя десять лет, и сегодня в первый раз за эти десять лет я могла бы распустить волосы, чтобы поплакать.

— Не дергай меня все время за рукав,— попросил Андрей Иванович.— Ты дергаешь, толкаешь... И вот еще, друг мой: трудно бы тебе распустить волосы, как прежде. Пришлось бы разложить на траве целый ворох фальши... Вот теперь ты еще дерешься.

Марья Павловна ударила его по плечу, отбежала в сторону и, стараясь рассеять какое-то неприятное впечатление, сорвала несколько полевых цветков и сложила их в пучок.

— Лучше моей молодости ни у кого не было... из сестер,— продолжала она, нагнав Андрея Ивановича и щурясь на цветы.— Даже и теперь, знаешь, я считаю себя самой счастливой. Зина и Таня замужем. Летом я гощу то здесь, у Зины, то у Тани в Улыме. Зимой я даю уроки пения. Петь я уже не могу, но уроки... Конечно, это уже не то, о чем я мечтала: сцена, успех, слава. Но у меня есть заработок, я самостоятельна. Сестрам я не завидую. Они уверяют, что они счастливы. Нет, я не верю! Я вообще не верю семейному счастью. Раскопай его, и ты непременно наткнешься на какую-нибудь неожиданность. В лучшем случае этот сюрприз очень глубоко и хорошо похоронен. Я допускаю супружеское благополучие в глубокой старости, когда властвует одна привычка, когда похороненное забыто, потому что уже нет памяти чувств, а осталась одна память фактов... Ну, пусть я ошибаюсь, пусть сестры счастливы. Дело в том, что я им не завидую, а моей молодости, когда я любила тебя, когда я безумствовала, когда я мечтала быть певицей, когда я поднимала знамя бунта против интриг madame, которая науськивала на меня отца и Зину, я не променяла бы ни на какую другую.

— Зачем же ты плакала?— спросил Андрей Иванович.

— А ты думаешь, я была счастлива?— смеясь спросила Марья Павловна.— Во-первых, я всегда боялась, что ты увлечешься кем-нибудь из твоих поклонниц, а меня уберешь куда-нибудь в картонку на полочку. А я любила тебя, ты это знаешь? Ты знаешь тоже, как я любила отца? Ну и что же? Я причиняла ему одни неприятности и он постоянно сердился на меня. Это виновата madame. Я уверена, что, если бы не было madame, отец понимал бы меня и мы были бы друзьями. В сущности, у меня было много горя, заботы, неприятностей, и если я называю свое прошлое хорошим, то только потому, что я тогда безумствовала. Да, я была пьяна: молодостью, любовью, надеждами, мечтами. Андрей, скажи мне теперь: а ты меня когда-нибудь любил?

— Скажи теперь откровенно,— приставала она.— Ведь это теперь безразлично... Не так ли? Ты, может быть, воображаешь, что ты и теперь производишь на меня чарующее впечатление? Пожалуйста, не воображай! Полнейшее разочарование! Ты слышишь? Полнейшее разочарование!

— А ты не врешь?— лукаво спросил Андрей Иванович.— А мой талант? Мое имя во всех газетах? Ты думаешь, у меня уж нет поклонниц и я уже не могу вдохновлять, заставлять находить и распускать крылья или подрезать эти крылья и...

— Ты? Теперь?— спросила Марья Павловна и расхохоталась.— Ты уже не можешь перелезть через канаву. Если ты еще что-нибудь воображаешь о себе, то это глупо.

Она бросила пучок цветов ему в лицо и, притворяясь, что боится его мести, побежала вперед.

— Маша!— серьезно окликнул он ее.— Знаешь, Маша...

И когда она остановилась и шаловливо оглянулась, он продолжал:

— Маша, милая, пожалуйста, не бегай и не резвись. Ты уже стара для такого поведения, а я еще настолько тебя люблю, что мне неприятно видеть тебя смешной и жалкой.

Марья Павловна удивленно раскрыла глаза, лицо ее слегка дрогнуло, но она сейчас же овладела собой и с почти естественным смехом сбежала к ручью и, зачерпнув в ладонь воды, брызнула на Андрея Ивановича.

— Не смей дерзить! — крикнула она.— Талант!.. Нет, брат, не вышло ничего из твоего таланта! Ты быстро выскочил, как гриб после дождя, но, как и гриб, как только стал большой, так и испортился. Впрочем, я и не читаю тех органов, где теперь встречается твое имя.

Андрей Иванович достал платок и вытер им шею.

— Точь-в-точь так же брызгала ты на меня 15 лет тому назад. Видимо, это твой излюбленный прием кокетства. Вероятно, ты брызгала и на Вальдека и в других, но твои сестры замужем, а ты уже старая дева. Значит, прием неудачный. Не пора ли перестать?

— Но, серьезно, Андрей, почему я больше никогда не вижу твоего имени в печати? — спросила Марья Павловна немного натянутым, но дружеским тоном, вновь завладевая его рукой, но не глядя ему в лицо. — Ты появлялся все реже и реже... Не пишется больше, старик? Да? Нервы притупились? Лень, равнодушие одолели? Ведь тебе все равно, да? что делается на белом свете? Ты всегда был, как ты выражался, индивидуалист. Это значит, на общепринятом наречии, просто эгоист. Общественные вопросы тебя не задевали. О, нет! Ты жил собой: своими радостями, своими успехами, своими удобствами. Когда ты что-нибудь делал для других, то несомненно, что почему-либо это было нужно и для тебя. И вот результаты! Ты постарел, отяжелел, и источник твоего вдохновения иссяк. Бедный Андрей! Ты пережил самого себя. Ты не обижаешься, что я тебя жалею? Я — твой старый друг.

— Нет, я тронут, — сказал Андрей Иванович, нервно подергивая плечом и оттягивая свободной рукой ворот рубашки. — Вот как раз межевой столбик и поворот ручья, где когда-то было глубоко и водилась рыба. Теперь, однако, не только нет рыбы, но почти нет и воды. Оплакивая здесь всю свою жизнь, со всеми ее невзгодами, ты не помешала высохнуть ручью. Но ведь ты плакала с распущенными волосами. Для красоты. И никогда тебе не приходило в голову, что я сочинил всю твою жизнь, сделал тебя такой, какой ты осталась до сих пор. Я мог не только угадать, но знать наверно и точно, когда ты будешь плакать, будешь смеяться, когда побежишь и брызнешь мне в лицо. И что особенно странно и печально, это то, что, когда я увидал тебя сегодня после 10-ти лет разлуки, я не заметил в тебе ни одной новой черты, ни одного нового жеста. Изменилась только твоя наружность, но против этого ты бессильна. Маша! Скажи мне, пожалуйста, неужели ты так и осталась пьяной молодостью и любовью на всю жизнь и не заметила, как прошло твое время, как исчезла красота, как рушились все надежды и мечты?

Они остановились перед пересохшим ручьем, стоя рядом, но не глядя друг на друга. Андрей Иванович все еще дергал плечом, Марья Павловна вдруг притихла, а на ее побледневшем лице остановилась насмешливая, презрительная улыбка.

— Хочешь, я угадаю,— продолжал Андрей Иванович, усаживаясь на траву и доставая из кармана папиросы и спички,— ты ищешь слов, чтобы сказать мне что-нибудь очень обидное и злое. Так, конечно, должно быть. Ведь, по-твоему, я тебе сказал много неприятного, я тебя обидел. Но я тебя не обидел, Маша. Я, как старый друг, сказал тебе правду. Зачем же сердиться?

Марья Павловна все еще стояла и думала и вдруг усталым движением опустилась на траву рядом с Андреем Ивановичем и положила голову на его плечо.

Андрей Иванович молча докурил папиросу и бросил окурок далеко в камыши.

— Да, я больше не могу писать,— вдруг тихо заговорил он.— Ты права, Маша: мой талант иссяк. Плотно захлопнулась какая-то дверь, которую я прежде так легко умел отворить и из которой так и рвались наружу целые толпы образов и фантазий. Я не выдумывал свои рассказы: они сами напрашивались мне. Я был плохой писатель, Маша, но когда я перестал им быть, я понял, как велико было мое богатство и как беден и узок мир, когда его видишь только таким, каков он есть. У меня такое впечатление, Маша, будто я ослеп. Какие-то внутренние, зоркие, проницательные глаза во мне закрылись, и смысл вещей, лицо природы, души людей, нити отношений, движения чувств — все, что было для меня интересно и важно, вдруг перестало существовать, а остались струны без звуков, храм без бога, любимое лицо без любви. Остались факты и скука: вот трава, ручей, хлопчатые облака и заходящее солнце. Ночью взойдет луна, черт бы ее взял! и даст свет, тени, блики. Что мне делать со всем этим? Меня раздражает, когда кто-нибудь скажет: «Взгляните, как это красиво». Отчего он знает, что это красиво? Сам, что ли, понял и догадался? Нет! Никогда! Ему открыли глаза художники, поэты, композиторы, люди с внутренним зрением. Вот кто увидал и показал, кто создал красоту, которой нет и никогда не будет для людей без внутреннего зрения, если они не заразятся чужим пониманием. Разве мужик видит красоту природы? Он только привыкает к лесу, если жил в лесу, к степи, если вырос в степи. И любит то, к чему привык. Мое богатство заключалось в том, что я не только заражался, я непосредственно воспринимал красоту, я чувствовал ее и искал для нее выражения с такой же радостью, как влюбленный ищет слов для своей любви. А теперь я говорю просто: вот трава, вот ручей, вот розовые облака и заходящее солнце, и чувствую, что эти слова так же пусты и скучны, как слова: «Я тебя

люблю», обращенные к той, к которой уже нет любви. И мне скучно, Маша; мне скучно...

Марья Павловна закрыла глаза и не шевелилась. Она думала о чем-то своем, и хотя слышала все, что сказал Андрей Иванович, его жалобы не произвели на нее никакого впечатления. Велика беда, что человек писал, а потом перестал писать! Она тоже когда-то пела, училась в консерватории, мечтала о сцене, но голос пропал, и ее честолюбие ограничилось уроками.

— Видишь, ты не угадал, что я ищу злых и обидных слов,— сказала она.— Но почему ты думаешь, что ты сказал мне какую-то правду? Я не заметила, как прошло мое время, как исчезли молодость и красота, как рухнули все надежды? Нет, Андрей, я заметила. Ты не нашел во мне ничего нового, точно 10 лет и не прошло. Только наружность. Я брызнула в тебя водой. Я шутила и... я была весела. Андрюша, зачем же мне было спешить... спешить показывать тебе, как эти 10 лет тяжело... тяжело легли на мои плечи; как сердце... устало...

Она перемоглась, быстро взглянула вверх в его равнодушное, строгое лицо и вздохнула.

— Зачем тебе надо было испортить мне даже этот день? Я забыла, что я уже не молода, по-прежнему глупа и по-новому одинока. С сегодняшнего дня даже тебя в моей жизни не останется. Таким, какой ты был, я знаю, тебя уже нет. Какая твоя правда? Ты и мной играл, как куклой, и заставлял меня смеяться или плакать по твоему желанию? Только это? Но есть еще другая правда: ты не сочинил, а просто испортил мне всю жизнь: у тебя не было никогда мысли жениться на мне, но ты не хотел, чтобы я вышла за другого. Ты никогда не любил меня, но тебе нравилось, что я тебя люблю, и ты поддерживал мое чувство, как мог. И теперь у тебя хватает жестокости сказать мне, что я плакала с распущенными волосами только для красоты, что и Вальдеку я брызгала в лицо, как тебе, что все это так мелочно, ненужно, ничтожно и глупо. Вся жизнь! Вся жизнь!

Она отвернулась, чтобы заходящее солнце не ослепило ей глаза, но не сняла головы с плеча Андрея Ивановича.

— Трава, ручей, вечернее небо, старая любовь и испорченная жизнь,— вдруг сказал Андрей Иванович и усмехнулся.— И все это факты, и все это так. И видишь, Маша, если бы я сейчас задушил или утопил тебя, или, если бы ты сейчас призналась мне, что любишь меня до сих пор, и умерла бы передо мной от стыда и горя, это тоже был бы только факт, и я бы не знал, что это красиво или уродливо, печально или

глупо и смешно. Знаешь, я теперь думаю, что ты, пожалуй, была права, когда не хотела показывать мне сразу, что ты уже не молода и не весела. Так, как ты себя вела, было, пожалуй, хорошо. И ты хорошо сказала: «Тяжело... тяжело легли на мои плечи».

Он вдруг согнулся, закрыл лицо руками, и Марья Павловна почувствовала, как затряслось его плечо не то от смеха, не то от плача.

— Андрей! — испуганно позвала она, встала на колени и стала теребить его за локоть.— Андрей! Что с тобой? Андрюша! Милый!

— Маша! — сказал он, не отнимая рук от лица.— Мне стало тебя жалко, Маша. Ужасно жалко! «Тяжело на твои плечи...» И теперь это все лишнее, Маша. Я чувствую только жалость. Пойми! Если из горя нельзя создать красоты, лучше быть счастливым. Я помешал тебе быть счастливой и ничего не создал, ничего! Да! Мелочно, ненужно, ничтожно и глупо... Таким бывает всякое страдание, когда его не заметит талант, когда его не поднимет вдохновение, когда искусство не создаст из него красоты. Такое страдание унизительно и обидно, а я обрек тебя на него. Я ослеп, Маша, а твоя жизнь погибла.

Марья Павловна опустила руки, с недоумением поглядела на Андрея Ивановича и робко, недоверчиво улыбнулась.

Вдруг на весь луг, на блестящее вдали золотом жнивье, на сверкающую, как сталь, полоску извилистого ручья легла широкая густая тень и не стало ни яркой зелени, ни золота, ни блеска и сверкания. Это солнце скрылось за горизонтом, не забыв на земле ни одного луча.

Марья Павловна встала, оправила платье и прическу и медленно, будто нехотя, повернула скучно улыбающееся лицо к Андрею Ивановичу.

— Ну, вставай. Идем домой.

Андрей Иванович уже опять курил и о чем-то сосредоточенно думал, внимательно оглядываясь кругом.

Они молча пошли рядом.

— И это опять одна из твоих выходок! — вдруг вскрикнула Марья Павловна и толкнула его в плечо.

Он рассеянно оглянулся. И сейчас же, точно этот взгляд убил последнюю ее попытку на радость и счастье, Марья Павловна вдруг притихла и замолчала. Спина ее немного сгорбилась, вокруг рта легли усталые, печальные морщины, глаза потухли и приняли тревожное, недоумевающее выражение.

Считала ли она теперь себя самой счастливой из сестер?

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

— Неужели? неужели она это сделала?— в сотый раз спрашивал себя Павел Аркадьевич, кутаясь в шинель и надвигая на глаза высокую бобровую шапку.

— Кто ее знает! Я не удивился бы даже, если бы оказалось, что она оставила записку: какое-нибудь покаянное послание мужу или загробное проклятие по моему адресу.

— Ехать? не ехать?— размышлял он, спускаясь по лестнице и выходя на улицу.— Если я поеду — поступок будет вполне естественный: я был принят в доме, принят, как свой человек. Правда, что за последний год я бывал крайне редко, но отношения остались дружескими. Добрейший Иван Ник лаевич верил в мое увлечение работой... Было бы даже стра- но, если бы я не поехал теперь, но...

Павел Аркадьевич подозвал извозчика, сел и приказал ехать, махнув рукой вперед.

— Но каково будет мое положение, если она оставила записку или письмо! По газетному объявлению ничего толком понять нельзя: «Иван Николаевич Осокин с прискорбием извещает родных и знакомых о кончине его дорогой жены, Анны Алексеевны...» О кончине! к этим словам часто прибавляют «скоропостижной», или «после тяжкой и продолжительной болезни». Ничего такого к объявлению не прибавлено.

Павел Аркадьевич стал припоминать. Последний раз он виделся с Анной Алексеевной в театре, месяца два Встреча была случайная, и ни он, ни она не обрадовал.. Она сидела в креслах, одна, а он в антракте предложил ей пройтись по коридору. Никаких неприятных для себя объяснений он не опасался. Анна Алексеевна приучила его чувствовать себя с ней в полной безопасности от каких бы то ни было сентиментальных сцен. Только один раз, в самом начале их связи, она как-то неожиданно разрыдалась и стала говорить о том, что вместо счастья она чувствует стыд, унижение и невыносимую тоску. Она даже стала жаловаться Павлу Аркадьевичу на него самого и доказывать ему, что он первый презирает ее и грязнит ее любовь. Но, заметив его омрачившееся лицо и недружелюбный взгляд, она вдруг замолчала, долго сидела неподвижная и задумчивая и вдруг так просто, искренне и серьезно попросила у него прощения, что этой просьбой удивила и озадачила его еще больше, чем слезами и жалобами.

— Да, я была несправедлива,— убежденно сказала она.—

Этого больше не повторится. Видишь ли, милый,— со странным смехом продолжала она,— мы, женщины, только воображаем о себе много, а в душе мы верим в ваше превосходство и к вам мы требовательнее, чем к себе. Вот и сейчас... Люблю я тебя такою же грешною, такою же земною любовью, как и ты меня любишь, и ничуть мое чувство не выше и не чище твоего, иначе зачем бы я стала обманывать своего мужа? А между тем я уже сочла себя вправе упрекать тебя. Это оттого, что я как-то невольно, бессознательно поставила тебя высоко-высоко над собой, и мне уже показалось несправедливостью то, что ты не поднял меня до себя. Это у нас своего рода «благородство чувств», милый: с радостью бросаться грязь и потом жаловаться и негодовать, что эта грязь заызгала нас.

— Что это за философия, Аня! — перебил ее Павел Аркадьевич.— Мы, вы, грязь...

— Да, да! — возбужденно подхватила Анна Алексеевна,— Не надо и философии. Ничего не надо! никаких слов! да? Если можно быть счастливыми, будем счастливы. В сущности, мы оба только этого и хотели. Вот я гляжу на твое лицо... Как оно дорого мне! И эти глаза... и эти губы... Зачем я хотела уверить себя, что полюбила тебя только за то, что ты выше, умнее, лучше других? Я счастлива тем, что ты находишь меня красивой, желанной... Зачем же стараюсь убедить тебя, что я чувствую себя униженной и пристыженной? Я не хотела [illegible] — и лгала.

И плачешь о чем-то,— досадливо пожимая плечами, метил Павел Аркадьевич.

— Плачу?— удивилась молодая женщина.— Разве я плачу? Не замечай! Видишь: с тобой я хочу быть искренной, искренной... и простой. Мне еще трудно освободиться от какой-то раздвоенности... Знаешь, какое у меня чувство? Мне кажется, что мы оба — и ты, и я — уличили друг друга в каком-то очень дурном, очень низком поступке, и ты... ты, уличенный, остался спокойным, самоуверенным; я же... Мне и грустно, и радостно. Я могла бы быть счастливой, а в душе что-то болит-болит...

— Направо!— сердито крикнул Павел Аркадьевич извозчику.

Пробираясь к выходу из театральной залы, Анна Алексеевна шла впереди Павла Аркадьевича, и он невольно заметил, что ее фигура стала гораздо тоньше, чем была раньше.

— Вы похудели,— заметил он, когда они пошли рядом по коридору.

4 Заказ 453

— Да, я худею,— сказала она.

— Какая-нибудь новая любовь? палящая страсть?— спросил он и нарочно презрительно и насмешливо улыбнулся. А правила у вас все те же? Быть счастливыми, пока можно, и не лгать, то есть лгать только мужу? Прекрасное правило! Я вам благодарен за него до сих пор.

— Зачем вы так злы со мной?— спросила она.

— Я не зол. Я прост. Вы всегда говорили: будем просты. И вы довели эту простоту до... до степени крайней откровенности.

Он резко захохотал.

Помните ли, как вы поднесли мне мою отставку? Проще этого приема я уже ничего придумать бы не мог. Помнится, вы сказали мне: «Знаешь, пора разойтись. Нам друг с другом стало скучно». Так, кажется?

— Это была правда,— тихо заметила Анна Алексеевна.

— Это была правда!— все еще смеясь, повторил он.— Но если вы так легко говорите правду, признайтесь мне теперь: любили вы с тех пор?

— О, нет!— горячо ответила она.— Верьте мне. Нет!

Он опять был так поражен искренностью и серьезностью ее выражения, что уже готовая фраза, полная недоверия, точно замерла на его губах.

— Отчего?— спросил он, почти не сознавая своего вопроса.

— Павел Аркадьевич!— тихо заговорила она,— помните, каким вы были раньше?— еще тогда, когда вы не говорили мне о любви? Я помню свое первое впечатление: я глядела на вас, слушала вас, а мне хотелось смеяться от счастья, что такие люди живут на свете. В каждом вашем слове было столько ума, столько сердечности, отзывчивости и понимания людей. Я знала и слышала от других, что вы талантливы, благородны...

— Слишком много, слишком много комплиментов!— с досадой прервал ее Павел Аркадьевич.

— Хорошо. Довольно. Я хотела восстановить ваш образ таким, каким он представлялся мне тогда. И я думала, что быть любимой таким человеком — это узнать рай на земле. Себя я считала такою маленькою, ничтожною, недостойною... Не бойтесь! Вы думаете, что теперь, наговорив вам столько любезностей, я начну развенчивать вас. Нет! нет, вы все тот же. Но, видите ли: если такие люди, как вы, не умеют любить... Нет, я не так выразилась! Если такие люди, как вы, не стыдятся любить ради одной прихоти, ради самого низкого

наслаждения, если они с своею отзывчивостью, умом и добротой становятся грубы, глухи и бессердечны, у кого, в чьей душе искать другой любви, о которой едва ли не в каждом женском сердце запала томительная и неясная тоска? Надо ли искать любви, Павел Аркадьевич? Верить ли в нее, если ее ни заслужить, ни выстрадать нельзя? Дорожить ли ей, если она, не разделенная, мучительная, каким-то роковым образом способна вызвать не сострадание, а насмешку и презрение?

Лицо Анны Алексеевны сильно побледнело.

— Антракт, кажется, кончен,— поспешно добавила она.

— А вы опять вернулись к философии,— язвительно заметил Павел Аркадьевич.— Было время, когда вы считали всякое рассуждение ложью. Жизнью, правдой жизни вы называли то наслаждение, о котором теперь отзываетесь с такою великолепною презрительностью.

Она едва заметно вздрогнула и остановилась.

— Я?— чуть слышно переспросила она.

— Вы, вы. Признаюсь вам, я был очень приятно удивлен. В начале нашего знакомства, в то счастливое время, когда вы еще мечтали открыть рай на земле, вы до крайности любили отвлеченные разговоры. Боже, о чем только не перетолковали мы с вами! Полный курс разных туманных теорий, понятий. Конечно, это было прекрасно в то время... Это позволяло мне засиживаться у вас позже положенного часа. А Иван Николаевич мирно дремал в своем кресле. Чего я боялся, так именно того, что ваша страсть к заоблачным сферам не покинет вас и потом. Да, я боялся излишней идеализации, возвышенных сентенций. Ха-ха! Вы не удостоили меня даже тени иллюзии, до того вы были просты! Искренни и просты.

Анна Алексеевна медленно провела рукой по лбу и волосам.

— Не удостоила иллюзии? чего?

— Ну, как чего? любви. Предполагалось же, что мы любим друг друга?

Она подняла голову и взглянула на него странными, почти безумными глазами. Бледные губы ее улыбались.

— Разве я не была именно такою, какою вы хотели меня видеть? Разве я не угадала вашу тревогу и не успокоила вас вовремя? Разве я не дала вам всего, чего вы могли желать от меня?

— Анна Алексеевна!— едва не вскрикнул удивленный Павел Аркадьевич.

— Разве я не избавила вас от скуки и раскаяния именно тогда, когда вы уже чувствовали их приближение? Разве я причинила вам страдание, зло?

— Однако... во всяком случае... вы первая...— бессвязно заговорил он.

Анна Алексеевна опять улыбнулась.

— Иллюзии вам я не дала!— тихо и грустно повторила она.— Но как же вы не заметили, что я любила вас, если вам нужна была моя любовь? Нет, умоляю вас,— быстро заговорила она, заметив, что он готовится возражать ей,— умоляю... На один только раз... оставьте этот тон, которым вы причиняете мне такую боль. Да, это правда: я любила вас. И когда я увидала, когда я поняла, на какую роль я могла быть пригодной в вашей жизни,— я покорилась. Я всегда считала себя такой маленькой, ничтожной... Я покорилась. Но не могу я еще и теперь освободиться от чувства какой-то глубокой обиды, какой-то жестокой несправедливости. Что я сделала с своей душой? Отчего я сама уже не верю в нее? Я чувствую постоянное угнетение, и я стала так покорна и смиренна, как будто у меня никогда не было гордости. Вся жизнь моя испорчена, и мне кажется, что то пятно, которое я сделала на ней, расползается все больше и дальше, и не будет никогда дня, когда я уйду от него и оставлю его позади. Мне не хочется жить. И когда я думаю о смерти, я испытываю чувство радостного освобождения.

Она вздрогнула, как будто очнулась от забытья.

— Но... зачем все это? к чему? Идите... Видите, никого уже нет. Если не увидимся больше... Нет, ничего не надо! Идите... Я домой.

— Налево!— свирепо крикнул Павел Аркадьевич извозчику.— У подъезда! стой!

Он скинул шинель на руки швейцара и уже без всякого раздумья побежал вверх по лестнице. Дверь квартиры была открыта. Из гостиной слышался непрерывный, монотонный голос.

— Над ней! неужели над ней?— почему-то с ужасом подумал Павел Аркадьевич.

На пороге он остановился. Высокий старик, медленно повернув голову, равнодушно взглянул на вошедшего и продолжал читать на тот особый лад, от которого жутко и тяжело становится на сердце.

Гроба еще не было, и покойница лежала на столе. Павел Аркадьевич принудил себя взглянуть на нее издали и сразу заметил только ее ноги. Они были обуты в белые туфли, и подошвы их, тоже белые, чистые, поднимались рядом носками вверх. В этих туфлях ей уже не суждено было сделать ни одного шага, и земной прах не должен был коснуться их.

— Неужели это она? — опять спросил себя Павел Аркадьевич. Какое-то странное любопытство овладело им, и он пошел прямо к покойнице, ступая так осторожно и бесшумно, как будто он мог разбудить ее.

Да, это была она. Он остановился и впился глазами в ее лицо. Она улыбалась, и в этой улыбке было столько спокойствия — безмятежного, ясного спокойствия, что, глядя на нее, верилось в непроницаемую тайну смерти, которая не уничтожает человека, а только указывает ему новую жизнь, новый способ существования. Душа радостно освобождается от своей оболочки и запечатлевает на ней свое последнее земное ощущение.

— Я не хотела бы жить!— припомнилось Павлу Аркадьевичу. Значит, она говорила правду, если лицо ее так радостно и спокойно. Она тосковала о своей чистоте, о своей попранной гордости. Кто знает? Не улыбалась ли она теперь своей прошлой печали, как улыбается взрослый, вспоминая свои детские огорчения? Не поняла ли она ничтожество своих самолюбивых страданий перед красотой и силой поруганной, униженной, но сознательной и глубокой любви?

— Хирела, батюшка, хирела... А тут слегла, да и отдала богу душеньку.

Павел Аркадьевич вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стояла старуха нянька и тоже смотрела на покойницу слезящимися, моргающими глазами.

— И долго болела? — успокоившись от испуга, спросил он.

— Да как? с месяц, а то и больше с постели не вставала.

— Если бы я знал!— искренно вырвалось у него.

Старуха вдруг перевела свой взгляд на его лицо... Закрасневшиеся глазки ее точно искали чего-то, но избегали встретиться с его глазами; старческий, беззубый рот беззвучно шамкал:

— Стаяла, стаяла... Сгорела, как свечечка!— пробормотала она.

Необъяснимое чувство овладело Павлом Аркадьевичем. Ему вдруг стало до крайности стыдно и неловко.

— Знает она что-нибудь или только догадывается? — подумал он, а недружелюбные, бегающие глаза старухи, все ее морщинистое лицо продолжали допрашивать его. Он отступил на два шага от стола, и ему нетерпеливо захотелось уйти, бежать от этих двух лиц: одного — такого спокойного и безмятежного, другого — враждебного и пытливого. Он хотел уйти — и не мог, не умел.

— Я приеду еще... на панихиду... сегодня же,— с трудом проговорил он.— Скажите Ивану Николаевичу.

— Скажу, батюшка, скажу,— прошамкала старуха.

— Я сам был болен. Оттого долго не был,— зачем-то солгал он.— Вспоминала меня Анна Алексеевна?— с неестественной простотой добавил он и так и впился глазами в лицо старухи. Та быстро отвела свой взгляд и стала оправлять платье на покойнице.

— А не знаю, батюшка. Ничего я не знаю, ничего...

Павел Аркадьевич почему-то усмехнулся, потом неловко, боком поклонился телу и опять так же осторожно и бесшумно направился к выходу. На пороге он невольно обернулся. Он знал теперь, что выходит в последний раз из дома, где он был принят как друг и куда он внес позор, страдание и смерть.

Но в чем бы он мог серьезно обвинить себя, если даже она, Анна Алексеевна, никогда не упрекала его? Он остался все тем же, каким он заслужил ее любовь. И любовь ее была такая же, как его, не выше и не чище. Иначе зачем бы она стала обманывать своего мужа? Она верила в его превосходство, и она верила, что такие люди, как он, стыдятся любить ради одного наслаждения, ради одной прихоти. На каком основании верила она этому?

И вдруг он увидал, что старуха схватила голову покойной и приподняла ее над подушкой. Тень от зажженной свечи скользнула по лицу Анны Алексеевны, и это лицо на один миг вернулось к жизни. Ему показалось, что она приподнялась, чтобы еще раз взглянуть на него.

Бессознательный ужас, полный малодушия, охватил его и словно приковал его к месту.

— Нет, она уже не встанет! не встанет!— подумал он, стараясь успокоить себя. И ему яснее представилось, что если бы она встала теперь, если бы она взглянула на него своими угасшими очами — он уже не нашел бы в себе силы ответить ей обычными усмешкой и презрением. И не поверила бы она теперь в это презрение. Эти глаза не опустились бы перед ним, а читали бы глубоко в его душе.

— Разве я не была такою, какою ты хотел видеть меня? Ты испугался моей любви — я успокоила тебя.

И он уже не мог бы отрицать, что не видел, не знал и этой любви, и тоски ее. И не мог бы скрыть, что он боялся их, потому что сам не умел, не мог любить; глумился над ними, потому что чувствовал их силу и правоту.

— Не встанет... не встанет...

Павел Аркадьевич быстро спустился по лестнице, накинул на плечи свою шинель и вышел на улицу.

— Расчувствовался! — думал он минуту спустя.— Но что же в том, если я и видел, и знал? Я тоже... любил, как мог. А опасения мои оказались ложными: ни насильственной смерти, ни записки. Жаль ее, конечно. Однако ни одного порядочного извозчика!

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Так было заведено, что Артамон являлся в усадьбу ранней весной, просил доложить о нем барыне, а барыня звала его к себе в кабинет.

— А! Пришел! — говорила она, когда Артамон, почтительно вытянувшись, останавливался в дверях.

— Точно так-с, пришел,— мрачно, будто нехотя, отвечал он.

— Что-то будто рановато?

— Никак нет-с. И в прошлом году в ту же пору.

— Да ведь я говорила тебе в прошлом году, чтобы ты больше не приходил!

Артамон мрачно молчал.

— Вспомни, был ли хоть день прошедшее лето, чтобы ты не напился пьян?

— Помилуйте! — говорил Артамон.

— Чего мне тебя миловать! Если я тебя помилую, ты опять будешь пить.

— Нет, уж теперь будьте покойны!

— Ну и врешь. Знаю, что врешь.

Некоторое время тянулось молчание. Артамон неподвижно стоял в дверях, а барыня сидела у стола и, хмурясь, думала.

— Прикажите остаться? — мрачно просил Артамон.

Барыня только вздыхала и пожимала плечами.

— Говорила я тебе не приходить,— продолжая казаться злопамятной, повторяла она.— Слово дала, что не возьму тебя больше. Так ты мне надоел, Артамон, так надоел...

— Извольте выслушать: докладываю вам... Господи! Да неужели я?

Артамон точно чувствовал приближение конца своей пытки, почему-то ободрялся, оживлялся, и его мрачное лицо постепенно становилось яснее, мягче, привлекательнее.

— Нужно ожидать, молодые господа опять приедут? — спрашивал он.

— Как же! Жду их на лето, жду! — совсем дружелюбно отвечала барыня.— Я к ним зимой в Петербург ездила. Навещала.

— Ездили? — не то удивляясь, не то радуясь, повторял Артамон.— Деточки-то... здоровы? Ничего?

— Выросли, и не узнаешь! Большие стали внуки-то мои.
— Большие?
— Большие! У Костеньки вот все ножка...
— Не зажила?— горестно удивлялся Артамон и, захваченный интересом разговора, приближался на один шаг и вытягивал шею.

Долго говорили о болезни Кости, о разных семейных новостях и домашних делах. И вдруг барыня опять вспомнила, что надо быть строгой с Артамоном и что вопрос о его поступлении на службу еще не решен.

— А что мне делать с тобой — я уж и не знаю,— удрученно вздыхала она.— Навязался ты мне на мою беду. Ну, помни, Артамон: первый раз, как ты напьешься, получай расчет!

— Слушаюсь!— весело отвечал Артамон.— Будьте покойны!

И с этой минуты он вступал в свою сложную должность и начинал орудовать.

По своей профессии Артамон был поваром, но в Белом Ключе он, кроме того, был еще огородником и столяром и маляром, а так как его жена содержала в городе прачечную и он пригляделся к ее делу, то наблюдал за глажением белья, давал полезные советы, а часто, раздосадованный неловкостью или бестолковостью своей ученицы, сам брался за утюг и щипцы и плоил и гладил. Он не только не боялся дела, но искал его, увлекался им. Целый день то здесь, то там мелькала его длинноногая, сутулая фигура с засученными рукавами, с маленьким картузом, сдвинутым на затылок, с выпученными, озабоченными глазами.

Каждый год он приходил оборванцем, едва обутый, с отросшими волосами и небритым лицом, но сейчас же преображался в приготовленную для него пару с барского плеча, предварительно выпарившись в бане и беспощадно окорнав всю растительность на голове и лице.

Один раз барыня была очень удивлена, увидев, что он бегает по двору во фраке. Но горничная объяснила ей, что больше ничего старого нет и что Артамон был даже особенно доволен, получив такую форму: он нашел ее легкой и удобной.

Дворня любила Артамона, но все, в особенности бабы, всегда издевались над ним.

— Артамон! Аль тебя жена опять выгнала?— спрашивали его.

— Она? Меня?— с негодованием переспрашивал он,— да я ее сам выгоню, мразь этакую! Я на нее не погляжу...

— Ну и видать, что выгнала,— звонко тараторила черная

кухарка, которая готовила и для барыни зимой, когда она жила одна.— Уж это беспременно так! Зачем ты ей, пьяница, нужен?

Артамон багровел и становился смешон и жалок.

Все знали о его упорной, нежной и страстной любви к жене, и эта тема казалась самой забавной, когда была охота пошутить и посмеяться. В особенности весело было возбуждать ревность Артамона.

— Она и принимает-то тебя, только разве когда с дружком поссорится.

— А помирится — тебя и вон!

— Какой ты муж? Разве ты муж? Тоже мужем зовется!

Артамон хорохорился, бранил жену, искривляя лицо в самую презрительную гримасу, с ненавистью грозил ей кулаком, но не выдерживал до конца и пускался в бегство. Вслед ему раздавался хохот, и в этом хохоте не было ни злобы, ни дурного умысла, но последствием таких разговоров было то, что Артамон запивал, а если удерживался громадным усилием воли, то долго ходил сам не свой, точно больной.

Одно лето он жил в Белом Ключе вместе с женой. Это было в первый год их супружества, и тогда Артамон был очень строг и суров, а жена очень робка и покорна. Казалось, она была без ума влюблена в своего Артамошу, а он слегка пренебрегал ею, слегка снисходил и никогда не упускал случая доказать ей свое превосходство и свою неограниченную власть над ней. Пил он уже и тогда, но и пьяный никогда не ронял своего достоинства, а даже особенно поддерживал его.

— Ты видишь: я пьян,— говорил он жене, значительно хмуря брови.— Что ты в этом можешь понимать? Ничего! Ты совсем бессловесная, темная тварь. Вот хотя бы теперь взять такое слово, как беф а ла Строганов или омлет о финзерб! Разве без образования выговоришь? А вот мне наплевать. Омлет о финзерб. Слышала?

— Конечно, вы образованный, Артамон Филиппович,— искренно признавала молодая.

— А ты думаешь, это все? Ты думаешь, я тебе все открыл?

Артамон пробовал презрительно свистнуть, но не мог.

— А почему не открыл? Потому что ты недостойна. Потому что ты оценить не... тово.

— Я перед вами совсем глупая, Артамон Филиппович.

— Верно!— соглашался муж.— Вот, чувствуй, и я... я тебя не оставлю. Ничего! Ты только меня уважай, а я ничего!

Но важничать Артамону пришлось не долго.

Феклуше надоело бедствовать с мужем, и она начала поступать на места: поступала и, продержавшись более или менее короткий срок, принуждена была уходить из-за мужа, который устраивал буйные сцены, требуя жену к себе домой. Никакого «дома» не было, потому что Артамон зимой только пьянствовал, а работал редко, в тех случаях, когда его приглашали на гастроли на купеческие свадьбы, вечера и балы; часто не было даже угла, где приютиться на ночь, но Артамон все-таки «снимал» жену с места и торжественно уводил ее за собой.

— Потому я глава,— с достоинством объяснял он,— и жена обязана меня уважать. Какой же это порядок будет, если такой бессловесной твари волю дать?

Он был вполне искренно убежден в своей правоте, а Феклуша, хотя и плакала и возмущалась, но, по-видимому, бессознательно разделяла его точку зрения и где-то в глубине своего сердца не только оправдывала его, но благоговейно трепетала перед его непреклонностью и величием. Он еще продолжал поражать ее воображение.

Но случилось, что в одной пьяной драке Артамона едва не убили, и потом он долго отлеживался в больнице со сломанными ребрами. Феклуша в это время была на месте, навещая его, приносила гостинцы, баловала его, как ребенка, а он, больной и испуганный за свою жизнь, стал мягким, робким даже с женой; многократно просил у нее прощения за все ее прошлые невзгоды и стал задумываться и говорить о своей душе.

Он счел свою жизнь слишком пышной и решил искать более скромной доли.

Феклуша слушала его и часто плакала, плакала, не поднимая на него глаз и не проронив ни одного словечка, а когда уходила, то вытирала лицо и крестилась, точно оставляя за собой не живого человека, а дорогого покойника.

Почти через полгода, когда Артамон вышел из больницы, у Феклуши уже было неизвестно откуда взявшееся маленькое прачечное заведение, и жила она уже не у чужих людей, а у себя дома, где и для Артамона было приготовлено место. Муж не стал ее много расспрашивать, а просто побил, насколько хватило сил, а потом начал помогать по делу: писать счета, носить узлы и корзины, а иногда, из любви к искусству, даже гладить и складывать белье.

Вы, бабье, ничего в совершенстве дойти не можете, презрительно говорил он. Что кухарке против повара

не потрафить, то и во всем прочем. Захочу, так крахмальные сорочки отделывать стану, что куда вам, курицам.

Курицы только смеялись и подзадоривали. Но Артамон до совершенства не дошел, а получил где-то по счету деньги и пропал с ними на несколько дней. Феклуша нашла его и привела назад. Он раскаялся, еще с большим жаром принялся за работу, но опять свихнулся.

И с тех пор установился такой порядок вещей: Артамон некоторое время жил дома, днем усердно работал, а вечером читал книги или писал счета; в один прекрасный день он ухитрялся получить деньги и исчезал, а Феклуша уже не трудилась разыскивать его и уговаривать вернуться. Он возвращался сам. И когда он возвращался пьяный, она опять выгоняла его, несмотря на все его мольбы или угрозы, выталкивала его на улицу без всякой церемонии. Но если он приходил трезвый, она не только пускала его, но, как виноватая, робела и заискивала перед ним. И тогда он бил ее, точно исполнял какой-то важный, священный долг, и она покорно выносила эти побои как периодическое искупление того греха, который она чувствовала за собой.

На лето Артамон оставлял жену на полную ее ответственность и свободу и уходил в Белый Ключ. Его манили не только сытая, привольная жизнь, жалованье и подарки, его тянула к себе земля, свободная от камня, душистая черная земля, из которой он вскапывал высокие, мягкие грядки, точно стлал пуховые постели; тянули к себе тишина, ширь и простор, «легкость», как он коротко определял свое отношение к природе.

При первых признаках приближения весны он начинал томиться в городе, тосковать. Он мог бы захиреть от тоски, если бы не был уверен, что старая барыня никогда не исполнит своей угрозы и не прогонит его из Белого Ключа.

Первое время после своего прихода он работал, как вол.

— Александра Ивановна! Скамейки садовые не прикажете ли покрасить? Пооблупились!— Слушаю-с!

— Смею доложить: решеточка у балкона расшаталась.— Слушаю-с!

— Прикажите лишнюю грядочку под капусту Сафу выкопать.— Слушаю-с!

Время приготовлений было для него самое веселое и радостное время. Вот-вот взойдет щеточкой красноватая травка, вот-вот покажется из земли зеленый глазок; вот высунется белая трубочка и начнет вытягиваться, развертываться. Он ждал, надеялся и тревожился. И, чтобы посмеяться над ним, кто-нибудь из дворни кричал ему в окно кухни:

— Артамон! А куры-то на грядки забрались, да то-то разрыли! Страсть!

Тогда он бросал все и бежал, и, судя по его испуганному лицу и дико вытаращенным глазам, можно было подумать, что случилось самое ужасное и непоправимое несчастье.

Но вот плоды его трудов начинали выясняться, и, чем крупнее были неудачи, тем стремительнее он падал духом. К этому времени у него, по всей вероятности, была даже потребность упасть духом, и едва ли бы он был доволен, если бы не нашел для этого достаточного повода. Но, к его счастью, парники почти никогда не оправдывали его ожиданий, все, что должно было быть готово, запаздывало, и бодрое, радостное настроение Артамона переходило в гнетущую, тяжелую тоску.

— Теперь запьет,— говорил дворник.— Это у него перед водкой тоска. Шабаш!

Старая барыня Александра Ивановна упорно старалась узнать, откуда Артамон брал деньги на пьянство; старалась она также устроить так, чтобы Артамону неоткуда было взять водки, и казалось ей, что ни денег, ни водки не могло быть, а Артамон все-таки был пьян.

— Как! Опять Артамон? — с неодобрительным удивлением спрашивала невестка, приехавшая с детьми из Петербурга.

— Разве никогда не прогонят этого человека, который всегда пьян? — пожимала плечами француженка.— Без него, значит, никак нельзя обойтись?

Александра Ивановна старалась не замечать этих вопросов и делала вид, что она даже вообще ничего не замечает и что все обстоит благополучно. Если обед был испорчен, она говорила вскользь о том, что плита давно не в исправности и что непременно надо позвать печника. Если вдруг оказывалось, что на огороде нет самых необходимых овощей, она находила это вполне естественным, так как погода стояла или слишком жаркая, или слишком холодная, или залил дождь, или, от суши, появился червь. На вид она была совершенно искренной и спокойной, и на вид и невестка и француженка тоже были спокойны, молча выслушивая ее объяснения; но на самом деле было совершенно иначе.

— Это какой-то пунктик, этот Артамон!— с злой досадой думала невестка.— Он скоро будет нас голодом морить! Он нам на шею сядет! Александра Ивановна, кажется, предпочитает выжить нас, только бы не отказать ему.

— Вы не думаете, что дети подвергаются опасности? —

спрашивала ее француженка.— Пьяный человек! Разве можно знать?

Но бесконечно больший гнев на Артамона кипел в груди спокойной и ничего не замечающей Александры Ивановны. Этот гнев был иногда так велик и мучителен, что ей казалось возможным ударить его собственноручно, выгнать его из усадьбы без гроша или послать за урядником и приказать ему запереть пьяного на сутки «в холодную».

Боясь быть слишком жестокой, она избегала в этом настроении встречи с Артамоном и просила не пускать его к ней, если бы он пришел за каким-либо делом.

— Видеть его не могу!— говорила она старухе горничной, от которой у нее не было тайн.

— Да ведь он, нельзя сказать, он работает,— вступалась за него горничная.

— Он в суп сахару вместо соли посыпал!— чуть не плача, говорила Александра Ивановна.

— Ошибки с кем не бывает! А он ничего. Сейчас посуду чистит. Конечно, не трезвый. Уж как станет плакать и жене письмо писать, значит, не трезвый. Акулька у него письмо стащила, и в людской Степан разбирал. «Феклуша моя,— пишет,— Феклуша, сердце мое, вспомни, как мы с тобой стояли и золотые венцы над нами держали». Уж так-то складно!

Горничная отвертывалась и вытирала глаза.

— А Костеньку нашего как он жалеет,— продолжала она.— Намедни, пьян-пьян, а пробрался в кусты к нему под окошко, да потихоньку от француженки первых ягодок земляники ему передал. Еще никто ее не видел, а Артамон Костеньке нашел. И птичек он для него ловит, и палочки вырезает, и корзиночки плетет. Не допускают его к нему, а он в кустах засядет, ждет. Если Костенька ему что прикажет, то он рад, рад!

— Ах, наказание мое!— вздыхала Александра Ивановна.— Пусть Акуля приглядывает за ним, когда он готовит. Да не докладывайте вы за столом, чего нет; а нет, так и раздобыть можно, к Авсеевым, что ли, дослать.

Насколько барыня избегала встречаться с Артамоном, настолько сам Артамон искал случая попасться на глаза барыне. Кажется, его постоянно томило опасение, что она сердится на него, что отношение ее к нему изменилось, и он стремился или рассеять этот страх, или удостовериться в его основательности.

— Сердится на меня барыня?— спрашивал он.

— Мало того, что сердится, расчет тебе готов. Собирайся!— отвечали ему.

Он никогда не мог привыкнуть к этой шутке.

Руки его опускались, колени слабели, и выпученные глаза принимали такое выражение ужаса, будто ему только что объявили смертный приговор.

Через несколько минут он уже мчался разыскивать Александру Ивановну и пугал ее своим неожиданным, стремительным появлением.

— Реестрик пожалуйте! — говорил он, протягивая листок бумаги и жадно и жалко заглядывая ей в глаза.

— Какой реестрик?

— Всей посуды реестрик: сковород, кастрюль.

Зачем мне?

— Для порядку-с.

Она брала, просматривала для виду и качала головой.

— Эх, Артамон! — говорила она. — Несносный ты, глупый, пропащий человек! А я верила, что ты не будешь больше пить; я тебя простила. А ты что делаешь? Что? Неблагодарный ты, бессовестный, бессердечный. Стыда у тебя никакого нет и ничего нет. Надоел ты мне и противен ты мне до крайности...

Артамон слушал и можно было подумать, что впечатление, которое производили на него эти слова, было более всего похоже на впечатление от очень красивой и печальной музыки: они вызывали в нем и боль, и наслаждение, и близость слез, и боязнь, что эта мука скоро кончится, что опять все будет, как всегда.

— Служу до пота-крови, — мрачно говорил он и вдруг валился ей в ноги.

— Артамон, что ты! — испуганно вскрикивала она.

Он сейчас же поднимался и ударял себя кулаком в грудь.

— Богу снесу, — дрожащими губами произносил он. — Ему, батюшке. Ему одному.

И он исчезал так же стремительно, как появлялся.

И только изредка бывал весел. В таких случаях кругом него собиралась вся дворня, а он кривлялся, пел песни, ходил на четвереньках. Дворня хохотала, слышались просьбы представить то то, то другое.

Тогда на выручку прибегала старуха горничная и с негодованием разгоняла зрителей.

— Потеха вам? — стыдила она их. — Образ-то человеческий! Ведь образ человеческий!

И ее понимали, и действительно стыдились, и расходились молча и покорно.

Зато на те несколько дней, когда приезжал молодой барин, Артамон забирал себя крепко в руки и не пил. Готовил он

в эти дни так торжественно, точно священнодействовал, и, отпуская блюдо, тихонько крестился. Для этого случая он выбирал фартук и колпак из лучших и гладил собственноручно.

— Или пойдешь барину представляться? — спрашивали его.

Он молчал. И никогда никто не мог понять, почему он так боялся барина и так благоговел перед ним: из-за того ли, что он носил его старые пиджаки и фраки, из-за того ли, что он щедро получал от него на чай, или из-за того, что тот никогда не сказал ему ни слова, не проявил к нему никакого чувства и был ему так же чужд и непонятен, как если бы жил на другой планете.

«А ведь раньше простой был, как Костенька,— удивлялся он.— И ведь сынок нашей барыни».

Свое воздержание Артамон ставил себе в большую заслугу и, когда барин уезжал, вознаграждал себя за него в полной мере, причем уже не стыдился, а пил гордо, с сознанием своего права, так что даже позволял себе роскошь пошуметь и поскандалить.

— Сам барин мне на водку пожаловал,— говорил он.— Разве он не понимает? Он все понимает! «Вижу,— говорит,— Артамоша, жизнь твоя не легка есть. Вижу,— говорит,— старание твое и вижу страдание твое. Все вижу! Гордость,— говорит,— в тебе велика, Артамоша. Пышной ты жизни человек, и сердце в тебе большое и тяжелое. Нельзя,— говорит,— тебе не пить. Посему жалую тебе пять целковых на водку».

— «Все вижу и все понимаю»,— продолжал фантазировать Артамон и часто плакал от умиления.

— Вот барин! Вот образованный-то человек! Наскрозь все видит, а не то что...

Осенью Артамон уходил в город.

— И не являйся больше!— решительно говорила ему Александра Ивановна.— Ни за что больше не возьму! Слышишь! Надоел ты мне так, Артамон, что сил моих нет.

— Не приду-с!— мрачно обещал Артамон.— Думаю в городе ресторацию открыть.

Исчезал он не сразу, а постепенно: сперва уходил из усадьбы на село, из села переселялся на станцию.

— Не ушел еще? — спрашивала Александра Ивановна.

— Кажись, теперь совсем,— отвечали ей.— В колокол ударил.

Не ударив в колокол, Артамон не уезжал. Он говорил и думал про себя, что он пышной жизни человек, и иногда

подтверждал это на деле. Одинокий, протяжный удар извещал население, что Артамон покидает этот край. Покидал он его чаще всего в самом жалком виде, таким же оборванцем, каким и приходил.

И в одну весну Артамон не явился. Уже давно прилетели жаворонки, и земля стала просыхать на пригорочках, и солнышко начало припекать, и верба стояла в серебряном уборе, точно в цветах.

— Не пришел Артамон? — спрашивала Александра Ивановна.

— Не видать что-то,— отвечала старуха горничная.

— Придет наказание мое!— говорила барыня и вздыхала.

Солнышко выгнало зеленую травку, и на тополях набухли почки. Вернулись грачи в старые гнезда, и скворцы скрипели в скворешнике.

— Не приходил Артамон?— крикнула с крыльца Александра Ивановна.

— Никак нет-с!— отозвался кучер.

Ночью прошла гроза с ливнем. На пруду кричали лягушки, а в саду защелкал первый соловей.

— Знаешь,— говорила барыня своей старой горничной,— я думаю, уж жив ли Артамон?

— Смерть придет, не спросится,— сказала старуха.

— Знаешь, я думаю,— продолжала барыня,— либо его в живых нет, либо... уж и не знаю.

— Жив был бы, пришел бы,— спокойно сказала горничная.— Вернее всего помер. Может быть, простудился, а может быть, и убили.

— А я вот все думаю, отчего я ему никогда не сказала ни одного доброго слова? Бранила я его много, а доброго слова никогда не сказала.

— Он сам себя губил,— рассудительно сказала горничная.— Пил очень. Вам это было не особенно приятно. Да.

— Ну, конечно, неприятно. Но я ему никогда не сказала, что я его жалею. А помнишь, как он нашего Костю любил?

— Да ведь он, нельзя сказать... Он работал,— сказала старуха.— Попросишь его о чем, он с превеликим удовольствием. Только он себя губил. А образ у него был человеческий.

Александра Ивановна вздохнула.

— Не знает он, что я его жалею,— сказала она.— Вот эта наша раздражительность... Все дурное спешила сказать, а доброе-то... не успела.

Воспоминания







Много, много у меня времени, лежа, думать и вспоминать. Ну, думы тяжелые, и думать больно. А вспоминать можно с выбором, и часто от воспоминаний вся душа точно пронижется солнцем и станет легкой и радостной. Отчего я не начала давно записывать такие отрывочные воспоминания? Читать мне часто нечего, делать нечего. Приятно вспоминать, и записывать приятно. Немного, а иногда и очень физически трудно и неудобно писать. Ну, когда могу. Отрывки. Без всякой последовательности, без всякой цели, без всяких претензий на «воспоминания», на литературность. Сны моей жизни.

А. П. ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

И вот уже ветром разбиты, убиты
Кусты облетелой ракиты,
И прахом дорожным
Угрюмая старость легла на ланиты.
Но в темных орбитах
Взглянули, сверкнули глаза
Невозможным...
И радость, и слава —
Все в этом сиянье бездонном
И дальном.
Но смятые травы
Печальны.
И листья крутятся в лесу обнаженном...
И снится, и снится, и снится:
Бывалое солнце!
Тебя мне все жальче и жальче...
О глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?

(А. Блок)

...уйди в себя, в свои воспоминанья, и там глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобой своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской и силой весны!

(Тургенев)

I

24 января 1889 года я получила записочку от сестры: «Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Сестра была замужем за редактором-издателем очень распространенной газеты[1]. Она была много старше меня. Маленькая, белокуренькая, с большими мечтательными глазами и крошечными ручками и ножками, она всегда возбуждала во мне чувства нежности и зависти. Рядом с ней я казалась самой себе слишком высокой, румяной и полной. Кроме того, я была москвичкой и только второй год жила в Петербурге. У нее бывали многие знаменитости: артисты, художники, певцы, поэты, писатели. Да и ее прошлое, ее замужество по любви с «увозом» прямо с танцевального вечера, в то время как отец, ненавидевший ее избранника, особенно зорко наблюдал за ней, все это окружало ее в моих глазах волшебным ореолом. А что представляла из себя я! Девушку с Плющихи, вышедшую замуж за только что окончившего студента, занимавшего теперь должность младшего делопроизводителя департамента

народного просвещения[2]. Что было в моем прошлом? Одни несбывшиеся мечты.

Была мечта — сделаться писательницей. Я писала и стихами и прозой с самого детства. Я ничего в жизни так не любила, как писать. Художественное слово было для меня силой, волшебством, и я много читала, а среди моих любимых авторов далеко не последнее место занимал Чехонте. Он печатался, между прочим, и в газете, издаваемой моим зятем, и каждый его рассказ возбуждал мой восторг. Как я плакала над Ионой, который делился своим горем с своей клячей, потому что никто больше не хотел слушать его. А у него умер сын. Только один сын у него был и — умер. И никому это не было интересно. Почему же теперь, когда Чехов это написал, всем стало интересно, и все читали, и многие плакали? О, могущественное, волшебное художественное слово!

«Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Я сама кормила своего сынишку Левушку, которому было уже девять месяцев, но весь вечер я могла быть свободна, так как после купанья он долго спокойно спал, да и няня у меня была надежная, очень преданная и любящая. Она и меня вынянчила в свое время.

Миша был занят, да его и не интересовало знакомство с Чеховым и я ушла одна.

Он ходил по кабинету и, кажется, что-то рассказывал, но, увидев меня в дверях, остановился.

— А, девица Флора,— громко сказал Сергей Николаевич, мой зять.— Позвольте, Антон Павлович, представить вам девицу Флору. Моя воспитанница.

Чехов быстро сделал ко мне несколько шагов и с ласковой улыбкой удержал мою руку в своей. Мы глядели друг на друга, и мне казалось, что он был чем-то удивлен. Вероятно, именем Флоры. Меня Сергей Николаевич так называл за яркий цвет лица, за обилие волос, которые я еще заплетала иногда в две длинные, толстые косы.

— Знает наизусть ваши рассказы,— продолжал Сергей Николаевич,— и, наверное, писала вам письма, но скрывает, не признается.

Я заметила, что глаза у Чехова с внешней стороны точно с прищипочкой, а крахмальный воротник хомутом и галстук некрасивый.

Когда я села, он опять стал ходить и продолжать свой рассказ. Я поняла, что он приехал ставить свою пьесу «Иванов», но что он очень недоволен артистами, не узнает своих

героев и предчувствует, что пьеса провалится. Он признавался, что настолько волнуется и огорчается, что у него показывается горлом кровь. Да и Петербург ему не нравится. Поскорее бы все кончить и уехать, а впредь он дает себе слово не писать больше для театра. А ведь артисты прекрасные и играют прекрасно, но что-то чужое для него, что-то «свое» играют.

Вошла сестра Надя и позвала всех к ужину. Сергей Николаевич поднялся, и вслед за ним встали и все гости. Перешли в столовую. Там были накрыты два стола: один, длинный, для ужина, а другой был уставлен бутылками и закусками. Я встала в сторонке у стены. Антон Павлович с тарелочкой в руке подошел ко мне и взял одну из моих кос.

— Я таких еще никогда не видел,— сказал он. А я подумала, что он обращается со мною так фамильярно только потому, что я какая-то девица Флора, воспитанница. Вот если бы он знал Мишу и знал бы, что у меня почти годовалый сын, тогда...

За столом мы сели рядом.

— Она тоже пописывает,— снисходительно сообщил Чехову Сергей Николаевич.— И есть что-то... Искорка... И мысль... Хоть с куриный нос, а мысль в каждом рассказе.

Чехов повернулся ко мне и улыбнулся.

— Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь, правдиво, искренно. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Мое дело писать. И я могу писать про все, что вам угодно,— прибавил он с улыбкой.— Скажите мне написать про эту бутылку, и будет рассказ под таким заглавием: «Бутылка». Живые, правдивые образы создают мысль, а мысль не создает образа.

И, выслушав какое-то льстивое возражение от одного из гостей, он слегка нахмурился и откинулся на спинку стула.

— Да,— сказал он,— писатель это не птица, которая щебечет. Но кто же вам говорит, что я хочу, чтобы он щебетал? Если я живу, думаю, борюсь, страдаю, то все это отражается на том, что я пишу. Я правдиво, то есть художественно, опишу вам жизнь, и вы увидите в ней то, чего раньше не видали, не замечали: ее отклонение от нормы, ее противоречия...

Он неожиданно повернулся ко мне.

— Вы будете на первом представлении «Иванова»? — спросил он.

— Вряд ли. Трудно будет достать билет.

— Я вам пришлю,— быстро сказал он.— Вы здесь живете? У Сергея Николаевича?

Я засмеялась.

— Наконец я могу сказать вам, что я не девица Флора и не воспитанница Сергея Николаевича. Это он так зовет меня в шутку. Я сестра Надежды Алексеевны и, вообразите, замужем и мать семейства. И так как я кормлю, я должна спешить домой.

Сергей Николаевич услыхал, что я сказала, и закричал мне:

Девица Флора, придут за тобой, если нужно. Мы живем в двух шагах,— объяснил он Антону Павловичу.— Сиди. Спит твой пискун. Антон Павлович, не пускайте ее.

Антон Павлович нагнулся и заглянул мне в глаза. Он сказал:

У вас сын? Да? Как это хорошо.

Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да, в сущности, ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много! У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные.

— Я опять сюда приду,— сказал Антон Павлович.— Мы встретимся? Дайте мне все, что вы написали или напечатали. Я все прочту очень внимательно. Согласны?

Когда я вернулась домой, Левушку уже пеленала няня, и он кряхтел и морщился, собираясь покричать.

— У меня сын? Как это хорошо,— сказала я ему, смеясь и радуясь.

Миша вошел в детскую следом за мной.

Взгляни на себя в зеркало,— сердито сказал он.— Раскраснелась, растрепалась. И что за манера носить косы! Хотела поразить своего Чехова. Левушка плачет, а она, мать, с беллетристами кокетничает.

Слово «беллетрист» было у Миши синонимом пустобреха. Я это знала.

— Чехов — беллетрист?— сухо спросила я.

И я чувствовала, как я потухала. Чувствовала, как безотчетная радость, так празднично осветившая весь мир, смиренно складывала крылья. Кончено! Все по-прежнему. Почему жизнь должна быть легка и прекрасна? Кто это обещал?

II

Прошло уже три года с моего первого свидания с Чеховым. Я часто вспоминала о нем и всегда с легкой мечтательной грустью. А у меня уже было трое детей: Лева, Лодя и грудная Ниночка. Миша был примерным отцом. Чтобы увеличить средства к жизни, он взял еще вечернюю работу, а все свободное время возился и нянчился с детьми.

Несомненно, наше семейное счастье окрепло. Миша как-то сказал мне:

— Ну что, мать? Пришпилили тебе хвост?

Я хотела заниматься литературой. Гольцев[3] как-то предложил мне принести ему все, что я написала, и затем стал заставлять меня работать. Он объяснял мне недостатки моих рассказов и требовал, чтобы я их переделывала. Иногда он говорил мне: «Это совсем хорошо, можно было бы даже напечатать, но вам еще рано. Поработайте».

Когда я ему сказала, что выхожу замуж, он огорченно воскликнул:

— Ну, теперь кончено! Теперь из вас ничего не выйдет!

А я тогда дала себе слово, что ничего не «кончено», что я буду работать и что замужество ничему не помешает. Но я ошиблась! Сразу жизнь сложилась так, что у меня совсем не было времени писать. Миша до обеда был в департаменте. Казалось бы, я могла быть свободной и делать то, что я хочу, тем более что у меня была прислуга. Но это только так казалось. Весь день уходил на мелочи: я должна была идти за покупками и брать припасы именно там, где назначал Миша: кофе на Морской, сметану на Садовой, табак на Невском, квас на Моховой и т. д.

И должна была делать соус к жаркому сама, а не поручать это дело кухарке; я должна была набить папиросы. И еще главной заботой моей жизни были — двери. Двери должны были быть плотно закрыты весь день, чтобы из кухни не проникал чад, и настежь открыты вечером, чтобы воздух сравнялся. И горе мне, если, возвращаясь со службы, Миша улавливал малейший запах из кухни. Вечером, когда Миша садился писать свою диссертацию, я тогда устраивалась в спальне и принималась за свою рукопись, но сейчас же раздавался окрик:

— Зачем дверь в спальню закрыта? Открой! Да ты что там делаешь? Иди ко мне!

— Мне хочется писать.

— Тебе только хочется, а мне надо. И я тут запутался в предложении. Помоги-ка мне выбраться, беллетристка.

Потом он начинал ходить по комнате и свистеть «Стрелочка».

Когда я ему предложила разойтись, он сказал:

— Из-за чего? Подумай. Ведь все наши недоразумения и ссоры из-за твоего упрямства. Ты привыкла жить безалаберно, руководствуясь только капризами. Ты считаешь это свободой, а я — беспорядком. У меня скучнейшая служба, потому что ты пожелала жить в городе, а не в деревне, где я мог бы заниматься хозяйством. Я с этим помирился. Почему ты не можешь помириться с тем, что тебе приходится держать дом в порядке? Неужели ты можешь требовать, чтобы я только восхищался твоей красотой и говорил тебе любезности? И ты хочешь разводиться? Из-за чего? Стыдно!

Я отлично знала, что он любит меня больше, а не меньше прежнего, что он жить без меня не может. А кроме того, мы уже знали, что у нас будет Левушка, и с одинаковым умилением и нетерпением ждали его.

И его рождение внесло «семейное счастье». Мы стали менее упорно бороться друг с другом, стали уступчивее. Явилось еще двое детей, и уж не могло быть речи о том, чтобы мы разъехались или развелись. Мне «пришпилили хвост», а Мише пришлось очень много работать, чтобы содержать семью.

В эти три года мы очень сжились, сдружились, и мне стало гораздо легче сносить припадки гнева Миши, тем более что он всегда в них горько раскаивался и старался загладить свою вину. Он даже почти не мешал мне писать в свободное время, а я начала печататься, и теперь жизнь казалась мне полной и часто, когда дети не болели, счастливой.

Было только скучно.

III

В январе 1892 года Сергей Николаевич праздновал 25-летний юбилей своей газеты. Торжество должно было начаться молебном, а затем приглашенные должны были перейти в гостиную, где был накрыт длиннейший стол для обеда. В столовой гости не поместились бы, и поэтому там все было приготовлено для церковной службы.

Из гостиной в столовую проходили вдоль балюстрады лестницы из передней, а против лестницы было вделано в сте-

ну громадное зеркало. Я встала у дверей гостиной и могла, не отражаясь сама в зеркале, видеть в нем всех, кто поднимался, раньше, чем они показывались на площадке. Шли мужчины и женщины, много знакомых, много незнакомых, и я с тоской думала о том, какой скучный предстоял день. Посадят меня за стол с каким-нибудь важным гостем, которого я должна буду занимать, а обедать будут долго, долго, часами, и все надо будет ухитряться находить темы для разговора, казаться оживленной и любезной.

И вдруг я увидела в зеркале две поднимающиеся фигуры. Случается, что один взгляд снимает моментальную фотографию и сохраняет ее в памяти на всю жизнь. Я, как сейчас, вижу непривлекательную голову Суворина[4], а рядом молодое, милое лицо Чехова. Он поднял правую руку и откинул назад прядь волос. Глаза его были чуть прищурены, и губы слегка шевелились. Вероятно, он говорил, но я не могла этого слышать. Они поспели к самому началу молебна. Все столпились в столовой, послышалось пение, тогда я тоже вмешалась в толпу. И, пока служили и пели, я вспоминала мою первую встречу с Антоном Павловичем, то необъяснимое и нереальное, что вдруг сблизило нас, и старалась угадать, узнает ли он меня? Вспомнит ли? Возникнет ли опять между нами та близость, которая три года назад вдруг так ярко осветила мою душу?

Мы столкнулись в толпе случайно и сейчас же радостно протянули друг другу руки.

— Я не ожидала вас видеть,— сказала я.

— А я ожидал,— ответил он.— И знаете что? Мы опять сядем рядом, как тогда. Согласны?

Мы вместе прошли в гостиную.

— Давайте выберем место?

— Бесполезно,— ответила я.— Вас посадят по чину, к сонму светил; одним словом, поближе к юбиляру.

— А как было бы хорошо здесь — в уголке, у окна. Вы не находите?

— Хорошо, но не позволят. Привлекут.

— А я упрусь!— смеясь сказал Чехов.— Не поддамся.

Мы сели, смеясь и подбадривая друг друга к борьбе.

— А где же Антон Павлович?— раздался громкий вопрос Сергея Николаевича.— Антон Павлович! Позвольте вас просить...

Надя тоже искала глазами и звала.

Чехов приподнялся и молча провел рукой по волосам.

— Ах, вот они где. Но и вашей даме здесь место рядом с вами. Прошу!

— Да пусть, как хотят,— неожиданно сказала Надя.— Если им там больше нравится.

Сергей Николаевич засмеялся, и нас оставили в покое.

— Видите, как хорошо,— сказал Антон Павлович.— Победили.

— Вы многих тут знаете?— спросила я.

— А не кажется вам,— не отвечая, заговорил Антон Павлович,— не кажется вам, что, когда мы встретились с вами три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?

— Да...— нерешительно ответила я.

— Конечно, да. Я знаю. Такое чувство может быть только взаимное. Но я испытал его в первый раз и не мог забыть. Чувство давней близости. И мне странно, что я все-таки мало знаю о вас, а вы — обо мне.

— Почему странно? Разлука была долгая. Ведь это было не в настоящей, а в какой-то давно забытой жизни?

— А что же мы были тогда друг другу?— спросил Чехов.

— Только не муж и жена,— быстро ответила я.

Мы оба рассмеялись.

— Но мы любили друг друга. Как вы думаете? Мы были молоды... и мы погибли... при кораблекрушении? — фантазировал Чехов.

— Ах, мне даже что-то вспоминается,— смеясь сказала я.

— Вот видите. Мы долго боролись с волнами. Вы держались рукой за мою шею.

— Это я от растерянности. Я плавать не умела. Значит, я вас и потопила.

— Я тоже плавать не мастер. По всей вероятности я пошел ко дну и увлек вас с собой.

— Я не в претензии. Встретились же мы теперь как друзья.

— И вы продолжаете вполне мне доверять?

— Как доверять?— удивилась я.— Но ведь вы меня потопили, а не спасли.

— А зачем вы тянули меня за шею?

Антона Павловича не забывали присутствующие. Его часто окликали и обращались к нему с вопросами, с приветствиями, с комплиментами.

— Я сейчас говорю соседу: «Какая конфетка ваш рассказ...»

Эта «конфетка» нас ужасно рассмешила, и мы долго не могли смотреть друг на друга без смеха.

— А как я вас ждала,— вдруг вспомнила я.— Как я вас ждала! Еще когда жила в Москве, на Плющихе. Когда еще не была замужем.

— Почему ждали?— удивился Антон Павлович.

— А потому, что мне ужасно хотелось познакомиться с вами, а товарищ моего брата, Попов, сказал мне, что часто видит вас, что вы славный малый и не откажетесь по его просьбе прийти к нам. Но вы не пришли.

— Скажите этому вашему Попову, которого я совершенно не знаю, что он мой злейший враг,— серьезно сказал Чехов.

И мы стали говорить о Москве, о Гольцеве, о «Русской мысли».

— Не люблю Петербурга,— повторил Чехов.— Холодный, промозглый весь насквозь. И вы недобрая: отчего вы не прислали мне ничего? А я вас просил. Помните? Просил прислать ваши рассказы.

Стали подходить чокаться шампанским. Чокались, кланялись, улыбались. Антон Павлович вставал, откидывая волосы, слушал, опустив глаза, похвалы и пожелания. И потом садился со вздохом облегчения.

— Вот она — слава,— заметила я.

— Да, черт бы ее побрал. А ведь большинство ни одной строчки не прочли из того, что я написал. А если и читали, то ругали меня. А мне сейчас не слов хочется, а музыки. Почему нет музыки? Румын бы сюда. Необходима музыка. Вам сколько лет?— спросил он неожиданно.

— Двадцать восемь.

— А мне тридцать два. Когда мы познакомились, нам было на три года меньше: двадцать пять и двадцать девять. Как мы были молоды.

— Мне тогда еще не было двадцати пяти, да и теперь нет двадцати восьми. В мае будет.

— А мне было тридцать два. Жалко.

— Мне муж часто напоминает, что я уже не молода, и всегда набавляет мне года. Вот и я немного набавляю.

— Не молоды? В двадцать семь лет?

Стали вставать из-за стола. Обед тянулся часа три, а для меня прошел быстро. Я увидела Мишу, который пробирался ко мне, и сразу заметила, что он очень не в духе.

— Я еду домой. А ты?

Я сказала, что еще останусь.

— Понятно,— сказал он, но мне показалось нужным познакомить его с Чеховым.

— Это мой муж, Михаил Федорович,— начала я.

Оба протянули друг другу руки. Я не удивилась сухому, почти враждебному выражению лица Миши, но меня удивил Чехов: сперва он будто пытался улыбнуться, но улыбка не вышла, и он гордым движением откинул голову. Они не сказали оба ни слова, и Миша сейчас же отошел.

Я осталась, но ненадолго: гости стали поспешно расходиться. Хозяева устали.

А дома меня ждала гроза. Мише очень не понравилась наша оживленная беседа за столом, очень не понравилось, что мы не сели там, где нам было назначено.

Но я тогда не ожидала, что еще ждет меня.

Какой-то услужливый приятель рассказал Мише, что в вечер юбилея Антон Павлович кутил со своей компанией в ресторане, был пьян и говорил, что решил во что бы то ни стало увезти меня, добиться развода, жениться. Его будто бы очень одобряли, обещали ему всякую помощь и чуть ли не качали от восторга. Миша был вне себя от возмущения.

Я была ошеломлена, убита. Но когда я немного успокоилась и была в состоянии думать, я сказала себе: а все-таки этого не может быть. Это чья-то злобная выдумка, чтобы очернить в моих глазах Чехова и восстановить против него Мишу. Кому это могло быть нужно? Я решила, что Миша мог слышать эту сплетню только от двух лиц. Одно было вне всяких подозрений, другое... И сейчас же мне вспомнилось, что это другое лицо сидело за юбилейным столом наискось от нас и, по-видимому, очень скучало. Он был писатель и печатал толстые романы[5], но никаких почестей ему не оказывали и даже на верхний конец стола не посадили. К Чехову он обращался с чрезвычайным подобострастием и выражал ему свои восторги, но не было никакого сомнения, что он завидует ему до ненависти, в чем я впоследствии убедилась.

После обеда он сказал мне мимоходом:

— Я никогда не видал вас такой оживленной.

«Он! — решила я.— Конечно, несомненно — он. Выдумал, насплетничал...» Я справилась и узнала, что действительно он участвовал на ужине после юбилея. Я сказала о своих предположениях Мише.

— Наврал? Возможно. Да, это он мне рассказал,— признался Миша.— Но ведь это известная скотина!

Я почувствовала большое облегчение.

Прощаясь, я дала слово Антону Павловичу написать

ему и прислать свои рассказы, и теперь я решила, что это можно сделать, но все-таки в письме упрекнула его. Он сейчас же ответил мне:

«Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться, к тому же обвинение Ваше слишком неясно, чтобы в нем можно было разглядеть пункты для самозащиты. Но, сколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так что ли?

Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у Вас в Петербурге. Или же, если нельзя не верить, то уж верьте всему и в розницу и оптом: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и т. д. Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетни — бесполезно. Думайте про меня, как хотите.

...Живу в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге».

С этих пор началась наша переписка с Антоном Павловичем. Но меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург. Значит, мы больше никогда с ним не увидимся? Не будет больше этих ярких праздников среди моей «счастливой семейной жизни»?

И каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце.

IV

В те случайные промежутки, когда у нас в доме было вполне благополучно: дети здоровы, Миша спокоен и в духе, я часто думала о том, что я пользуюсь в настоящее время самым большим счастьем, которое суждено мне судьбою. Большего и иного не должно быть никогда. Правда, радовали еще успехи по литературе, были письма Чехова. Но писать мне удавалось не много и не часто, потому что дети неизбежно хворали, то врозь, то все вместе, и тогда я могла думать только о них, отдавать все свое время и днем и ночью только им. Да и Мишин несчастный характер прорывался против его воли так неожиданно, что остеречься и уберечься было невозможно. И это делало меня всегда очень несчастной.

Письма Антона Павловича я получала тайком, через почтовое отделение, до востребования, и делала это потому, что

боялась, как бы письмо не пришло в мое отсутствие и не попало бы в недобрый час. Но Миша знал о нашей переписке, и я иногда давала ему некоторые письма на прочтение.

— Ты видишь, как они мне полезны. Я пользуюсь его советами...

— Воображаю, какую ахинею ты ему пишешь. Вот что я желал бы почитать. Дай как-нибудь. Дашь?

Нет, я не дала.

И вдруг зашла ко мне сестра Надя и сказала с хитрой улыбкой:

Постарайся прийти к нам сегодня вечером без Миши. Смотри, только без Миши.

Почему? удивилась я.

А вот увидишь. Знаешь, что я выдумала? Ни за что не угадаешь! «Скучную историю».

Не понимаю.

— Ну, «Скучную историю». Ведь ты читала же.

— Конечно. Но что же ты могла выдумать?

— Помнишь, там: бутылка шампанского, сыр...

— Да ты сегодня ждешь... Чехова?

Я чувствовала, как вся кровь бросилась мне в лицо. Надя засмеялась.

— Потому я и прошу: приходи без Миши. Даже Сережи не будет, он вернется только к двенадцати, и ужинать мы будем все вместе. Придет еще кое-кто...

— У Миши сегодня вечер не свободен, спешная работа,— сказала я.

— Отлично! Будет очень уютно.

Я сказала Мише, что иду «на Чехова». Он нахмурился, но промолчал. Ему нельзя было не пустить меня: это возбудило бы слишком много толков, а он этого боялся.

Антона Павловича не было, когда я пришла к Наде. Она сидела у себя в комнате в капоте и писала. И опять у нее был хитрый вид.

И в это время Петр доложил, что приехал Антон Павлович Чехов.

— Ах, а мне еще надо одеться. Иди, Лида, займи его.

Я пошла. Он стоял в кабинете.

— А как же ваше решение не бывать больше в Петербурге?

— Я, видно, человек недисциплинированный, безвольный... У вас расстроенный вид. Вы здоровы? Все благополучно?

— И здорова, и благополучно, и все хорошо.

Мы сели к круглому столу, на котором стоял поднос с куском сыра и фруктами. Бутылки еще не было.

— Да, я опять в Петербурге... И, вообразите, опять хочется писать пьесу...

Надя вышла не скоро. Мы успели поговорить о театре, о журналах, о редакторах, к которым он меня усиленно посылал.

Петя принес замороженную бутылку.

— Вы узнаете? — спросила Надя, указывая на поднос.

Он сразу не понял.

— «Скучная история»,— напомнила Надя.

Он улыбнулся и откинул прядь волос.

— Да, да...

Скоро в кабинет стали входить гости.

— А Сергей Николаевич только к двенадцати,— говорила Надя.

Разговор стал общим.

Вдруг я спросила Антона Павловича:

— А вы еще не видали Чехова?

— Кого? — удивился он.

— Чехова. Вы когда приехали?

— Я приехал вчера,— отвечал он,— но я сам Чехов.

Я сконфузилась.

— Лейкина, Лейкина![6] — закричала я.— Я знаю, что вы Чехов.

Все засмеялись, а Антон Павлович смеялся и смотрел, как я краснею до слез.

— Нет, я еще не видел Лейкина,— сказал он.— Ведь вы про Лейкина? Наверно про Лейкина? Не про кого другого?

Я тоже начала смеяться и вдруг испугалась, что не смогу остановиться и заплачу, и потихоньку вышла из комнаты.

Когда я вернулась, Чехов встал и пошел мне навстречу. Мы поговорили стоя и как-то незаметно перешли в гостиную.

— Расскажите мне про ваших детей,— попросил Антон Павлович.

О, это я делала охотно!

— Да, дети...— задумчиво сказал Чехов.— Хороший народ. Хорошо иметь своих... иметь семью...

— Надо жениться.

— Надо жениться. Но я еще не свободен. Я не женат, но и у меня есть семья: мать, сестра, младший брат. У меня обязанности.

— А вы счастливы? — спросил он вдруг.

Меня этот вопрос застал врасплох и испугал. Я остановилась, облокотившись спиной о рояль, а он остановился передо мной.

— Счастливы? — настаивал он.

— Но что такое счастье? — растерянно заговорила я.— У меня хороший муж, хорошие дети. Любимая семья. Но разве любить — это значит быть счастливой? Я в постоянной тревоге, в бесконечных заботах. У меня нет покоя. Все силы своей души я отдала случайности. Разве от меня зависит, чтобы все были живы, здоровы? А в этом для меня теперь все, все! Я сама по себе постепенно перестаю существовать. Меня захватило и держит. Часто с болью, с горьким сожалением думается, что моя-то песенка уже спета... Не быть мне ни писательницей, ни... Да ничем не быть. Покоряться обстоятельствам, мириться, уничтожаться. Да, уничтожаться, чтобы своими порывами к жизни более широкой, более яркой не повредить семье. Я люблю ее. И скоро, очень скоро я покорюсь, уничтожусь. Это счастье?

— Это ненормальность устройства нашей семьи,— горячо заговорил Чехов.— Это зависимость и подчиненность женщин. Это то, против чего необходимо восстать, бороться. Это пережиток... Я отлично понимаю все, что вы сказали, хотя вы и не договариваете. Знаете: опишите вашу жизнь. Напишите искренно и правдиво. Это нужно. Это необходимо. Вы можете это сделать так, что поможете не только себе, но и многим другим. Вы обязаны это сделать, как обязаны не только не уничтожаться, а уважать свою личность, дорожить своим достоинством. Вы молоды, вы талантливы... О нет. Семья не должна быть самоубийством для вас... Вы дадите ей много больше, чем если будете только покоряться и мириться. Что вы, бог с вами.

Он повернулся и стал ходить по комнате.

— Я сегодня нервна. Я, конечно, многое преувеличила...

— Если бы я женился,— задумчиво заговорил Чехов,— я бы предложил жене... Вообразите, я бы предложил ей не жить вместе. Чтобы не было ни халатов, ни этой российской распущенности... и возмутительной бесцеремонности.

В гостиную вошел Петя.

— Лидия Алексеевна! За вами прислали из дома.

— Что случилось? — вздрогнув, вскрикнула я.

— Левушка, кажется, прихворнул. Анюта прибежала.

— Антон Павлович, голубчик... Я не вернусь туда прощаться. Вы объясните Наде. До свидания!

Я вся дрожала.

— Не надо так волноваться! Может быть, все пустяки. С детьми бывает... Успокойтесь, умоляю вас.

Он шел со мной вниз по лестнице.

— Завтра дайте мне знать, что с мальчиком. Я зайду к Надежде Алексеевне. Дома выпейте рюмку вина.

Анюта спокойно стояла в передней.

— Что с Левой?

— Да барин меня за вами послал, чтобы вы домой.

— Что у Левы болит?

Анюта, девушка лет семнадцати, служила помощницей старухи няни.

— Знаю только, он проснулся и стал просить пить. А не жаловался. Барин пришел...

Миша сам открыл мне дверь.

— Ничего, ничего,— смущенно заговорил он.— Он уже опять спит, и, кажется, жару нет. Без тебя я встревожился. Без тебя я не знаю, что делать. Пил почему-то. Разве он ночью пьет? Про тебя спросил: где мама? Мама скоро придет? Видишь, мать, без тебя мы сироты.

Он пошел со мною в детскую. Лева спокойно спал. Никакого жара у него не было.

Миша крепко обнял меня, не отпуская.

— Ты моя благодетельная фея. При тебе я спокоен и знаю, что все в порядке.

Мне вспомнилось, как он за обедом разбросал по полу все оладьи, потому что, по его мнению, они не были достаточно мягкими и пухлыми: «Ими только в собак швырять».

— А ты представляешь себе, как ты меня испугал?

— Ну, прости. Сердишься? Уж такая ты у меня строгая. Держишь меня в ежовых. А я все-таки без тебя жить не могу. Ну, прости. Ну, поговорим... Весь вечер без тебя...

А я уже знала теперь. В первый раз, без всякого сомнения, определенно, ясно, я знала, что люблю Антона Павловича. Люблю!

V

Была масленица. Одна из тех петербургских масленнц — без оттепели, без дождя и тумана, а мягкая, белая, ласковая.

Миша уехал на Кавказ, и у нас в доме было тихо, спокойно, мирно.

В пятницу у Лейкиных должны были собраться гости, и меня пригласили. Жили они на Петербургской, в собственном доме.

Я сперва поехала в театр, кажется на итальянскую оперу, где у нас был абонемент. К Лейкиным попала довольно поздно. Меня встретила в передней Прасковья Никифоровна, нарядная, сияющая и, как всегда, чрезвычайно радушная.

— А я боялась, что вы уже не приедете,— громко заговорила она,— а было бы жаль, очень жаль. Вас ждут,— шепнула она, но так громко, что только переменился звук голоса, а не сила его.

— Я задержала? Кого? Что?

— Ждут, ждут...

— Блины? Неужели у вас блины?

— А как же? А как же? — и она расхохоталась и потащила меня за руку в кабинет Николая Александровича. Там было много народу. Лейкин встал и заковылял мне навстречу.

— Очень вы поздно. А-а! в театре были... А муж ваш на Кавказе? Кажется, вы со всеми знакомы? Потапенко[7], Альбов[8], Грузинский[9], Баранцевич[10]...

— Рыбьи стоны![11] — закричала Прасковья Никифоровна и захохотала.

Оставался еще один гость, которого не назвали. Он встал с дивана и остался в стороне. Я обернулась к нему.

— Блин! — крикнула Прасковья Никифоровна.— Вот это блин и есть.

Мы молча пожали друг другу руки.

— Ты, Прасковья Никифоровна... Почему блин? Почему Антон Павлович блин? — недоумевал Николай Александрович.

Все опять заняли свои места.

— Вот я говорю,— возобновляя прерванный разговор, заговорил Николай Александрович, обращаясь ко мне,— я ему говорю,— кивнул он на Чехова,— что жалко, что он со мной не посоветовался, когда писал свой последний рассказ. Что ж. Я не говорю. Он написал хорошо, но я бы написал иначе. И было бы еще лучше. Помните у меня — видны из подвального этажа только идущие ноги: прошмыгали старые калоши... просеменили дамские туфельки, пробежали рваные детские башмаки. Ново. Интересно. Надо уметь сделать рассказ. Я бы сделал иначе.

Антон Павлович улыбнулся.

— Ваш подвальный этаж вам чрезвычайно удался,— заметил кто-то из гостей.

И сейчас же образовался целый хор хвалителей. Вспоминали другие рассказы, смеялись, удивлялись юмору.

А мне вспомнились слова Нади: «Ты знаешь? Он совсем не думает, что пишет смешное. Он думает, что пишет очень серьезно. Ведь он описывает с натуры, со своих и жениных родственников. Даже с себя. Выходит очень смешно, а ему кажется, что это серьезно. Он сам не замечает смешного, почему он пишет, а не торгует в лавке? Странный талант!»

Скоро позвали ужинать. Было всего очень много: и закусок, и еды, и водки, и вин, но больше всего было шума. Только один хозяин сидел серьезный и как бы подавленный своими заслугами и как литератор, и как думский деятель, и как гостеприимный домовладелец. Он только нахваливал подаваемые блюда и все сравнивал с Москвой.

— А такого сига, Антон Павлович, вам в вашей Москве подадут? Нежность, сочность. Не сиг, а сливочное масло. Вы там хвалитесь поросятами. А не угодно ли? Не хуже, я думаю. У Сергея Николаевича я на днях за обедом телятину ел. Я бы его угостил вот этой! Надо самому выбирать, толк надо знать. У меня действительно телятина! А он миллионер.

Антон Павлович был очень весел. Он не хохотал (он никогда не хохотал), не возвышал голоса, но смешил меня неожиданными замечаниями. Вдруг он позавидовал толстым эполетам какого-то военного (а может быть, и не военного) и стал уверять, что если бы ему такие эполеты, он был бы счастливейшим человеком на свете.

— Как бы меня женщины любили! Влюблялись бы без числа! Я знаю!

Когда стали вставать из-за стола, он сказал:

— Я хочу проводить вас. Согласны?

Мы вышли на крыльцо целой гурьбой. Извозчики стояли рядком вдоль тротуара, и некоторые уже отъезжали с седоками, и, опасаясь, что всех разберут, я сказала Чехову, чтобы он поторопился. Тогда он быстро подошел к одним саням, уселся в них и закричал мне:

— Готово, идите.

Я подошла, но Антон Павлович сел со стороны тротуара, а мне надо было обходить вокруг саней. Я была в ротонде, руки у меня были несвободны, тем более что я под ротондой поддерживала шлейф платья, сумочку и бинокль. Ноги вязли в снегу, а сесть без помощи было очень трудно.

— Вот так кавалер! — крикнул Потапенко отъезжая.

Кое-как, боком, я вскарабкалась. Кто-то подоткнул в сани подол моей ротонды и застегнул полость. Мы поехали.

— Что это он кричал про кавалера? — спросил Чехов.—

Это про меня? Но какой же я кавалер? Я — доктор. А чем же я проштрафился как кавалер?

— Да кто же так делает? Даму надо посадить, устроить поудобнее, а потом уже самому сесть как придется.

— Не люблю я назидательного тона,— отозвался Антон Павлович.— Вы похожи на старуху, когда ворчите. А вот будь на мне эполеты...

— Как? Опять про эполеты?

— Ну вот. Опять сердитесь и ворчите. И все это оттого, что я не нес ваш шлейф.

— Послушайте, доктор... Я и так чуть леплюсь, а вы еще толкаете меня локтем, и я непременно вылечу.

— У вас скверный характер. Но если бы на мне были густые эполеты...

В это время он стал надевать перчатки, длинные, кожаные.

— Покажите. Дайте мне. На чем они? На байке?

— Нет, на меху. Вот.

— Где вы достали такую прелесть?

— На фабрике, около Серпухова. Завидно?

Я их надела под ротондой и сказала:

— Ничуть. Они мои...

Извозчик уже съезжал с моста.

— А куда ехать, барин?

— В Эртелев переулок![12] — крикнула я.

— Что? Зачем? На Николаевскую.

— Нет, в Эртелев. Я вас провожу, а потом усядусь поудобнее и поеду домой.

— А я за вами сзади саней побегу, как собака, по глубокому снегу, без перчаток. Извозчик, на Николаевскую!

— Извозчик! В Эртелев!

Извозчик потянул вожжи, и его кляча стала.

— Уж я не пойму... Куда же теперь?

Поехали на Николаевскую. Я отдала перчатки, и Антон Павлович опять стал нахваливать их, подражая Лейкину.

— Разве у Сергея Николаевича есть такие перчатки? А миллионер. Не-ет. Надо самому съездить в Серпухов (или в Подольск? забыла) на фабрику, надо знать толк... Ну, а вы будете писать роман? Пишите. Но женщина должна писать так, точно она вышивает по канве. Пишите много, подробно. Пишите и сокращайте. Пишите и сокращайте.

— Пока ничего не останется.

— У вас скверный характер. С вами говорить трудно. Нет,

умоляю, пишите. Не нужно вымысла, фантазии. Жизнь, какая она есть. Будете писать?

— Буду, но с вымыслом. Вот что мне хочется. Слушайте. Любовь неизвестного человека. Понимаете? Вы его не знаете, а он вас любит, и вы это чувствуете постоянно. Вас окружает чья-то забота, вас согревает чья-то нежность. Вы получаете письма умные, интересные, полные страсти, на каждом шагу вы ощущаете внимание... Ну, понятно? И вы привыкаете к этому, вы уже ищете, боитесь потерять. Вам уже дорог тот, кого вы не знаете, и вы хотите знать. И вот что вы узнаете? Когда вы найдете? Разве не интересно?

— Нет. Не интересно, матушка! — быстро сказал Чехов, и эта поспешность и решительность, а еще слово «матушка», которое тогда еще не вошло у нас в обычай, так насмешили меня, что я долго хохотала.

— Почему я — матушка?

Мы подъезжали к Николаевской.

— Вы еще долго пробудете здесь? — спросила я.

— Хочется еще с неделю. Надо бы нам видеться почаще, каждый день. Согласны?

— Приезжайте завтра вечером ко мне,— неожиданно для самой себя предложила я. Антон Павлович удивился.

— К вам?

Мы почему-то оба замолчали на время.

— У вас будет много гостей? — спросил Чехов.

— Наоборот, никого. Миша на Кавказе, а без него некому у меня бывать. Надя вечером не приходит. Будем вдвоем и будем говорить, говорить...

— Я вас уговорю писать роман. Это необходимо.

— Значит, будете?

— Если только меня не увлекут в другое место. Я здесь (у Суворина) от себя не завишу.

— Все равно, буду вас ждать. Часов в девять.

Мы подъехали, и я вышла и позвонила у подъезда. Извозчик с Чеховым отъехал и стал поворачивать, описывая большой круг по пустынной широкой улице. Мы продолжали переговариваться.

— Непременно приеду,— говорил Чехов своим прекрасным низким басом, который как-то особенно звучал в просторе и тишине, в мягком зимнем воздухе.— Хочу убедить вас писать роман. И как вы были влюблены в офицера.

— Кто это сказал?

— Вы сами. Давно. Не помните? Будете спорить?

Дверь отпирал швейцар в пальто внакидку.

— Ну, до завтра.

— Да. А вы не будете сердиться? Будете подобрее? Женщина должна быть кротка и ласкова.

Не было у меня предчувствия, что меня ждет.

VI

И вот настал этот вечер.

С девяти часов я начала ждать.

У меня был приготовлен маленький холодный ужин, водка, вино, пиво, фрукты. В столовой стол был накрыт для чая. Я представила себе так: сперва я затащу Чехова в детскую. Пусть позавидует. Дети еще не будут спать, а будут ложиться, а тогда они особенно прелестны. Самое веселое у них время. Потом мы пойдем пить чай. Потом перейдем в кабинет, где гораздо уютнее, чем в гостиной. Сколько необходимо сказать друг другу.

Ужинать позднее. Шампанского я не посмела купить. Чувствовалось, что это было бы чуть не оскорблением Мише.

Да и на то, что я купила, истратила денег больше, чем могла. (Помню, я решила: не заплачу по счету в свечную, подождут.)

В начале десятого раздался звонок. Прижавши руку к сердцу, я немного переждала, пока Маша шла отворять, пока отворила и что-то ответила на вопрос гостя. Тогда я тоже вышла в переднюю и прямо застыла от ужаса. Гостей было двое: мужчина и женщина, и они раздевались. Меня особенно поразило то, что они раздевались. Значит, это не было недоразумение: они собирались остаться сидеть весь вечер. А всего несноснее было то, что это были Ш., Мишины знакомые, к которым он всегда тащил меня насильно, до того они были мне несимпатичны. Против него я еще ничего не могла сказать, но она... Я ее положительно не выносила. И он, и она были математики, преподавали где-то, у них в квартире стояло рядом два письменных стола, и это меня почему-то возмущало. Оба были очень заняты и навещали нас, слава богу, чрезвычайно редко. Надо же им было попасть именно в этот вечер!

— Да, это мы, мы! — закричала В. У.— А Михаил Федорович на Кавказе? Ха! ха! ха!

У нее была манера хохотать во все горло по всякому поводу и даже без всякого повода. Если она говорила — она хохотала. Как она могла преподавать? Я помню, что она рас-

сказывала мне про смерть ее единственного ребенка и при этом заливалась хохотом.

И теперь этот хохот разнесся по всей квартире. Конечно, пришлось пригласить их в гостиную. Тускло горела большая лампа, и весь воздух был пропитан тоской. А. В. У. бушевала; она рассказывала, как одна девушка заболела меланхолией вследствие смерти или измены ее жениха и как В. У. посоветовала ей решать задачи. Она стала решать и выздоровела, утешилась и теперь усиленно занимается математикой и счастлива.

— Почему вы не решаете задачек? — удивлялась она мне,— это дисциплинирует ум, исключает всякую мечтательность, укрепляет волю. Заставляйте детей решать задачки. Вы увидите, как это им будет полезно, ха, ха, ха.

В десять часов Маша доложила, что чай подан.

Я вздрогнула и кинулась в столовую. Так оно и было! Весь мой ужин стоял на столе. И вино и фрукты.

— Да здесь целый пир! — вдруг закричала В. У. за моей спиной.— Вы ждали гостей? Петя, мы с тобой так рано обедали... Как приятно. Ха, ха, ха. Но почему?

Они с аппетитом принялись за еду. Я угощала, подкладывала.

— Очень вкусный соус. Это ваша кухарка? Как? Вы сами? А Михаил Федорович говорил, что вы не любите хозяйничать. Больше в сфере фантазии, поэзии.

И тут она так расхохоталась, что даже подавилась.

На наших больших столовых часах было половина одиннадцатого. Ясно, что Антон Павлович не приедет, и я уже была этому рада.

Вдруг в передней раздался звонок, и я услышала голос Антона Павловича. Он о чем-то спросил Машу.

— Что с вами? — крикнула В. У.— Петя! Скорей воды... Лидии Алексеевне дурно.

— Нет, я ничего,— слабо сказала я.— Почему вам показалось?

— Но вы побледнели, как мел... Теперь вы вспыхнули...

Вошел Антон Павлович, и я представила друг другу своих гостей.

Какой это был взрыв хохота!!

— Как? Антон Павлович Чехов? И Лидия Алексеевна не предупредила нас, что ждет такого гостя? Как мы счастливо попали! Вот когда вы ответите мне, Антон Павлович, на вопросы, которые я ставила себе каждый раз, как читала ваши произведения. Я хочу, чтобы вы ответили.

Она напала на Чехова, как рысь на беззащитную лань. Она впилась в него, терзала, рвала на части, кричала, хохотала. Она обвиняла его, что он тратит свой большой талант на побасенки, что он ходит кругом и около, а не решает задачи, не дает идеала. Все у него расплывчато, нет точности, нет математичности. Математичности нет, нет! Ха, ха, ха!

Антон Павлович несколько раз растерянно оглядывался на меня. Вдруг он спросил меня:

— Вы курите? — В. У. на миг замолчала, удивленно моргая. Я тоже удивилась.

— Нет...

— Мне показалось, что у вас папироса.

— У меня ничего нет,— и я показала ему руки.

— Вам не надо курить.

Я предложила ему закусить. Он отказался.

В. У. опять закричала, подскакивая на своем стуле и сотрясая воздух. И от этого крика было душно, трудно было дышать. Я боялась, что мне опять будет дурно, потому что чувствовала сильную слабость и легкое головокружение.

Антон Павлович защищался слабо, нехотя, говорил односложно. Он сидел над своим стаканом чая, опустив глаза.

Но вдруг Ш. встал и сказал жене:

— Вера, нам пора домой.

— Домой? — вскрикнула она.— Но, Петя, когда я дождусь еще случая высказать то, что Чехов должен выслушать? Должен же он понять свой долг как писатель...

Она опять забарабанила, но меня утешало то, что ее муж стоял, а не садился вновь. Он настаивал, что пора ехать, и я, конечно, не возражала. Но я боялась, что он не сладит с расходившейся женой и предоставит ей возможность исполнить свой долг и наставить Чехова на путь истинный. Но, к счастью, он сладил. Она в последний раз ринулась на Чехова, стала жать и трясти его руки и кричать ему в уши, что он большой, большой талант и что она верит в него и ждет от него многого. Наконец крик перешел в переднюю, потом на лестницу, и взрыв хохота потряс все этажи. Дверь хлопнула, и мы с Антоном Павловичем в изнеможении перешли в кабинет.

— Вы устали,— сказал Антон Павлович.— Я уйду, вас утомили гости.

Что со мной делалось? Я едва могла говорить.

— Прошу вас, останьтесь.

— Кстати... не можете ли вы дать мне то, что обещали. Газеты с вашими рассказами и рукопись.

Я все собрала заранее и передала ему пакет.

— Почему вы не хотите, чтобы я обратился с рукописью к Гольцеву в «Русскую мысль»?

— Потому что ее примут не за ее достоинство, а по вашей протекции.

— Но ведь я-то отдам ее по достоинству. Вы не верите мне?

— Не то что не верю, Антон Павлович, а я вашей оценки часто совсем не понимаю. «Рассказ хорош, даже очень хорош, но то, что есть Дуня (героиня моего рассказа), должно быть мужчиной. Сделайте ее офицером, что ли. А героя (у меня герой был студент, и он любил Дуню), героя — чиновником департамента окладных сборов»[13]. Видите, я даже выучила наизусть вашу рецензию. Но какой же роман между офицером и чиновником департамента окладных сборов? А если романа вовсе не нужно, то что же хорошо и даже очень хорошо в моем рассказе?

— Ну, и оставили бы все, как было. Правда, хорошо. Ведь я писал вам, что по языку вы мастер и что я платил бы вам, будь я редактором, не меньше двухсот за лист. А вы идете не туда, куда я вас посылаю, а бог знает куда. Зачем вы попали в «Сын отечества»? С. Н. Кривенко[14] — милейший человек, но не в этом суть. Вы знаете, как прозвали его газету? Очень метко. Труп честного покойника. И вы не оживите этот труп. К чему вы пошли туда?

— Это что,— вяло сказала я.— Вы не знаете, куда я еще ходила! К Буренину[15].

Чехов так и подскочил. Даже фалды его сюртука взлетели.

— Какой идиот послал вас к этому негодяю? — не повышая голоса, спросил он и так нахмурился, что я удивилась.

— Да, ходила,— подтвердила я.— Он сказал мне, что если я сама буду приносить ему свои рассказы.. Понимаете? Ему и сама...— то он будет их печатать.

Сказала и раскаялась. Совсем лишнее! глупо! Ведь это мне просто понравилось, что Антон Павлович сердится, и я постаралась еще усилить впечатление. Это называется кокетством.

— Ну, конечно, я ушла со своей рукописью и никогда больше носа туда не покажу,— прибавила я.

— Умоляю вас, верьте мне немножко. Следуйте моим советам и не подвергайтесь опасности попасть в неловкое положение. Хороших людей гораздо больше, чем дурных. Хотелось бы уберечь вас от дурных.

Он успокоился, а я пошла в столовую за вином. Да

и закусить бы надо. Но... какие жалкие остатки оставили Ш.! Я собрала, что могла, и отнесла на Мишин письменный стол. Свою пачку с рукописями я отложила на круглый столик у окна.

— Я не хочу этого,— сказал Чехов, и мне показалось, что он сказал это брезгливо. Взял бутылку с вином, отставил ее и налил себе пива. Мне было и стыдно и больно. Приняла гостя, нечего сказать.

— Вам надо лечь спать,— сказал Чехов,— вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы рады будете, когда я уйду. Да, раньше... помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьезно увлечен вами? Это было серьезно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы еще похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше, поновому. И что еще тяжелее расстаться.

Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я — против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно.

— Знали вы это?

У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его, изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь не интересна.

«Кошмар»,— промелькнуло у меня в голове.

— Я вас любил,— продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо.— Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?

Он взял мою руку и сейчас же оставил ее, как мне казалось, с отвращением.

— О, какая холодная рука!

И сейчас же он встал и посмотрел на часы.

— Половина второго. Я успею еще поужинать и поговорить с Сувориным, а вы ложитесь скорей спать. Скорей.

Он что-то искал глазами на столе, на диване.

— Я, кажется, обещал еще завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся.

Он опять внимательно оглянулся, пошел к столику у окна и взял пакет с рукописями. Я же сидела как мертвая, не шевелясь.

В ушах у меня шумело, в голове вихрем неслись мысли, но ни одной я не могла остановить, схватить, понять. Сказать я тоже ничего не могла. Что делалось в моей голове? Как это было мучительно!

Я с трудом встала и пошла его провожать.

— Так не увидимся,— повторил он. Я молчала и только вяло пожала его руку.

Мы жили на четвертом этаже. Вся лестница была ярко освещена. Я стояла на площадке и смотрела, как он бежит вниз. На первом повороте я его окликнула:

— Антон Павлович!

Он остановился и поднял голову. Подождал и опять побежал.

Я ничего не сказала.

VII

На другой день я получила с посыльным пакет с книгой и моими рукописями и письмо. Книга была только что вышедший сборник его рассказов с сухой надписью: «Лидии Алексеевне Авиловой от автора». Письмо следующее:

«15 февраля 1895 года. СПБ.

Несмотря даже на то, что в соседней комнате пели Маркони и Баттистини, оба Ваши рассказа я прочел с большим вниманием. «Власть» милый рассказ, но будет лучше, если Вы изобразите не земского начальника, а просто помещика. Что же касается «Ко дню ангела», то это не рассказ, а вещь, и притом громоздкая вещь. Вы нагромоздили целую гору подробностей, и эта гора заслонила солнце. Надо сделать или большую повесть, этак листа в четыре, или же маленький рассказ, начав с того момента, когда барина несут в дом.

Резюме: Вы талантливый человек, но Вы отяжелели, или, выражаясь вульгарно, отсырели и принадлежите уже к разряду сырых литераторов. Язык у Вас изысканный, как у стариков. Для чего это Вам понадобилось ощупывать палкой прочность поверхности снега? И зачем прочность, точно дело идет о сюртуке или мебели (нужно плотность, а не прочность). И поверхность снега тоже неловкое выражение.

Затем встречаются и такие штуки: «Никифор отделился от столба ворот» или «отделился от стены».

Пишите роман. Пишите роман целый год, потом полгода сокращайте его, а потом печатайте. Вы мало отделываете, писательница же должна не писать, а вышивать по бумаге, чтоб труд был кропотливым, медлительным. Простите за сии наставления. Иногда приходит желание напустить на себя важность и прочесть нотацию. Сегодня я остался, или, вернее, был оставлен, завтра непременно уезжаю.

Желаю Вам всего, всего хорошего. Искренне преданный

Чехов».

Разбранил меня Антон Павлович: «отяжелела, отсырела». Сердится. А я уже успела о многом размыслить и хотя не пришла ни к чему определенному, но, казалось мне, стала рассуждать логично. Очень мне не по душе была эта логика, очень не хотелось ей подчиняться, но должен же был разум взять верх над чувством? Из-за этого чувства сколько уж я наделала глупостей! Пригласила Антона Павловича, когда Миши не было дома. Что он мог подумать? Соблазняла его тем, что мы будем одни. Что он мог заключить?

Я не знаю, как это случилось, но вдруг все мои рассуждения смело, как вихрем. И этот вихрь была моя вера, моя любовь, мое горе.

«Я вас любил и думал только о вас...»

Промучившись еще два дня, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На одной стороне я написала: «Повести и рассказы. Соч. Ан. Чехова», а с другой — «Стран. 267, стр. 6 и 7».

Если найти эти строки в книге, то можно было прочесть: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату[16]. А его просила отнести и отдать в редакцию «Русской мысли».

Брат передал футляр Гольцеву для передачи Антону Павловичу.

Я сделала все это с тоски и отчаяния. Адрес же вырезала, чтобы не было явного признания, чтобы все-таки оставалось сомнение для него, а для меня возможность отступления. Не могла же я отдать ему свою жизнь! Разве что сразу четыре жизни: мою и детей. Но разве Миша отдал бы их мне? И разве Антон Павлович мог их взять?

VIII

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил мой подарок. Я ожидала последствий и тревожилась и волновалась. То мне казалось, что он приедет, то я ждала от него письма и вперед сочиняла содержание. Иногда это была холодная отповедь, на которую я тотчас же отвечала возможно язвительнее, то несколько небрежных строк, милостыня, как бы разрешение продолжать знакомство и переписку.

Но время шло, и не было ни Чехова, ни письма, не было ровно ничего.

Как мне надоело разбираться в моих мыслях! Повторять про себя все сказанные Чеховым слова, которые я уже выучила наизусть и которые всегда ярко вызывали в памяти лицо и голос Антона Павловича.

Одно для меня было ясно: ничего не могло быть понятнее, естественнее и даже неизбежнее, чем то, что я полюбила Чехова. Я не могла не восхищаться не только его талантом, но и им самим, всем, что он говорил, его мыслями, его взглядами.

Правда, говорил он мало, но и этими короткими фразами точно освещал жизнь всей своей большой, сложной, благородной личностью.

Для меня его взгляд был не то что законом, которому нужно подчиниться, а откровением, которое нельзя не схватить с жадностью и нельзя откинуть, забыть. Мне часто приходилось слышать беседы «умных» людей и испытывать досаду, неприязнь, даже возмущение.

Выражая это возмущение, я чувствовала, что не умею обосновать его, но и преодолеть не могла. Когда говорил Антон Павлович, хотелось смеяться от счастья. Он как-то открывал в душе человека лучшее, и человек изумленно радовался, что обладает такими сокровищами, о которых и не подозревал. Я по крайней мере всегда испытывала это чувство. Как-то он сказал мне: «У вас врожденная, не прописная нравственность. Это много». Сказал он это по следующему поводу: завязался общий разговор о том, справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь? Одни говорили, что справедливость тут ни при чем и что раз церковь благословила союз, то он должен быть крепок и нерушим. Другие горячо протестовали, приводя всякие доводы. Чехов молчал — и вдруг тихо спросил: «А ваше мнение?» Я сказала: «Надо знать,

стоит ли».— «Не понимаю. Как стоит ли?» — «Стоит ли новое чувство тех жертв. Ведь непременно должны быть жертвы. Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе. К себе не надо жалости. Тогда ясно: стоит или не стоит».

Позже, гораздо позже, я вспомнила этот разговор и могла предположить, что он имел большое значение. Тогда Антон Павлович и сказал мне:

— У вас не прописная нравственность... Это много.

Но разве этого было достаточно, чтобы он мог любить? Он!

Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил брелок, но не отозвался ничем, даже переписка наша прекратилась. Надо было жить без него[17].

IX

Опять была масленица. Я сидела вечером в кабинете Миши и читала. Брат, приехавший из Москвы, играл в гостиной на рояли, муж за письменным столом что-то писал. Вдруг крышка рояля хлопнула, и брат Алеша быстро вошел к нам.

— Не могу я больше в этой адской скучище мучиться! — крикнул он.— Неужели я за этим приехал в Петербург? Едемте куда-нибудь!

Миша посмотрел на часы.

— Куда теперь ночью ехать? Ты с ума сошел.

— Двенадцати еще нет. Какая же ночь? Ну, двигайтесь!

Он схватил меня за руку и стал тащить.

— Но куда ехать? — слабо протестовала я.

Алеша взял газету.

— Маскарад сегодня в театре Суворина. Прекрасно!

— А костюмы? Или домино?

— Пустяки! Найдем. Только живее!

Он стащил меня с кресла и бегом проводил в спальную.

— Одевайся! и я...

Миша наотрез отказался ехать.

Когда мы одевались в передней, он кричал нам:

— Сумасшедшие! Шлендры!

— Молчи, департаментская крыса! — отвечал Алеша.

Мы наняли извозчика и поехали на Владимирскую. Там был маленький костюмерный магазин, но увы! Он был уже заперт.

— Ничего не значит,— сказал Алеша и стал стучать в дверь.

— Перестань! — кричала я ему с извозчика.— Что ты делаешь! Ну, скандал: городовой идет.

— И прекрасно! — нисколько не смутился брат.

Когда городовой подошел, Алеша тихо сказал ему что-то и, мне показалось, пожал ему руку, и тогда тот сейчас же постучал сам и, несмотря на то, что стучал он гораздо тише, дверь немедленно отворилась, и на пороге показалась хозяйка в нижней юбке и ночной кофте. Городовой сказал ей несколько слов, откозырял Алеше и даже помог мне выйти из саней.

Мы выбирали костюмы при свете одной свечи. Но и выбрать было не из чего: все было разобрано. Мне удалось только найти черное домино. По моему росту оно было немного коротко, но пришлось удовольствоваться и этим.

Через несколько минут мы подъезжали к театру.

— Ты не бросай меня одну,— просила я брата,— мне будет жутко.

Зал театра показался мне каким-то кошмаром. Он был битком набит, двигаться можно было только в одном направлении, вместе с толпой. Я нащупала в своей сумке пару орехов (остались после игры в лото с детьми) и сунула их в рот, чтобы не забыться и не заговорить своим голосом, если встречу знакомых.

— Не подавись! — предупредил брат и вдруг чуть не вскрикнул: — Смотри направо...

Направо стоял Чехов и, прищурившись, смотрел куда-то поверх голов вдаль.

— Теперь, конечно, я свободен? — сказал Алеша и сейчас же исчез.

Я подошла к Антону Павловичу.

— Как я рада тебя видеть! — сказала я.

— Ты не знаешь меня, маска,— ответил он и пристально оглядел меня.

От волнения и неожиданности я дрожала, может быть, он заметил это? Ни слова не говоря, он взял мою руку, продел под свою и повел меня по кругу. Он молчал, и я тоже молчала. Мимо нас проскользнул Василий Иванович Немирович-Данченко.

— Э-ге-ге! — сказал он Чехову.— Уже подцепил!

Чехов нагнулся ко мне и тихо сказал:

— Если тебя окликнут, не оборачивайся, не выдавай себя.

— Меня здесь никто не знает,— пропищала я.

Немирович как-то ухитрился кружить вокруг нас и все повторял свое: «Э-ге-ге!»

— Неужели он узнал тебя? — беспокоился Чехов.— Не оборачивайся! Хочешь пить? Пойдем в ложу, выпьем по стакану шампанского.

Мы с трудом выбрались из толпы, поднялись по лестнице к ложам и оказались в пустом коридоре.

— Вот, как хорошо! — сказал Чехов.— Я боялся, что Немирович назовет тебя по имени и ты как-нибудь выдашь себя.

— А ты знаешь, кто я? Кто же? Скажи!

Я вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся.

— Знаешь, скоро пойдет моя пьеса,— не отвечая на вопрос, сообщил он.

— Знаю. «Чайка».

— «Чайка». Ты будешь на первом представлении?

— Буду. Непременно.

— Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только будь внимательна. Не забудь.

Он опять взял мою руку и прижал к себе.

— На что ты мне ответишь?

— На многое. Но следи и запомни.

Мы вошли в пустую аванложу. На столе стояли бутылки и бокалы.

— Это ложа Суворина. Сядем. Чокнемся.

Он стал наливать шампанское.

— Не понимаю! — сказала я.— Ты смеешься? Как ты можешь сказать мне что-нибудь со сцены? Как я пойму, что именно эти слова относятся ко мне? Да ведь ты и не знаешь, кто я?

— Ты поймешь. Сядь, пей, пожалуйста.

— Жарко!

Я подошла к зеркалу.

— Хочешь попудриться? Я отвернусь: сними маску.— И он сел ко мне спиной. Я следила за ним в зеркало: он не шевельнулся, а я маску не сняла.

Потом мы сидели рядом и пили.

— Тебе нравится название «Чайка»?

— Очень.

— Чайка... Крик у нее тоскливый. Когда она кричит, хочется думать о печальном.

— А почему ты сегодня печальный? — спросила я.—

Все глядишь вверх, будто тебе ни до кого дела нет, даже глядеть на людей скучно.— Он улыбнулся.

— Ты не угадала, маска,— сегодня мне не скучно.

Я опять вернулась к «Чайке».

— Ну, как можно сказать что-нибудь со сцены? Если бы еще ты знал, кто я, то я бы подумала, что ты вывел меня в своей пьесе.

— Нет, нет!

— Ну, не понимаю и не пойму! Тем более, что ответишь ты не мне, вероятно, а той, за кого ты меня принимаешь.

— Пойдем вниз,— предложил Антон Павлович.— Неприятно, если сюда придут.

Мы вернулись в зал, сперва ходили, а потом сели в уголке.

— Расскажи мне что-нибудь,— попросил Чехов.— Расскажи про себя. Расскажи свой роман.

— Какой роман? Это ты пишешь романы, а не я.

— Не написанный, а пережитый. Ведь любила ты кого-нибудь?

— Не знаю.

Двигалась мимо нас, шуршала и шумела толпа. Не обычная, нарядная толпа, а какая-то сказочная или кошмарная. Вместо женских лиц — черные или цветные маски с узкими прорезами для глаз. То здесь, то там высовывались звериные морды из-под поднятых капюшонов мужских домино, ярко блестели пластроны фрачных сорочек. И над всем этим гремел непрерывно оркестр пьянящими вальсами, страстными ариями. Голова у меня слегка кружилась, нервы были напряжены, сердце то замирало, то билось усиленно. Вероятно, выпитое шампанское не прошло даром. Я прислонилась плечом к плечу Антона Павловича и близко глядела ему в лицо.

— Я тебя любила,— сказала я ему.— Тебя, тебя...

— Ты интригуешь, маска,— сказал он.— И ты противоречишь себе: ты только что сказала «не знаю».

— Нет, это не противоречие. Может быть, это была и не любовь, но, кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе. А когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить. Ты не веришь мне? Дорогой мой!

Он откинул прядку волос со лба и поднял глаза к потолку.

— Ты не веришь? Ответь мне.

— Я не знаю тебя, маска.

— Если не знаешь, то все-таки принимаешь меня за кого-то. Ты сказал, что ответишь мне со сцены.

— Сказал на всякий случай. Если ты не та, кому я хотел сказать, это значения не имеет. Тогда ты не поймешь.

— А кому ты хотел сказать?

Он улыбнулся.

— Тебе.

— Так что же ты говоришь, что ты меня не знаешь?!

— Знаю, что ты артистка и что ты сейчас очень хорошо играешь.

— И эта артистка должна быть очень, очень внимательна и следить?

— Ты!

Он опять улыбнулся и наклонил голову ко мне.

— Ты будь внимательна и следи. Но ты не кончила рассказывать свой роман. Я слушаю.

— Роман скучный, а конец печальный.

— Конец печальный?

— Я же тебе сказала, что не знаю, любила ли я действительно. Разве это значит любить, если только борешься, гонишь эту любовь, прислушиваешься к себе с постоянной надеждой: кажется, я уже меньше люблю, кажется, я выздоравливаю, кажется, я наконец победила. Разве это любовь?

— Не было бы любви, не было бы и борьбы,— быстро сказал он.

— А! Значит ты мне веришь!

— Я не знаю тебя, маска.

Он взял меня под руку и встал.

— Тут много любопытных глаз. Ты не хочешь еще вина? Я хочу.

Мы опять поднялись в ложу, после того как Чехов удостоверился, что она пуста.

На столе стояли две почти полные бутылки. Мы опять уселись и теперь стали весело и бессвязно болтать. Он настаивал, что я артистка, что он знает меня в драматических ролях. Я стала дразнить его Яворской[18].

— Ты еще влюблен в нее, несчастный?

— Неужели ты думаешь, я тебе отвечу?

— А почему нет?

— Да только потому, что ты сама Яворская.

— Ты в этом уверен?

— Убежден.

— Давно бы сказал. Я бы сняла здесь маску.

— Сними.

— Нет, поздно, домой пора.

Мы взглянули в зал. Публика очень заметно поредела. Я увидела Алешу, который щурился во все стороны. Очевидно, искал меня. Мы, смеясь, быстро спустились и около лестницы столкнулись с Сувориным и К°.

— Антон Павлович! — закричал он.— Мы все вас искали, искали...

Я быстро пожала руку Антону Павловичу и бросилась к Алеше.

— Ты довольна? — спросил он.

— Довольна и немножко пьяна. А ты доволен?

— Доволен, но совершенно трезв.

И дорогой, и дома в постели я думала:

«Я — Яворская? Он ответит со сцены Яворской?»

X

Мы с Мишей обыкновенно бывали на всех премьерах драматических представлений, и я думала, что и на этот раз мы пойдем вместе. Но Миша передал мне только один билет.

— Вот тебе, чехистка! С трудом достал, и то не в партер, а в амфитеатр.

— А ты?

— У меня заседание. И, по правде сказать, не велика потеря.

Я отправилась одна и тоже, по правде сказать, была этому рада. Про то, что я жду ответа со сцены, я, конечно, никому не сказала, даже Алеше, но скрыть своего волнения я не могла. Давно ждала я этого дня и все время думала то одно, то другое. Узнал меня Антон Павлович или не узнал и принял за другую? Он сказал, что «убежден», что я Яворская. Я решила, что этого не может быть. Это он пошутил. Ни в фигуре, ни в манерах у меня с Яворской сходства не было ни малейшего. Но мало ли у него могло быть других знакомых женщин!

Между прочим, я вспомнила: в тот вечер я второй раз в жизни была в маскараде. В первый раз я была с Мишей и с целой компанией знакомых. Я старалась интриговать, но ко мне привязывались незнакомые и приглашали ужинать, кататься на тройке. Я пугалась и обращалась в бегство. Было не весело, а противно, и ни за что я не пошла бы с кем-нибудь под руку и не приняла бы предложения выпить. С Чеховым я сейчас же согласилась подняться в пустую ложу, и почему-то меня даже не удивило, что он весь вечер вел себя так,

как будто мы были не в маскараде, а в гостях у общих знакомых. Почему-то он даже оберегал меня от любопытных глаз и боялся, что я себя выдам. А я отнеслась к этому так, будто иначе и быть не могло. Раз я была с Чеховым, то все это было вполне естественным, кто бы я ни была. За это ручалось его уважение к женщинам, за это ручалось его личное достоинство, его благородство.

Но кому же хотел он ответить со сцены?

— Тебе! — сказал он.

И когда я его спросила, артистка ли должна следить внимательно, он ответил:

— Ты!

И вот почему-то во мне росла уверенность, что это «ты» — это я. Весь день я была в большом возбуждении.

Театр был переполнен. Очень много знакомых лиц. Мое место было в амфитеатре с правого края, около двери, и на такой высоте, что я могла подавать руку, здороваться со знакомыми и слышать все разговоры проходящих и стоявших у дверей. Мне казалось, что все, как и я, возбуждены, заинтересованы.

Началось первое действие.

Очень трудно описать то чувство, с которым я смотрела и слушала. Пьеса для меня как-то пропадала. Я ловила каждое слово, кто бы из действующих лиц его не говорил, и была напряженно внимательна, но пьеса для меня пропадала и не оставляла никакого впечатления. Когда Нина Заречная стала говорить свой монолог: «Люди, львы, орлы...» — я услышала в партере какой-то странный гул и точно проснулась. Что это происходило? Показалось мне, что это пронесся по рядам сдержанный смех, или это был не смех, а ропот, возмущение? Во всяком случае, это было что-то неприятное, враждебное. Но этого не может быть! Чехов так популярен, так любим!

Занавес опустился, и вдруг в зале поднялось что-то невообразимое: хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели. И тогда ясно стал слышен и смех. Мало того, что смеялись,— хохотали. Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие злобно негодовали.

«Символистика...» «Писал бы свои мелкие рассказы...» «За кого он нас принимает?..» «Зазнался, распустился...»

Остановился передо мной Ясинский, весь взъерошенный, задыхающийся.

— Как вам понравилось? Ведь это черт знает что! Ведь это позор, безобразие...

Его кто-то отвел.

Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головой. Всюду слышалось: Чехов... Чехов...

Если бы я даже хотела встать, я бы не могла. Но я и не хотела. В зале стало тихо, все злобствующее, язвительное, злорадно захлебывающееся — все ушло разливать свою желчь на простор, собираясь в кружки, стараясь перекричать друг друга. Литературно-журналистская братия! Та, которая кланялась ему низко, подобострастно льстила. Им ли было не радоваться, когда неожиданно явился случай лягнуть его побольнее. Слишком быстро и высоко он поднялся, и теперь они тянули его вниз, воображая, что его гордая голова уже никогда больше не поднимется над ними.

Когда антракт кончился и зал стал наполняться, я увидала в одной из лож налево Суворина. Я думала, что может появиться и Чехов, но его не было.

И опять упорно, но уже безнадежно, я стала внимательно следить за словами пьесы. Вспоминалось: Антон Павлович писал ее летом в маленьком флигельке Мелихова. Весь флигелек тонул в зелени. Из дому к нему порой доносились звуки рояля и пения. Ему было хорошо, когда он писал. Он сам рассказал мне об этом. Вспомнилось так, точно на один миг я увидела и флигелек, и Антона Павловича над рукописью со свесившейся прядкой волос на лбу. Далеко тогда был Петербург с Александринкой, далеко был день первого представления, а теперь далеко Мелихово с его покоем и тишиной, и вместо флигелька — переполненный зрительный зал и лица друзей, внезапно обратившиеся в звериные хари.

Пьеса с треском проваливалась. Что же должен был теперь переживать Антон Павлович? Кто был с ним, чтобы он чувствовал рядом друга? Кто мог облегчить его состояние? Как я завидовала бы этому человеку, если бы знала его!

А про ответ со сцены Антон Павлович, очевидно, пошутил. Сказал на всякий случай неизвестно кому.

Но вот... вышла Нина, чтобы проститься с Тригориным. Она протянула ему медальон и объяснила: «Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги».

«Какой прелестный подарок!» — сказал Тригорин и поцеловал медальон.

Нина ушла... а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочел: «страница 121, строки 11 и 12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину:

— Есть мои книги в этом доме?

И уже с книгой в руках он повторил: «страница 121, строки 11 и 12». А когда нашел страницу и отсчитал строки, прочел тихо, но внятно: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

С самого начала, как только Нина протянула медальон, со мной сделалось что-то странное: я сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что мне показалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся ко мне и смотрит мне в лицо. В голове был шум, сердце колотилось как бешеное. Но я не пропустила и не забыла: страница 121, строки 11 и 12. Цифры были все другие, не те, которые я напечатала на брелоке. Несомненно, это был ответ. Действительно, он ответил мне со сцены, и ответил мне, только мне, а не Яворской и никому другому.

«Тебе!» «Ты!» Он знал, что говорил это мне. Весь вечер он был со мной и знал, что со мной. Значит, сразу узнал меня. С первого взгляда. Но что в этих двух строках? Что в этих двух строках?

Я опять стала в состоянии смотреть на сцену, и теперь я видела пьесу. Но мне больше хотелось увидеть Антона Павловича. В ложе его не было, значит,— он за кулисами. Туда пройти невозможно. Да и если бы и можно было, я бы не решилась. Если бы встретиться как-нибудь случайно и понять, почувствовать, не лишняя ли я? Не навязчиво ли мое присутствие? О, если бы я знала, что он хочет меня видеть! Но мне казалось, что сейчас, в его тяжелом состоянии, он едва бы узнал меня, прошел бы мимо, даже подосадовал бы, возможно, что я встретилась ему. Он ответил мне со сцены в пьесе, которая провалилась, и поэтому я должна была быть ему особенно неприятна. Недаром я, как виноватая, боялась его. Но в последнем антракте я все-таки обегала и коридоры и фойе. Ведь я сразу увидала бы по его лицу, нужна ли я ему.

Но я его нигде не встретила, а позже услыхала, как говорили, что Чехов убежал из театра. Об этом шептались, передавая друг другу эту новость. Сбежал!

В последнем действии, которое мне очень понравилось и даже заставило на время забыть о провале пьесы, Комиссаржевская (Нина), вспоминая ту пьесу Треплева, в которой она в первом действии играла Мировую душу, вдруг сдернула

с дивана простыню, закуталась в нее и опять начала свой монолог: «Люди, львы, орлы...»

Но едва она успела начать, как весь зал покатился от хохота. И это в самом драматическом, самом трогательном месте пьесы, в той сцене, которая должна бы была вызвать слезы!

Смеялись над простыней, и надо сказать, что Комиссаржевская, желая напомнить свой белый пеплум Мировой души, не сумела изобразить его более или менее красиво, но все-таки это был предлог, а не причина смеха. Я была убеждена, что захохотал с умыслом какой-нибудь Ясинский, звериные хари и подхватили, а публика просто заразилась, а может быть, даже вообразила, что в этом месте подобает хохотать. Как бы то ни было, хохотали все, весь зрительный зал, и весь конец пьесы был окончательно испорчен. Никого не тронул финальный выстрел Треплева, и занавес опустился под те же свистки и глумления, которые и после первого действия заглушили робкие аплодисменты.

У вешалки возбуждение еще не улеглось. И там смеялись. Громко ругали автора и передавали друг другу:

— Слышали? Сбежал! Говорят, прямо на вокзал, в Москву.

— Во фраке?! Приготовился выходить на вызовы! Ха, ха...

Но я слышала тоже, как одна дама сказала своему спутнику:

— Ужасно жаль! Такой симпатичный, талантливый... И ведь он еще так молод... Ведь он еще очень молод.

Дома меня ждал Миша с кипящим самоваром и холодным ужином. Он сам открыл мне дверь.

— Ну что? Большой успех?

— Провал,— неохотно ответила я.— Ужасный провал!

— Не ходи в детскую,— предупредил он, удерживая меня за руку.— Я только что там был. Все спят, как сурки. Были очень веселы, бегали, играли. Сядь, расскажи.

— Провал,— повторила я и передала приблизительно, что я видела и слышала.

— Ах, уж и подлецы эти газетные писаки! — горячо сказал Миша.— Подхалимы, мерзавцы... Говоришь, сбежал Чехов? Да, вообрази, какие у него кошки на сердце скребут! Да не его дело писать пьесы! Писал бы еще что-нибудь вроде «Степи». Тут он мастер.

Какое для меня было неожиданное облегчение, что Миша ругал не Чехова, а его врагов и завистников. Я ждала, что он придерется к случаю сказать про него что-нибудь

враждебное, но ему, очевидно, стало жалко Чехова, и он забыл свою вражду.

— Подожди, мать,— говорил он,— это пустяк, что его освистали. Покажет он им еще себя. Опять будут пресмыкаться и хвостом вилять, а он уж теперь их раскусит. Слишком добродушен твой Чехов: со всякой сволочью готов обниматься.

Я слушала с радостью, но у меня из головы не выходило: 121, 11 и 12.

Книга Чехова в библиотеке на полке, найти ее ничего не стоит. Найти и прочесть. Но надо пить чай, есть ветчину, слушать Мишу и отвечать. А что там? На этой странице 121 и на строках 11 и 12? Ах, скорей бы, скорей!

Наконец, чай был отпит, Миша ушел в кабинет, повозился там, посвистел и прошел через гостиную в спальню.

— Мать! Ты скоро?

— Да, сейчас.

Тогда и я прошла в кабинет. Пришлось зажечь свечу, так как Миша потушил лампу, и со свечой в руке я поспешно нашла и вынула книгу, дрожащими руками отыскала стр. 121 и, отсчитав строки, прочла: «...кие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?»

В полном недоумении я опять перечитала строки. Нет, я не ошиблась: «...кие феномены...»

— Мать! Старуха! — кричал Миша.— Что ты там делаешь?

«Что ты смотришь на меня с таким восторгом...» Я медленно закрыла книгу, положила ее на место. Смеется он, что ли, надо мной?

«Я тебе нравлюсь?»

Катит он теперь в Москву, сидит и думает. Нет, думать он сейчас не может. Он отмахивается от того, что продолжает видеть и слышать: растерянных артистов на сцене, звериных харь в зале, свист, хохот. О, я хорошо знала, помнила это состояние, я его пережила. Но вспоминается ли ему его «ответ»? Представляет ли он себе мое чувство, когда после такого долгого ожидания, после такого волнения и нетерпения я прочту: «Я тебе нравлюсь?» Стоило ли из-за этого втискивать в пьесу этот эпизод с медальоном?

Спать я не могла. И меня преследовали воспоминания того, что я видела в театре, впечатления этого грандиозного провала и мое собственное разочарование. «Я тебе нравлюсь?»

И вдруг точно молния блеснула в моем сознании: я выбрала строки в его книге, а он, возможно, в моей?

Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет, нашла свой томик «Счастливца», и тут на странице 121, строки 11 и 12, я прочла: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается».

Вот это был ответ! Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Все он угадал, все знал.

XI

В театре Суворина шла какая-то переводная пьеса. Оглядывая зал, я вдруг увидела Чехова в ложе рядом с Сувориным. А я и не знала, что он в Петербурге. Почему он мне не написал, что собирается? Вообще странная дружба! Заметил меня и отвернулся. И как это смешно и дико: papa Суворин и maman Суворина, а в середине Чехов, их детище. И Чехов знает, что я его «обожаю», и, вероятно, поэтому поворачивается ко мне спиной. Носит он мой брелок?

Но он не знает, что я выздоравливаю, что уже нет у него прежней власти надо мной. Я критикую его рассказы, я очень независима. Я сделала большие успехи.

В антракте я пошла в фойе. Спешно спускаясь вниз уже после звонка, я увидела Антона Павловича. Он стоял в коридоре у дверей своей ложи, той самой, где мы когда-то пили шампанское. Увидев меня, он быстро шагнул мне навстречу и взял мою руку.

— Пьеса скучная,— поспешно сказал он.— Вы согласны? Не стоит смотреть ее до конца. Я бы проводил вас домой. Ведь вы одна?

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— ответила я.— Если вы уйдете, вы огорчите Сувориных.

Антон Павлович нахмурился.

— Вы сердитесь. Но где и когда я мог бы с вами поговорить? Это необходимо.

— И вы находите, что самое удобное на улице, под дождем и снегом?

— Так скажите: где? когда?

Дверь ложи открылась, и показался Суворин.

— Видите, вас ищут. Идите скорей на ваше место.

Я засмеялась и быстро пошла по коридору.

— Кажется ясно, что я выздоровела,— сказала я себе со злостью, хотела пойти в зрительный зал, но раздумала,

пошла к вешалке, оделась и ушла. Действительно, шел снег и вместе со снегом — дождь. Ветер налетал порывами и мешал идти.

— Свезу? — спросил извозчик.

Я поколебалась и прошла мимо. Не хотелось домой, да и было слишком рано: меня не ждали.

— Удивительно умно все, что я сделала и сказала!— казнила я себя.— Выздоровела!.. Боже, до чего я несчастна! Кто мне навязал эту несчастную, дурацкую любовь! А он хотел поговорить со мной. О чем? «Необходимо...» И что же, я опять оскорбила его?[19]

Я подумала и с грустью решила: нет, он понял. Он все понимает, он все знает. Вот теперь видит мое пустое место, и ему тяжело.

Но как тяжело? Из сострадания?

Ах, если бы и он любил меня! Если бы...

А тогда что?

Я долго кружила по улицам и переулкам, но разрешить своего последнего вопроса не могла.

XII

Мы решили встретиться в Москве. Я должна была быть там в марте. Антон Павлович сказал, что приедет из Мелихова.

18 марта 1897 года он написал мне:

«Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень — несмотря на то, что Вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае». Я приеду в Москву до 26 марта, по всей вероятности в понедельник, в 10 часов вечера, остановлюсь в Б. Московской гостинице, против Иверской. Быть может, приеду и раньше, если позволят дела, которых у меня, увы! очень много. В Москве пробуду до 28, а потом, можете себе представить, поеду в Петербург. Итак, до свиданья. Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной или пообедать. Право, это будет хорошо. Теперь я не надую Вас ни в коем случае, задержать меня дома может только болезнь. Жму Вам руку, низко кланяюсь.

Ваш Чехов».

Я послала ему свой московский адрес, и вот 23 марта я получила в Москве записку с посыльным:

«Б. Московская гостиница, № 5. Суббота.

Я приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома. Не найдете ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к Вам? Желаю Вам всего хорошего.

Ваш Чехов».

Я сейчас же ответила, что вечером буду у него.

В Москве я остановилась у моего старшего брата[20], а этот брат был женат на сестре моего мужа. Поэтому дома я не сказала, что собираюсь к Чехову. Знал об этом брат Алеша и устроил все так, что мне незачем было выдумывать что-либо, чтобы объяснить мое отсутствие вечером. Он воспользовался тем, что в этот день были мои именины, и позвал меня к себе. Старший брат и его жена были толстовцы, именин не признавали и именинных пиршеств избегали. Впрочем, все это относится только к брату, но не к его жене. Она с удовольствием явилась бы вечером к Алеше посмотреть на гостей, послушать музыку, поужинать и даже выпить. Но Алеша сказал ей: «Я тебя не зову: у меня тесно, а ты очень толстая». Она обиделась и заявила, что не пошла бы, если бы даже он просил.

Я обещала Алеше приехать к нему попозже, очень долго я в гостинице все равно не засижусь.

Как я и обещала в письме, в восемь часов я входила в «Московскую».

Швейцар принял у меня пальто, и я стала подниматься по лестнице. № 5.

Вдруг швейцар окликнул меня.

— А вы к кому?

— Номер 5. К Чехову.

— Так его дома нет. Вышел.

— Не может быть! Вероятно, он не велел принимать? Он нездоров. Он мне писал.

— Не могу знать. Только его нет. С утра уехал с Сувориным.

Я стояла на лестнице в полной растерянности.

Прибежал какой-то лакей.

— Вот не верят, что Антона Павловича дома нет,— сказал ему швейцар.

— Кажется, к себе в имение обратно уехали,— сообщил лакей.— Я слышал, они господину Суворину говорили: «Вечером домой...» А поехали они завтракать в Славянский. Значит, сюда и не вернулись.

— Он мне назначил. Я ему писала...

— Писем да записок с утра тут вон сколько накопилось,— сказал швейцар.

Тогда я быстро спустилась. На подзеркальнике грудкой лежала почта, и я быстро перебрала ее, нашла свое письмо, и зажала его в руке. Теперь я убедилась, что Антона Павловича действительно нет дома, оделась и ушла. А лакей продолжал строить предположения:

— Не иначе, как в деревню уехали. Экстренность, что ли, какая... Они господину Суворину говорили...

Я взяла извозчика и поехала к Алеше.

К нему уже начали собираться гости, и уже было шумно и весело.

— Да, я раздумала,— сказала я Алеше на его недоумевающий взгляд.

Когда стали играть и петь, мне стало до того тяжело, что я не выдержала и спряталась в Алешину спаленку.

Скоро Алеша вошел ко мне. Он был очень встревожен, но стеснялся спрашивать и молча глядел на меня. В комнате горела только лампадка у образов.

Я протянула к нему руки, и он опустился передо мной на колени.

— Что? Что?

Когда я ему рассказала, как меня приняли в «Московской», он вскочил.

— А что ты думаешь?

— Я думаю, что Суворин увлек его куда-нибудь, а про меня он забыл.

— А я тебе говорю, что этого не может быть! Чехов? Нет! Или эти негодяи там что-нибудь напутали, или... я не знаю что! Но, во всяком случае, нельзя же этого так оставить. Надо выяснить.

— Как?

— Поедем сейчас туда... Я войду и все выясню. Возможно, он уже дома.

— Но я... я ни за что не хочу его видеть!

— Хочешь, я ему скажу? Что сказать?

— Не знаю. Сейчас ничего не знаю. Не ходи к нему, ничего не говори. Только справься...

— Но Чехов так поступить не мог! Тут не Суворин, а какая-нибудь важная причина. Ну, едем!

— А твои гости?

— Повеселятся и без меня. Няня их накормит.

Но мы не поехали, а пошли пешком, хотя с Плющихи до

«Московской» очень далеко. Погода была такая весенняя, воздух такой упоительный! Только что прошел небольшой дождь, и казалось, даже камни мостовой стали душистыми. Снегу уже нигде не было, весна в этом году была ранняя. Говорили, что уже прошла река.

Мы шли и говорили про Антона Павловича.

Алеша вошел в гостиницу один, но пробыл там недолго. Взял меня под руку, и мы пошли обратно.

— Не вернулся,— сказал он.— Говорят, приехал больной. Завтра еще справлюсь.

Опять стал накрапывать дождь и скоро пошел редкий, но крупный. Стало как будто еще теплей и ароматнее.

На другой день пришел Алеша и сообщил, что Антон Павлович серьезно заболел и его отвезли в клинику.

А 25-го утром я получила записку: «Москва, март 1897 г.

Вот Вам мое преступное curriculum vitae*: в ночь под субботу я стал плевать кровью. Утром поехал в Москву. В 6 часов поехал с Сувориным в Эрмитаж обедать и едва сел за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез меня в Славянский базар; доктора; пролежал я более суток — и теперь дома, т. е. в Больш. моск. гостинице.

Ваш А. Чехов.

Понедельник».

Около трех дня во вторник мы с Алешей входили в приемную клиники. Нас встретила женщина в белом: старшая сестра или надзирательница, не знаю.

— Вот... моя сестра хотела бы видеть Чехова,— сказал Алеша.

На лице женщины в белом выразился ужас, и она подняла плечи и руки.

— Невозможно! Совершенно невозможно! Антон Павлович чрезвычайно слаб. Может быть допущена только Марья Павловна.

— А нельзя ли нам поговорить с доктором?

— С доктором? Но это бесполезно. Он скажет вам то же, что и я.

— А все-таки я хотел бы...

Сестра пожала плечами, подумала и вышла.

Пришел доктор и сразу заявил:

— Антона Павловича видеть нельзя. Допустить вас я не могу ни в коем случае.

---

* краткое жизнеописание (*лат.*).

Тогда заговорила я:

— В таком случае передайте ему, пожалуйста, что я сегодня получила его записку и... вот... приходила, но что меня не пустили.

— Сегодня получили записку? Но он заболел еще третьего дня.

Я достала письмо Чехова и протянула ему.

— Он писал вчера.

Доктор отстранил письмо и насупился.

— Подождите,— сказал он и быстро вышел.

— Видишь? Пустит...— сказал Алеша.

Когда доктор вернулся, он сперва пристально посмотрел на меня, покачал головой и развел руками.

— Что тут поделаешь? — сказал он.— Антон Павлович непременно хочет вас видеть. Постойте... Вы в Москве проездом?

— Да.

— И это, чтобы видеться с вами, он, больной, поехал из деревни в такую погоду?

— Приехал Суворин...— начала я.

Доктор усмехнулся.

— Так, так! И, чтобы встретиться с Сувориным, он рискнул жизнью? Дело в том, сударыня, что он опасен, что всякое волнение для него губительно. Вам, конечно, лучше знать, что вы делаете. Я снимаю с себя ответственность. Да.

Я растерялась.

— Что же мне делать? Уйти?

— Невозможно теперь. Он вас ждет. Волнуется. Что тут поделаешь? Идемте.

Мы стали подниматься по лестнице.

— Чтобы он не говорил ни слова! Вредно. Помните: от разговора, от волнения опять пойдет кровь. Даю вам три минуты. Три минуты, не больше. Сюда... Ну, ну...— мягче прибавил он,— ничего. Сами будьте спокойнее. Через три минуты приду.

Он лежал один. Лежал на спине, повернув голову к двери.

— Как вы добры...— тихо сказал он.

— О, нельзя говорить!— испуганно прервала я.— Вы страдаете? Болит у вас что-нибудь?

Он улыбнулся и показал мне на стул около самой кровати.

— Три минуты,— сказала я и взяла со стола его часы. Он отнял их и удержал мою руку.

— Скажите, вы пришли бы?
— К вам? Но я была, дорогой мой!
— Были?! О, как не везет нам! не везет нам!
— Да не разговаривайте! нельзя. И это не важно.
— Что?
— Что я была и...
— Не важно! Не важно?
— Ведь лишь бы вы скорей поправились.
Он нахмурился.
— Так не важно?
— Ну, в другой раз. Ведь вы знаете, что все будет, как вы хотите.
Он улыбнулся.
— Я слаб,— прошептал он.— Милая...
— О чем вам рассказать, чтобы вы молчали?
— Сегодня едете?
— Нет, завтра.
— Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придете?
— Конечно.
Вошел доктор и с любезной улыбкой обратился к Чехову.
— Пора, Антон Павлович. Не утомитесь.
— Минутку... Лидия Алексеевна! У меня просьба...
Доктор предупреждающе поднял палец и потом подал ему листик бумаги и карандаш. Антон Павлович написал:
«Возьмите мою корректуру у Гольцева в «Русской мысли» сами. И принесите мне почитать что-нибудь ваше и еще что-нибудь».
Когда я прочла, он взял у меня записку и приписал: «Я Вас очень лю... благодарю». «Лю» он зачеркнул и улыбнулся.
Я простилась и пошла к двери.
Вдруг Антон Павлович окликнул меня.
— Лидия Алексеевна! Вы похожи на гастролершу! — громко сказал он.
— Это платье — Чайка,— смеясь, сказала я.
Доктор возмутился:
— Антон Павлович! Вы сами врач... Завтра, если вам будет хуже,— никого не пущу. Никого!
Мы с Алешей шли обратно, и я все время утирала слезы, которые катились по лицу.
Алеша молча отдувался и вздыхал.
— Алеша,— сказала я,— ты меня не жалей: у меня на сердце тепло, тепло...

XIII

Дома меня ждали две телеграммы. Одна: «Надеюсь встретить 27. Очень соскучились». Другая: «Выезжай немедленно. Ждем целуем».

На другое утро третья: «Телеграфируй выезде. Жду завтра непременно».

Я отправилась в редакцию «Русской мысли» к Гольцеву за корректурой.

Гольцев удивился.

— Зачем она ему сейчас? Успел бы позже.

Узнав, что я была в клинике, он стал меня расспрашивать о состоянии здоровья Чехова и подозвал еще двух или трех лиц.

— Вот... свежие новости об Антоне Павловиче.

— Плохо, что весна,— сказал кто-то.— Вчера река прошла. Это самое опасное время для таких больных.

— Я слышал, что он очень плох, очень опасен...— сказал еще кто-то.

— Значит, к нему допускают посетителей?

— Нет, нет,— сказал Гольцев.— Лидия Алексеевна передаст ему наши поклоны и пожелания. И скажите ему, что с корректурой спеха нет. Пусть не утомляется.

Я ушла из редакции очень расстроенная. Антон Павлович не произвел на меня впечатления умирающего, а тут говорили, что он очень, очень плох, упоминали про реку... «Самое опасное время...» Чувствовалось, что считали его погибшим.

Идти в клинику было рано (раньше двух меня не пустили бы), и я пошла на реку.

На Замоскворецком мосту я подошла к перилам и стала глядеть вниз. Лед уже шел мелкий, то покрывая собой всю реку, то оставляя ее почти свободной. День был солнечный, какой-то особенно голубой и сияющий, но в нем мне чудилась угроза, как и в мчащейся из-под моста буйной, нетерпеливой реке. Набегали льдины, кружились и уносились вдаль. Мне казалось, что река мчится все скорее и скорее, и от этого слегка кружилась голова.

Вот... Подточило, изломало, осилило и уносит. И жизнь мчится, как река, и тоже подтачивает, ломает, осиливает и уносит. «Самое опасное время...» «Плох Антон Павлович! Очень плох!»

Припоминалась мне его печать, которой он последнее время запечатывал свои письма. На маленьком красном кружоч-

ке сургуча отчетливо были напечатаны слова: «Одинокому везде пустыня».

«До тридцати лет я жил припеваючи»,— как-то сказал он мне.

После тридцати осилила, изломала жизнь? И теперь уносит?

Эх, жизнь! Могла ли она удовлетворить такого исключительного человека, как Чехов? Могла ли не отравить его душу горечью и обидой? Эту глубокую, чистую душу, такую требовательную к себе.

Не нашел счастья Антон Павлович! Едва прошел хмель молодости, когда беспредметно бьет ключом в груди радость бытия, едва он серьезно и требовательно оглянулся кругом, как уже начал себя чувствовать в пустыне, как уже стал одиноким. Быть может, смутно было вначале это чувство, но становилось все определеннее, все ощутимее, иначе к чему бы заказывать себе такую печать? И, возможно, не понимал он и не знает и теперь, что слишком высоко стоит он над всеми и что по его росту в нашей жизни счастья для него еще нет.

И вдруг почему-то вспомнилось смешное.

— Зачем вы прислали мне двугривенный? — спросил меня Антон Павлович.

— Двугривенный?!

— Ну да. Вы отдали его железнодорожному сторожу на станции Лопасня для передачи мне.

— Я вам записку передала!

— Записку сторож так замазал, что на ней ничего разобрать было невозможно, кроме разве вашей подписи. Двугривенный он мне вручил целешеньким. Я взял.

Это «я взял» смешило меня каждый раз, как я о нем вспоминала.

А река все мчалась и мчалась.

Нет! Антон Павлович не умрет... Допустить эту мысль — это потерять голову, это...

Я чуть не уронила пачку, которую держала под мышкой, встряхнула головой и быстро направилась к берегу.

Я пошла покупать цветы. Антон Павлович написал: «И еще что-нибудь». Так вот, пусть цветы будут «что-нибудь».

В клинику я пришла как раз вовремя. Меня встретила сестра.

— Нет, Антону Павловичу не лучше,— ответила она на мой вопрос.— Ночью он почти не спал. Кровохарканье, пожалуй, даже усилилось...

— Так меня не пустят к нему?

— Я спрашивала доктора, он велел пустить.

Сестра, очевидно, была недовольна и бросала на меня неодобрительные взгляды.

Я сорвала с своего букета обертку из тонкой бумаги.

— Ах! — воскликнула сестра.— Но ведь этого нельзя! Неужели вы не понимаете, что душистые цветы в палате такого больного...

Я испугалась.

— Если нельзя, так оставьте... оставьте себе.

Она улыбнулась.

— Все-таки, раз вы принесли, покажите ему.

В палате я сразу увидела те же ласковые, зовущие глаза.

Он взял букет и спрятал в нем лицо.

— Все мои любимые,— прошептал он.— Как хороши розы и ландыши...

Сестра сказала:

— Но этого, Антон Павлович, никак нельзя: доктор не позволит.

— Я сам доктор,— сказал Чехов.— Можно! Поставьте, пожалуйста, в воду.

Сестра опять кинула на меня враждебный взгляд и ушла.

— Вы опоздали,— сказал Антон Павлович и слабо сжал мою руку.

— Нисколько. Раньше двух мне не приказано. Сейчас два.

— Сейчас семь минут третьего, матушка. Семь минут! Я ждал, ждал...

Он стал разбирать книги и газеты, которые я ему принесла. Корректуру положил на стол и слушал отчет о моем посещении Гольцева.

— К сожалению, я почти все читал,— тихо говорил он.— Неизданные статьи Л. Н. Толстого? Последние? Да, это я прочту с удовольствием. Я не разделяю...

— Нельзя вам говорить!— прервала я его,— а вы, кажется, собираетесь разбирать учение Льва Николаевича.

— Когда вы едете?

— Сегодня.

— Нет! Останьтесь еще на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!

Я достала и дала ему все три телеграммы. Он долго их читал и перечитывал.

— По-моему, на один день — можно.

— Меня смущает это «выезжай немедленно». Не заболели ли дети?

— А я уверен, что все здоровы. Останьтесь один день для меня. Для меня,— повторил он.

Я тихо сказала:

— Антон Павлович! Не могу.

Я представила себе, что будет? Я пошлю телеграмму, что задержалась, и Миша сегодня же вечером выедет в Москву. Но положим, что он не выедет, дождется меня. Какой прием меня ожидает? И это бы ничего! Но ведь я дам ему уверенность, что люблю Антона Павловича, и сделаю так, что от нашего семейного счастья не останется и следа. И его и моя жизнь превратится в ад. А из-за чего? Из-за лишнего визита продолжительностью в три минуты.

Мысли беспорядочно неслись в моей голове.

— Значит, нельзя,— сказал Антон Павлович.

И я убедилась, что он опять все знает и все понимает. И Мишину ревность, и мой страх.

«Я уверен, что все здоровы».

— Не владею я собой... Слаб я...— прошептал он.— Простите...

Вошел доктор. Антон Павлович показал ему на цветы и уверенно сказал:

— Мне это не вредно.

Доктор наклонился, понюхал и неопределенно заметил:

— Хорошо!

Потом обратился ко мне:

— Плохо ведет себя наш больной: не спит, возбужден.— Засмеялся и прибавил: — Своеволен. Сладу с ним нет.

Я встала, чтобы уходить. Я понимала, что доктор очень не одобряет мои посещения и будет рад, что я уеду.

— Сегодня уезжаете? — как раз спросил он.

— Сегодня вечером.

— А если бы до вечера...— вдруг быстро начал Чехов, но, не договорив, замолчал, взглянул на доктора.

— Вам отдыхать надо, отдыхать,— твердил доктор.

Надо было проститься и уйти, но я была так поглощена своими мыслями, что плохо сознавала, что делала. И я стала собирать на кровати разбросанные книги и бумаги и заворачивать их.

Случайно я обернулась и увидела, что Антон Павлович лукаво улыбается и заслоняет обеими руками цветы. Я опомнилась, засмеялась и опять положила пакет на постель.

— Выздоравливайте! — сказала я и пожала руку Антону Павловичу сверху, как она лежала на одеяле.

— Счастливого пути,— сказал он, и я быстро пошла к двери. И, как в прошлый раз, он меня окликнул.

— В конце апреля я приеду в Петербург. Самое позднее в начале мая.

— Ну конечно! — сказал доктор.

— Но мне необходимо! — заволновался Антон Павлович.

— Конечно, конечно.

— Я говорю серьезно! Так вот, значит, в конце апреля... Я буду непременно.

— А до тех пор будем писать,— сказала я и быстро скрылась, поймав на себе строгий взгляд доктора.

На этот раз не было у меня тепла на сердце. Я отказала Антону Павловичу в его горячей просьбе: «...для меня». И вот для него я не смогла сделать такого пустяка, как остаться на один день.

«Я прошу...»

Я шла домой в очень тяжелом настроении, то обвиняя, то оправдывая себя, и вдруг увидала перед собой Льва Николаевича. Он часто гулял по Девичьему полю. Он узнал меня и остановился.

— Откуда вы? Из монастыря?

— Нет, из клиники.

Я рассказала ему про Антона Павловича.

— Как же, как же, я знал, что он заболел, но думал, что к нему никого не допускают. Завтра же пойду его навестить[21].

— Пойдите, Лев Николаевич. Он будет рад. Я знаю, что он вас очень любит.

— И я его люблю, но не понимаю, зачем он пишет пьесы.

«Вот,— думала я,— человек, который беспощадно осудил бы меня, если бы знал, что во мне происходит».

Ужасно захотелось видеть кого-нибудь, кто не был бы ни враждебен, ни безразличен к тому, что я сейчас так мучительно переживала, и я пошла к Алеше.

XIV

Ночью в вагоне я не спала. Не могла сладить со своими сложными, запутанными мыслями и чувствами. Лежала и томилась. Уж начало чуть-чуть светать, когда я вдруг очутилась на берегу моря. Море было свинцовое и тяжелое под низко нависшим тяжелым, свинцовым небом.

Волны бежали одна за другой, все с белыми сердитыми гребнями, и с непрерывным грохотом разбивались почти у моих ног. Рядом со мной шел Чехов и говорил что-то, но его слов я разобрать за шумом не могла. Вдруг впереди замелькало что-то маленькое, беленькое и стало быстро приближаться. Это был ребенок. Он бежал нам навстречу и радостно взвизгивал и подпрыгивал. Ему могло быть не больше двух-трех лет.

— Ребенок! — вскрикнула я.— Откуда здесь мог взяться ребенок? И такой прелестный и веселый!

Антон Павлович вздрогнул и остановился.

— Это не ребенок,— задыхаясь, сказал он,— нет! Это не ребенок. Я знаю! Он притворяется...

— Кто? — спросила я, чувствуя, что от страха у меня отнимаются ноги.

— Какой же ребенок,— продолжал Антон Павлович и встал впереди меня, как бы заслоняя и защищая.— У него рот в крови... рот в крови.

А ребенок был уже близко, но все бежал, взмахивая ручонками, радуясь и взвизгивая.

— Надо его бросить в море! — крикнул Антон Павлович.— В море! В море! А я не могу. Не могу-у-у.

От ужаса я проснулась. Поезд с грохотом шел через мост, паровоз пронзительно свистел.

Все еще только занимался рассвет. Сколько же я спала? Минуту, не больше.

Миша увидел меня в окне вагона, вошел с носильщиком, показал ему мои вещи, схватил меня под руку и повел. Шли мы быстро, молча. Я только спросила:

— Что дети?

— Здоровы. Все хорошо.

В гостиной, обнимаясь с детьми, я услыхала взрыв негодования: на этот раз виновата была горничная, потому что пахло чем-то, чем не должно было пахнуть.

Когда все смолкло, Миша вошел в гостиную и спокойно сказал:

— Ну, здравствуй, мать! Хорошо съездила?

— Съездила хорошо, а вернулась очень неприятно.

— Ну ладно, ладно! — сказал Миша, отмахиваясь рукой,— дам сейчас швейцару трешку. Что там! Иди, старуха, кофе пить! Ведите маму, детишки. Кофе горячий...

И вот опять потекла моя жизнь по старому руслу. Опять мелкие заботы по хозяйству, постоянная тревога за детей и опять Мишина требовательность и раздражительность,

ссоры, примирения, изредка крупные скандалы, гости, театры...

29-го я получила письмо от Антона Павловича.

«Москва 1897 г. марта 28.

Ваши цветы не вянут, а становятся все лучше. Коллеги разрешили мне держать их на столе. Вообще, Вы добры, очень добры, и я не знаю, как мне благодарить Вас.

Отсюда меня выпустят не раньше пасхи; значит, в Петербург попаду не скоро. Мне легче, крови меньше, но все еще лежу, а если и пишу письма, то лежа.

Будьте здоровы. Крепко жму Вам руку.

Ваш Чехов».

Мои цветы...

А мне Москва уже казалась сном. И еще казалось, что я выдумала и лестницу наверх, и маленькую палату с кроватью, столом и стулом, и милое лицо на подушке, и темные, ласковые, зовущие глаза.

И вот и сейчас лежит он все там же, и цветы мои стоят перед ним на столе, но он уже не ждет меня. Я отказалась остаться «для него» даже на один день.

Он теперь понял меня до дна и грустно усмехнулся: «Одинокому везде пустыня!»

«Счастливого пути!» — сказал он.

О, как я теперь все иначе слышала и понимала, чем в Москве! Как я вдруг далеко, далеко отошла от Чехова! И как постепенно, незаметно, я дошла до этого искреннего презрения к себе! Даже написать Чехову мне казалось невозможным.

XV

Мне часто вспоминается рассказ Чехова. Кажется, он называется «Шутка».

Зимний день. Ветер. Ледяная гора. Молодой человек и молодая девушка катаются на санках. И вот каждый раз, как санки летят вниз, и ветер шумит в ушах, девушка слышит: «Я люблю вас, Надя».

Может быть, это только так кажется?

Они вновь поднимаются на гору, вновь садятся в сани. Вот сани перекачнулись через край, полетели... И опять слышится: «Я люблю вас, Надя».

Кто это говорит? Ветер? Или тот, кто сидит сзади?

Как только они останавливаются, так все обычно, буднично, и лицо спутника равнодушно.

Я летела с горы в Москве. Я летела и раньше. Я слышала не один раз: «Я люблю вас». Но проходило самое короткое время, и все становилось буднично, обычно, а письма Антона Павловича холодны и равнодушны.

Кажется, рассказ Чехова называется «Шутка»[22].

Антон Павлович не приехал весной в Петербург, осенью его послали доктора в Ниццу. Он писал мне оттуда: «За границей я проживу, вероятно, всю зиму». Писал еще: «Здоровье мое сносно по утрам и великолепно по вечерам».

Это он писал в октябре. А в начале ноября: «Пока была холодная погода, все было благополучно, теперь же, когда идет дождь и посуровело, опять першит, опять показалась кровь, такая подлость».

Я посылала ему свои напечатанные рассказы, а он давал мне подробные отзывы.

«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел Ваши «Забытые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма — это неудачная, скучная форма, и притом легкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу. Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант, и если Вы до сих пор не верите этому, то потому, что сами виноваты. Вы работаете очень мало, лениво. Я тоже ленивый хохол, но ведь в сравнении с Вами я написал целые горы. Кроме «Забытых писем», во всех рассказах так и прут между строк неопытность, неуверенность, лень. Вы до сих пор не набили себе руку, как говорится, и работаете как начинающая, точно барышня, пишущая по фарфору. Пейзаж. Вы чувствуете, он у Вас хорош, но Вы не умеете экономить, и то и дело он попадается на глаза, когда не нужно, и даже один рассказ совсем исчезает под массой пейзажных обломков, которые грудой навалены на всем протяжении от начала рассказа до (почти) его середины. Затем, Вы не работаете над фразой, ее надо делать — в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться о ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом «стала» и «перестала». Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте»,— ведь это одно оскорбление. Я допускаю еще рядом «казался» и «касался», но «безупречная» — это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка,

и шероховатость Вы должны чувствовать, так как Вы музыкальны и чутки, чему свидетели — «Забытые письма». Газеты с Вашими рассказами сохраню и пришлю Вам при оказии, а Вы, не обращая внимания на мою критику, соберите еще кое-что и пришлите мне».

Я была плохая ученица и стала ясно понимать советы Антона Павловича позже, когда сама дошла до потребности «слушать» то, что я вижу, и не употреблять первые попавшиеся под перо слова, годные по смыслу, а выбирать их так, чтобы не было «оскорбления». Но несомненно, что эта потребность явилась именно из-за критики Чехова. Если я ее и не поняла нутром тогда же, то толчок она мне дала в желательном направлении, и если из меня все же ничего не вышло, то это только оттого, что я была талантливое ничтожество.

Я была убеждена, что Чехов понял это, так же, как и я, и относится ко мне иначе, чем прежде, и когда я писала ему, я чувствовала себя навязчивой, но не могла прервать переписку, как не могла бы наложить на себя руки.

На лето Антон Павлович вернулся в Россию, и в конце июля я получила от него следующее письмо:

«Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на Ваше последнее письмо. Хочется написать подлиннее, но руки отнимаются при мысли, что каждую минуту могут войти и помешать. И в самом деле, пока я пишу эти слова «помешать», вошла девочка и доложила, что пришел больной. Надо идти.

Финансовый вопрос уже решен благополучно. Я вырезал из «Осколков» мои мелкие рассказы и продал их Сытину на 10 лет. Затем, как оказывается, могу взять тысячу руб. из «Рус. мысли», где, кстати сказать, мне сделали прибавку. Платили 250, а теперь 300.

Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно занялся бы медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости.

Когда я теперь пишу или думаю о том, что надо писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана,— простите за сравнение. Противно мне не самое писание, а этот литературный entourage*, от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как земля носит свою атмосферу.

Погода у нас чудесная, не хочется никуда уезжать. Надо писать для августовской «Русской мысли»: уже написал,

* окружение (*фр.*).

надо кончить. Будьте здоровы и благополучны. Нет места для крысиного хвоста, пусть подпись будет куцой.

Ваш Чехов».

Я ждала августовскую книгу «Русской мысли» с большим волнением. В письмах Чехова я привыкла угадывать многое между строк, и теперь мне представилось, что он усиленно обращает мое внимание на августовскую книгу, хочет, чтобы я ее скорей прочла. Трудно объяснить, почему мне так казалось, но это было так. И едва книга вышла, я купила ее, а не взяла в библиотеке, как я обыкновенно это делала.

Одно заглавие «О любви» сильно взволновало меня. Я бежала домой с книгой в руках и делала предположения. Что «О любви» касалось меня, я не сомневалась, но что он мог написать?

«Вот я сейчас прочту художественную оценку своей личности,— думала я.— И поделом!»

Зачем, после свидания в клинике, когда он был «слаб и не владел собой», а мне уже нельзя было не увериться, что он любит меня,— зачем мне надо было писать ему в Ниццу, послать «Забытые письма», полные страсти, любви и тоски? Разве мог он не понять, что это к нему взывали все эти чувства? Зачем я это сделала, тогда как уже твердо знала, что ничего, ничего я ему дать не могу?

Теперь я прочту свой приговор.

В Мишином кабинете за письменным столом я разрезала книгу и стала читать.

Как это было трудно! Любовь повара к горничной. Она не хочет выходить за него замуж, а хочет жить «так», а он не хочет жить «так», потому что религиозен. Совсем не этого я ожидала! При чем тут повар и горничная?

Но вот Луганович приглашает к себе Алехина, и появляется его жена, Анна Алексеевна. У нее недавно родился ребенок, она молода, красива и производит на Алехина сильное впечатление. «Анна Алексеевна Луганович...» Мои инициалы. У меня тоже был маленький ребенок, когда мы познакомились с Антоном Павловичем.

«И сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое...»

Мне сейчас же вспомнилось:

«А не кажется вам, что, когда мы встретились в первый раз, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?»

Это спросил Антон Павлович на юбилейном обеде.

И я читала нетерпеливо, жадно.

«...Мне некогда было даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе».

Через страницу, уже после второго свидания, Алехин говорил:

«Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней...»

Тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать читать.

«Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись того, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с ней, мне казалось невероятным, что эта моя тихая грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего дома... Честно ли это? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?..»

«И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях...»

Я уже не плакала, а рыдала, захлебываясь. Так он не винил меня! Не винил, а оправдывал, понимал, горевал вместе со мной.

«...Я почувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга...»

«В последние годы у Анны Алексеевны уже бывало другое настроение... она выказывала странное раздражение против меня, что бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас».

О, как же! Я помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шапку в грязь. Ему, вероятно, вздумалось откинуть по привычке прядь волос, и он махнул рукой по шапке.

Алехин и Анна простились навсегда в вагоне. Она уезжала.

«Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих

рассуждениях об этой любви надо исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Я дочла и легла головой на книгу.

Из какого «высшего» надо исходить — я не поняла. И что более важно, чем счастье или несчастье, грех или добродетель,— я тоже не знала. Знала и понимала я только одно: что жизнь защемила меня и что освободиться из этих тисков невозможно,— если семья мешала мне быть счастливой с Антоном Павловичем, то Антон Павлович мешал мне быть счастливой с моей семьей. Надо было разорвать душу пополам.

Что он хотел сказать словами: «Как ненужно, мелко и обманчиво было все то, что мешало нам любить»?

Я схватила листок бумаги и написала Антону Павловичу письмо. Что я писала — я не обдумывала. Но чтобы не раздумать послать, я сейчас же пошла и бросила письмо в почтовый ящик. Уже на обратном пути я пожалела о том, что сделала. Неласково было мое письмо.

А через несколько дней я получила ответ:

«30 августа, Мелихово.

Я поеду в Крым, потом на Кавказ и, когда там станет холодно, поеду, вероятно, куда-нибудь за границу. Значит, в Петербург не попаду.

Уезжать мне ужасно не хочется. При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать. Мне кажется, что если бы эту зиму я провел в Москве или в Петербурге и жил бы в хорошей, теплой квартире, то совсем бы выздоровел, а главное, работал бы так (т. е. писал бы), что, извините за выражение, чертям бы тошно стало.

Это скитальческое существование, да еще в зимнее время,— зима за границей отвратительна,— совсем выбило меня из колеи.

Вы несправедливо судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий,— могу сказать одно: чужая душа потемки.

Погода скверная. Холодно. Сыро.

Крепко жму Вам руку. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш Чехов».

Припомнилось мое письмо.

Я благодарила за честь фигурировать героиней хотя бы и маленького рассказа.

«Я здесь встречалась с одним из Ваших приятелей, о котором его жена говорит, что он делает всякие гадости и подлости, чтобы потом реально и подробно описывать их в своих романах. Конечно, в заключение он бьет себя в грудь от раскаяния.

Вы упражняетесь в великодушии и благородстве. Но, увы, тоже раскаиваетесь».

Потом были такие фразы:

«Сколько тем нужно найти для того, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед откуда придется... Писать скучно, надоело, но рука «набита» и равнодушно, холодно описывает чувства, которых уже не может переживать душа, потому что душу вытеснил талант. И чем холодней автор, тем чувствительней и трогательнее рассказ. Пусть читатель или читательница плачет над ним. В этом искусство».

А в ответ нет ни одной, ни одной язвительной, раздраженной строки. Он даже выражает желание жить в ненавистном ему Петербурге, жалуется, что надо уезжать. Хоть бы упрекнул. Хоть бы пристыдил. Как-то он написал мне: «Верьте, вы строги не по заслугам». Это, кажется, был единственный выговор за все время.

XVI

Весь конец 1898 года был для меня чрезвычайно тяжелым: все трое детей заболели коклюшем, и одновременно Ниночка схватила где-то скарлатину, и не успела еще поправиться, как у Левушки началось воспаление легких. Я замучилась.

В январе 1899 года все начало приходить в норму, а в самом начале февраля я получила из Ялты письмо от Чехова.

«5 февраля. Ялта.

Многоуважаемая Лидия Алексеевна, я к Вам с большой просьбой, чрезвычайно скучной. Не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, найдите какого-нибудь человека или благонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда-то в Петербургской газете. И также походатайствуйте, чтобы в редакции позволили отыскать мои рассказы и переписать, так как отыскивать и переписывать в Публичной библиотеке неудобно. Если почему-либо эта просьба

моя не может быть исполнена, то, пожалуйста, пренебрегите, я в обиде не буду, если же просьба моя более или менее исполнима, если у Вас есть переписчик, то напишите мне, и тогда я пришлю Вам список рассказов, которые не нужно переписывать. Точных дат у меня нет, я забыл даже, в каком году печатался в Петербургской газете. Но когда Вы напишете мне, что переписчик есть, я сейчас же обращусь к какому-нибудь петербургскому старожилу библиографу, чтобы он потрудился снабдить Вас точными данными. Умоляю Вас, простите, что я беспокою Вас, наскучаю просьбой, мне ужасно совестно, но, после долгих размышлений, я решил, что больше не к кому мне обратиться с этой просьбой. Рассказы мне нужны; я должен вручить их Марксу на основании заключенного между нами договора, а то хуже всего — я должен опять читать их, редактировать и, как говорит Пушкин, «с отвращением читать жизнь свою».

Как Вы поживаете? Что нового?

Мое здоровье порядочно, по-видимому; как-то среди зимы пошла кровь, но теперь опять ничего, все благополучно.

По крайней мере напишите, что Вы не сердитесь, если вообще не хотите писать. В Ялте чудесная погода, но скучно, как в Шклове. Я точно армейский офицер, заброшенный на окраину. Ну, будьте здоровы, счастливы, удачливы во всех Ваших делах. Поминайте меня почаще в Ваших святых молитвах, меня многогрешного.

Теперь меня будет издавать не Суворин, а Маркс. Я теперь «марксист».

Преданный А. Чехов».

Трудно передать, до чего меня обрадовало это письмо! Поработать для Чехова — какое это счастье! И все складывалось удачно: из редакции мне прислали на дом переплетенные по полугодиям комплекты газеты. Миша порекомендовал мне двух переписчиков. Беда была только в том, что никто не помнил, в каком году начал писать в газете Антон Павлович. Я отправилась за справкой к старожилу библиофилу Быкову. Он был любезен, но ничего не помнил.

Конечно, я сейчас же написала Антону Павловичу, что начинаю орудовать, и получила от него в ответ:

«За Вашу готовность помочь мне и за Ваше милое, доброе письмо шлю Вам большое спасибо, очень, очень большое. Я люблю письма, написанные не в назидательном тоне. Вы пишете, что у меня необыкновенное умение жить. Может быть. Но бодливой корове бог рог не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в

ссылке. Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел; я был свободен и не знал свободы, был литератором и проводил свою жизнь поневоле не с литераторами, я продал свои сочинения за 75 тысяч и уже получил часть денег, но какая мне от них польза, если вот уже две недели я сижу безвыходно дома и не смею носа показать на улицу. Кстати, о продаже. Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее; совершил я это, матушка, для того, чтобы привести свои дела в порядок. Осталось у меня 50 тысяч, которые (я получу их окончательно лишь через два года) будут мне давать ежегодно две тысячи. До сделки с Марксом книжки давали мне около $3^1/_2$ тысяч ежегодно, а за последний год я, благодаря, вероятно, «Мужикам», получил 8 тысяч. Вот Вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение, но не очень завидуйте моему умению жить. Все-таки, как бы ни было, если попаду в Монте-Карло, непременно проиграю тысячи две — роскошь, о которой я доселе не смел и мечтать. А может быть, я и выиграю?

...Зачем в Ялте? Зачем здесь так ужасно скучно? Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу».

Я лежала на полу перед раскрытой книгой переплетенной газеты размером во весь лист и, макая руку в тарелку с водой, чтобы несколько смыть с нее вековую пыль, перелистывала каждый номер, читая подписи под фельетонами.

Так как Антон Павлович не помнил ни года напечатания, ни заглавия своего первого рассказа в этой газете, мне пришлось начать с самых отдаленных времен. Изредка попадались рассказы, подписанные одной буквой «Ч», и тогда я читала их, чтобы угадать, не принадлежали ли они перу Антона Павловича.

Я спросила Антона Павловича:

«Подписывались ли вы когда-нибудь одной буквой?»

Он ответил: «Не помню, матушка».

Сергей Николаевич тоже не знал.

Но рассказы «Ч» были до такой степени плохи, что я решила не обращать на них больше внимания. Таким образом я пролистала года два без всякой пользы.

Начихалась я отчаянно. Каждая страница поднимала облако пыли.

Итак, лежала я на полу и листала, а из головы не выходило письмо Чехова.

Ведь это были горькие жалобы. А Антон Павлович не легко жаловался и тосковал. Значит же круто, тяжело ему пришлось.

Постепенно вспоминалась фраза из «О любви»:

«Я был несчастлив...»

Неужели я никогда, никогда не принесу ему ничего, кроме огорчений?

Чехов писал мне часто, но в этих письмах я уже не чувствовала призыва.

XVII

Весной мне пришлось ехать в Москву. Между прочим, я рассказала Алеше, у которого я остановилась, что Антон Павлович хочет купить для матери и сестры в Москве дом, но не знает, как за это приняться.

— Чего же проще! — заявил Алеша,— вот мы заготовим ему списочек домов, которые продаются и, по твоему мнению, подходящи. Укажет их нам один мой знакомый, который как раз занимается продажей и покупкой домов. Он, конечно, жулик, но меня он надувать не захочет. За это я ручаюсь. Приступим?

— Ты знаешь, мне ничего не поручено.

— Ну, еще бы. Чехову это бы и в голову не пришло. Но раз он хочет купить и затрудняется, то надо помочь.

Мы оба весело смеялись.

— Люблю покупать дома и нанимать квартиры,— заявил брат.— И никогда никто не подозревает, что я забавляюсь, а на самом деле не мог бы купить и курятника. Суетятся, ухаживают, смотрят в глаза... А я хожу и подробно все оглядываю. Ах, какие это здания. Один раз я чуть не дворец покупал...

Так как мне приходилось все равно много ездить по городу с тем же комиссионером, который взялся помочь купить нужную мне мебель для дома в деревне, то заодно я смотрела и продающиеся дома, пригодные для Чехова. Я убедилась, что мой комиссионер умеет приобретать вещи за их половинную стоимость, пользуясь ему одному знакомыми условиями, разнообразными связями, а главное, своим опытом и пониманием.

— Стараюсь для вашего брата,— часто напоминал он мне.

— А для Чехова постараетесь?

— Это уж будьте покойны. Прямо, можно сказать, подарю ему дом. Мы тоже с понятием о людях. Убыток с другого покупателя наверстаем.

Но Антон Павлович написал мне 23 марта: «Деньги мои,

как дикие птенцы, улетают от меня, и через года два придется поступить в философы».

А в апреле: «Если мать и сестра еще не отказались от мысли купить себе дом, то непременно побываю у А. на Плющихе. Если я куплю дом, то у меня окончательно не останется ничего — ни произведений, ни денег. Придется поступить в податные инспекторы».

Так мне и не пришлось купить Антону Павловичу дом.

В Петербурге дело с перепиской приходило к благополучному концу.

«Вы присылаете не бандероли, а тюки,— писал Антон Павлович.— Ведь марок пошло по крайней мере на 42 рубля».

В середине апреля он уже приехал в Москву. Я ему написала, что 1 мая буду проездом на вокзале и он ответил:

«1-го мая я буду еще в Москве. Не приедете ли Вы ко мне с вокзала утром пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины».

Но мне приехать к Чеховым было очень неудобно. От поезда до поезда было часа два или немного больше, и надо было накормить всех завтраком, выхлопотать отдельное купе. Ехать на какие-нибудь четверть часа не стоило. Так я и написала Антону Павловичу. Едва мы кончили завтракать, как увидали Антона Павловича, который шел, оглядываясь по сторонам, очевидно отыскивая нас. В руках у него был пакет.

— Смотрите, какие карамельки,— сказал он, поздоровавшись.— Писательские! Как вы думаете, удостоимся ли мы когда-нибудь такой чести?

На обертке каждой карамельки были портреты: Тургенева, Толстого, Достоевского.

— Чехова еще нет? Странно! Успокойтесь: скоро будет.

Антон Павлович подозвал к себе детей и взял Ниночку на колени.

— А отчего она у вас похожа на классную даму? — спросил он.

Я возмутилась:

— Почему — классная дама?

Но он так ласково перебирал локоны белокурых волос и заглядывал в большие серые глаза, что мое материнское самолюбие успокоилось. Ниночка припала головкой к его плечу и улыбалась.

— Меня дети любят,— ответил он на мое удивление, что девочка нисколько не дичится его.— А я вот что хочу пред-

ложить вам: сегодня вечером играют «Чайку» только для меня. Посторонней публики не будет. Останьтесь до завтра. Согласны?

Согласиться я никак не могла. Надо было бы везти детей, француженку и горничную в гостиницу, телеграфировать сестре в деревню, телеграфировать мужу в Петербург. Все было чрезвычайно сложно и трудно.

— Вы никогда со мной ни в чем не согласны! — хмуро сказал Антон Павлович.— Мне очень хотелось, чтобы вы видели «Чайку» вместе со мной. Неужели нельзя это как-нибудь устроить?

Но как мы ни прикидывали, все оказывалось, что нельзя.

— А у вас есть с собой теплое пальто? — вдруг спросил Антон Павлович.— Сегодня очень холодно, хотя первое мая. Я в драповом пальто озяб, пока сюда ехал.

— И я очень жалею, что вы ехали,— сказала я.— Еще простудитесь по моей вине.

— А с вашей стороны безумие ехать в одном костюме. Знаете, я сейчас напишу записку Маше, чтобы она привезла вам свое драповое. Я сейчас же пошлю... Она успеет.

Мне стоило большого труда уговорить его отказаться от этой мысли.

— Так телеграфируйте мне, если простудитесь, и я приеду вас лечить. Ведь я хороший доктор. Вы, кажется, не верите, что я хороший доктор?

— Приезжайте ко мне не лечить, а погостить,— попросила я.— На это вы согласны?

— Нет! — сказал он быстро и решительно. И сейчас же перевел разговор на другое.

— Пришлось вам повозиться со мной эту зиму! Неужели вы читали все, что переписывали ваши писатели? Как мне вас было жалко. А дом-то вы мне покупали...— Он хмуро улыбнулся.— Не было у бабы забот, да завела баба порося...

Пришел носильщик и объявил, что можно занимать места, взял багаж и пошел, и следом за ним побежали дети и француженка.

Антон Павлович взял мой ручной саквояж и две коробки конфет, которые мне привезли провожающие в Петербурге. Мы тоже собрались идти, когда я заметила, что пальто его расстегнуто. Так как руки его были заняты, то я остановила его и стала застегивать пальто.

— Вот как простужаются,— сказала я.

— И вот как всегда, всегда напоминают, что я больной,

что я уже никуда не гожусь. Неужели никогда, никогда нельзя этого забыть? Ни при каких обстоятельствах?

— А я вот здорова, да насилу отговорила вас посылать за теплой одеждой Марии Павловны. Вам можно заботиться о том, чтобы я не простудилась, а мне нельзя?

— Так зачем же мы ссоримся, матушка? — спросил Антон Павлович и улыбнулся.

— Вы сегодня не в духе,— заметила я и, смеясь, прибавила: — Хотя в новых калошах.

— Совсем не новые,— опять сердито возразил Антон Павлович.

Мы шли по платформе.

— Вы знаете, теперь уже десять лет, как мы знакомы,— сказал Чехов.— Да. Десять лет. Мы были молоды тогда.

— А разве мы теперь стары?

— Вы — нет. Я же хуже старика. Старики живут, где хотят и как хотят. Живут в свое удовольствие. Я связан болезнью во всем...

— Но ведь вам лучше.

— Оставьте! Вы сами знаете, чего стоит это улучшение. А знаете,— неожиданно оживляясь, прибавил он,— мне все-таки часто думается, что я могу поправиться, выздороветь совсем. Это возможно. Это возможно. Неужели же кончена жизнь?

Из окна купе смеялись и кивали три детских личика.

— Пойдемте в вагон,— предложил Антон Павлович.— Мало того, что у вас скверный характер, вы легкомысленны и неосторожны. Ваш костюм меня возмущает. Как вы поедете ночью на лошадях?.. Сколько верст?

Ребята обрадовались нам, как будто мы давно не видались. Антон Павлович сейчас же опять взял Ниночку на колени, а мой сын протянул Антону Павловичу книгу:

— Я ее купил здесь в киоске. Вы это читали?

Антон Павлович взял книгу и перелистал ее.

— Я эту книгу читал,— очень серьезно сообщил он.— Это сочинение Пушкина. Это хорошая книга. Ты хорошо выбрал.

Лодя просиял.

— Это стихи. Вы любите стихи, Антон Павлович?

— Да, я очень люблю стихи Пушкина. Пушкин прекрасный поэт.

— Чуть не забыла отдать вам ваш последний рассказ,— спохватилась я.— Почему-то он остался...

— Воображаю, какая это дрянь. Вы его тоже читали?

— Нет, это не дрянь. Это рассказ Чехонте. Я очень люблю рассказы Чехонте. Это прекрасный писатель,— смеясь, возразила я.

— А сегодня вечером пойдет «Чайка». Без публики, только для меня. Ах, какие артисты. Какие артисты. А я сердит на вас, что вы не захотели остаться...

Послышался звонок, и Антон Павлович встал.

Мне вдруг вспомнилось прощание Алехина с Луганович в вагоне перед самым отходом поезда: «Я обнял ее, она прижалась к моей груди...» Я почувствовала, как вдруг заколотилось сердце и будто что-то ударило в голову.

«Но мы прощаемся не навсегда,— старалась я внушить самой себе.— Возможно, что он даже приедет ко мне или к Сергею Николаевичу».

Я не видела, как Антон Павлович простился с детьми, но со мной он не простился вовсе и вышел в коридор. Я вышла за ним. Он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито.

— Даже если заболеете, не приеду,— сказал он.— Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого... Вам не по средствам. Значит, не увидимся.

Он быстро пожал мою руку и вышел.

— Мама, мама,— кричали дети,— иди скорей, скорей...

Поезд уже стал медленно двигаться. Я видела, как мимо окна проплыла фигура Антона Павловича, но он не оглянулся.

Я тогда не знала, не могла предполагать, что вижу его в последний раз.

В эту холодную весеннюю лунную ночь в нашем саду непрерывно пели соловьи. Их было несколько. Когда тот, который пел близко от дома, замолкал, слышны были более дальние, и от хрустального звука их щелканья, от прозрачной чистоты переливов и трелей воздух казался еще более свежим и струистым. Я стояла на открытом выступе балкона, куталась в платок и глядела вдаль, где над верхушками деревьев, рассыпавшись, мерцали звезды.

Даже в теплом платке было очень холодно. Без малейшего ветра, воздух набегал волнами, и в нем, как хрустальные ледяные ключи, били соловьиные трели.

Все, что последовало, было для меня мучительной загадкой. Я написала ему. Он не ответил. Я написала вторично, предполагая, что письмо мое пропало. Но и на второе письмо не было ответа. Долго спустя, когда я узнала, что он в Крыму, я написала в Ялту.

Этого последнего письма, которого я себе долго, долго простить не могла, потому что в нем я уже не могла скрыть ни своей любви, ни своей тоски,— этого письма он не мог не получить, так как оно было заказное. Но Антон Павлович и на него не ответил, и я поняла, что между нами не недоразумение, а полный разрыв. Я поняла, что Антон Павлович твердо решил порвать всякие отношения, а раз он это решил, так оно и будет.

Я растерялась. Целыми часами сидела я где-нибудь в запущенной части сада, в грачиной роще или на канаве и думала свою неразрешимую думу. Почему? За что? За то, что я отказалась остаться на представление «Чайки»? Нет, этого не может быть! За то, что я застегнула ему пальто? За то, что, возможно, после бессонной ночи в вагоне я была неавантажна, неинтересна, некрасива? Возможно еще, что, окруженная детьми, багажом, у меня был вид самодовольной наседки?

Чего я только не передумала! но ни на одном предположении остановиться не могла: все было слишком невероятно для Антона Павловича, не только невероятно, но даже обидно и унизительно для него. А если и приходило в голову, то... должно же было хоть что-нибудь прийти в голову. Но важно было не то, что я думала, а то, что я чувствовала. Это было не горе, а какая-то недоумевающая и испуганная растерянность.

Как-то раз видела я, как мальчишки на бульваре выжгли глаза мыши, а потом пустили ее бегать. Мышь металась, кружилась и пищала, а мальчишки хохотали.

Мне выжгли что-то, что прежде давало мне уверенность, равновесие, спокойствие. У меня осталось одно недоумение, почему все так изменилось? И я сама и все окружающее? И как жить в этом новом, тяжелом мире?

Странно: у нас с Антоном Павловичем никогда не было «назидательных» разговоров. Он не высказывал мыслей, не поучал, не убеждал; он даже всегда уклонялся от отвлеченных разговоров, а любил слушать рассказы из пережитого. И больше любил слушать, чем говорить. А между тем такое громадное влияние он имел на людей! Чем он действовал? Выражением глаз? Складкой на лбу? Тем, как он слушал? Для меня было несомненно, что он воспитал меня, что он помог мне разобраться и утвердиться во многом. Рассказать о том, как это произошло, я бы не могла. Мне кажется, одно его присутствие вносило ясность, глубину и благородство в жизнь, прогоняло духоту и затхлость.

И этого друга я лишилась!

Как-то вдруг захлопнулось окно на воздух, на солнце, на даль...

Конечно, можно и нужно было продолжать жить так, как уже давно наладилась жизнь. Обыкновенная женская жизнь. Да и все в ней было хорошо: Мишино увлечение меня мало беспокоило, я очень скоро уверилась, что оно ничуть не влияло на его отношение к семье; дети у меня были прекрасные: здоровые, способные, милые. Наконец, мои литературные успехи давали мне немало радости. Даже Миша стал относиться к моим занятиям гораздо снисходительнее и потихоньку от меня собирал все газеты и журналы, где были напечатаны мои рассказы. Когда я это случайно узнала, меня это очень порадовало. Вообще все было хорошо. Наше семейное счастье процветало.

Но душу свою я разорвала пополам.

XVIII

Как-то я зашла к Худековым; по обыкновению, я собиралась пройти через гостиную в кабинет Сергея Николаевича, как вдруг Надя выбежала мне навстречу, схватила меня за руку и увела в бильярдную.

— Сергей Николаевич занят? Кто у вас?

— Нет, не то,— сказала Надя,— мне надо с тобой поговорить. Слушай... Ты знаешь? ты знаешь, что Антон Павлович женился? Знала? Нет?

Нет, я не знала.

— Мне все равно,— ответила я.— Не все ли мне равно?

Но сейчас же я почувствовала сильную слабость, холодный пот на лбу и опустилась на первый попавшийся стул.

Надя мочила мне голову, дала что-то выпить. Я скоро пришла в себя.

— Вот, история! — смеясь сказала я.— С чего это мне стало дурно? Ведь мне, правда, все равно.

— Можешь идти? Я тебя провожу. А к Сереже не заходи, на тебе лица нет.

Мы вышли на улицу.

— На Книппер женился?

— Да. Ужасно странная свадьба.

Она стала рассказывать то, что слышала.

— Ни любви, ни даже увлечения...

— Ах, оставь, пожалуйста! — сказала я.— Конечно,

увлекся. И прекрасно, что женился. Она артистка. Будет играть в его пьесах. Какая связь! Общее дело, общие интересы. Прекрасно. Я за него очень рада.

— Но, понимаешь, он очень болен. Что же, она бросит сцену, чтобы ухаживать за ним?

— Я уверена, что он этого и не допустит. Я знаю его взгляд на брак.

— Нет, это не брак. Это какая-то непонятная выходка. Что же ты думаешь, что Книппер им увлечена? С ее стороны это расчет. А разве он этого не понимает?

— Ну, что же? и расчеты часто бывают удачные. Все-таки очень хорошо, что он женился. Жалко, что поздно.

Надя опять стала рассказывать то, что говорили об этой свадьбе.

— Даже никто из близких не знал и не ожидал. И на жениха он был так мало похож.

Она проводила меня до дома и ушла обратно.

Через некоторое время я возвращалась домой из Союза писателей, и меня провожал один из его членов. Фамилию его я забыла.

— Я только что из Москвы, — говорил он, — и, между прочим, был у Чехова. Ведь вы с ним знакомы?

— Да. Встречались.

— Вот... Он мне говорил... Он даже сказал, что хорошо знает вас. И очень давно. Спрашивал о вас. И у меня осталось впечатление, что он очень... да, очень тепло к вам относится.

Я молчала.

— Видел я его жену. Артистку Книппер.

— Понравилась?

Он сделал какой-то сложный жест рукой.

— Артистка. Одета этак... — опять жест. — Движения, позы... Во всем, знаете, особая печать. Странно, рядом с Антоном Павловичем. Он почти старик, осунувшийся, вид болезненный... На молодожена не похож. Она куда-то собиралась, за ней заехал Немирович...

Опасаясь сплетен, я быстро перевела разговор на другую тему.

Очень хотелось спросить, что он обо мне спрашивал? Что он говорил? Из чего можно было получить впечатление, что он тепло ко мне относится?

Но я ничего не спросила. Мне было достаточно и того, что я слышала, чтобы едва сдерживать свое волнение.

С этой поры я часто слышала разговоры об этой свадьбе. Всегда говорили: «странно». А я не могла понять: почему

странно? Разве это не естественно, что писатель-драматург влюбился в артистку, для которой он писал роли? Она была талантлива, приятной наружности.

Когда-то, очень давно, случилось так, что мы играли с ней вместе в одном любительском спектакле. Ставили пьесу: «Странное стечение обстоятельств». Помню только, что в этой пьесе было две Софьи Андреевны и одну играла я, а другую — Книппер. Режиссировал Рощин-Инсаров и предсказывал мне блестящий успех, если я поступлю на сцену. Книппер была тогда очень незаметной, застенчивой и молчаливой молодой девушкой. Говорили, что у нее очень строгий отец. Брат ее, Константин, бывал у нас в доме и тоже жаловался на чрезмерную строгость отца. Мать я видела, и она на меня произвела впечатление очень чопорной и натянутой. Мы попытались познакомиться домами, но это не вышло.

Как-то, катаясь на тройках, вздумалось нам заехать за Ольгой Леонардовной и Константином. Подкатили мы со звоном и шумом к подъезду Книппер, стали звонить, как вдруг из двери испуганно выскочил Константин и замахал на нас руками. Он сказал что-то и сейчас же запер дверь.

— Что он сказал? Что он сказал? — спрашивали из саней.

— У него только что умер маленький брат,— шептали те, кто ходил звонить.

— Умер брат? Брат?

Мы отъехали шагом, чтобы не слышно было бубенцов. Все чувствовали себя так, будто были в чем-то виноваты, и стыдились. Настроение сразу упало.

Можно ли и надо ли мне было поздравить Антона Павловича? Пожелать ему от души, и от всей души, счастья и здоровья? Мне этого хотелось, вместе с тем я не решалась. За это долгое время после разрыва я успела многое понять и обдумать.

И мне казалось, что я поняла верно.

«Знаете ли вы, что теперь уже десять лет, как мы знакомы? Да, десять лет».

Целых десять лет неопределенных и напряженных отношений. Два раза пытался он положить конец этой неопределенности. Надо было сойтись или разойтись. Но «нам не везло». Объясниться до конца не удалось, помешала болезнь. («Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?») Кроме моей семьи, встала между нами еще и эта преграда: болезнь. И вот он решил одним ударом покончить и с нашей «тихой и грустной любовью» и со всеми сомнени-

ями, надеждами и ожиданиями. Случилось так, что мы, как и в его рассказе, прощались в вагоне. Почему мне не вспомнилось тогда, что его строгое, холодное, почти злое лицо, когда он повернулся ко мне, чтобы проститься, было совершенно такое же, как несколько лет назад, когда он сидел у меня и говорил: «Я вас любил. Знали ли вы это?» Я тогда испугалась его «ненавидящих» глаз. А он страдал. И в вагоне он страдал. Он сказал, что не приедет ко мне ни за что и что мне это стоило бы слишком дорого: «Я дорого возьму». А он только что видел меня с детьми и знал, что эта цена мне непосильна. Теперь мне было ясно, что это была последняя попытка узнать, насколько я его люблю. И потом он ушел и даже не оглянулся. Он твердо решил: это конец.

Так нужно ли и можно ли было мне поздравить его? Я сперва решила, что невозможно, но когда я узнала, что он спрашивал обо мне и «отзывался тепло», желание мое написать стало почти непреодолимо.

Я узнала, что он один в Ялте, а Книппер в Москве, и я сделала вот что: я написала записочку, в которой передала просьбу нашей общей знакомой, А. А. Луганович, переслать ее письмо П. К. Алехину, адрес которого Антону Павловичу, наверное, известен. Письмо Луганович я положила в отдельный конверт. Луганович писала Алехину, что узнала об его женитьбе и горячо, от всего сердца желает ему счастья. Она писала, что и сама успокоилась, и, хотя вспоминает его часто, вспоминает с любовью, но без боли, так как в ее личной жизни много радостей и удовольствий. Она счастлива и очень хотела бы знать, счастлив ли также и он.

Потом она благодарила его за все, что он ей дал. «Была ли наша любовь настоящая любовь? Но какая бы она ни была, настоящая или воображаемая, как я благодарю Вас за нее! Из-за нее вся моя молодость точно обрызгана сверкающей, душистой росой. Если бы я умела молиться, я молилась бы за Вас. Я молилась бы так: Господи! пусть он поймет, как он хорош, высок, нужен, любим. Если поймет, то не может не быть счастлив».

И Анна Алексеевна получила ответ от Алехина через мое посредство.

«Низко, низко кланяюсь и благодарю за письмо. Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего я болен. И теперь я знаю, что очень болен. Вот Вам. Судите, как хотите. Повторяю, я очень благодарен за письмо. Очень.

Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой

и сверкающей она бывает только на душистых, красивых цветах.

Я всегда желал Вам счастья, и, если бы мог сделать что-нибудь для Вашего счастья, я сделал бы это с радостью. Но я не мог.

А что такое счастье? Кто это знает? По крайней мере я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье именно в те минуты, когда, казалось тогда, я был наиболее несчастлив. В молодости я был жизнерадостен — это другое.

Итак, еще раз благодарю и желаю Вам и т. д.

Алехин».

Это письмо, подписанное Алехиным, я в числе прочих не отдала Марии Павловне для собрания «Писем». Почему Алехин? Надо было бы объяснять, выдать нашу тайну. Письмо у меня было украдено с другими письмами и бумагами. Украдено из-за красивого ящичка, в котором хранилось.

Но это было не последнее письмо Антона Павловича. Он мне ответил еще в 1904 году.

Тогда начиналась японская война, и мне очень хотелось сделать что-нибудь в пользу раненых. Я была возбуждена, полна энергии, а мне некуда было приложить свои силы.

Тогда я задумала издать сборник. Знакомых писателей у меня было много, и со многими у меня были хорошие отношения. Для печатания книги я надеялась на Сергея Николаевича. Я мечтала, что и материал и издание будут непременно очень хороши, а мне все обойдется чуть не даром. Значит, моя помощь одной моей работой и хлопотами принесет немало денег.

Прежде всего я написала Чехову.

Он ответил, что в настоящее время у него нет ни одной подходящей рукописи и что он вообще моей затее не сочувствует. «Если Вы не прочь выслушать мое мнение, то вот оно: сборники составляются очень медленно, туго, портят составителю настроение, но идут необыкновенно плохо. Особенно сборники такого типа, как Вы собираетесь издать, т. е. из случайного материала. Простите мне, ради бога, эти непрошеные замечания, но я бы повторил их пять, десять, сто раз, а если бы мне удалось удержать Вас, то я был бы искренно рад. Ведь пока Вы работаете над сборником, можно иным путем собрать тысячи, собрать не постепенно, через час по столовой ложке, а именно теперь, в горячее время, пока не остыло еще желание жертвовать. Если хотите сборник во что бы то ни стало, то издайте небольшой сборник ценою в 25—30 коп., сборник изречений

лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и пр.) насчет раненых, сострадания к ним, помощи и пр., что только найдется у этих авторов подходящего. Это и интересно, и через 2—3 месяца можно уже иметь книгу, и продается очень скоро. Простите за советы, не возмущайтесь. Кстати сказать, в настоящее время печатается не менее 15 сборников...»

Это он писал 7 февраля, а 14 февраля:

«Мн. Лидия Алексеевна. Завтра уезжаю я в Ялту. Если вздумаете написать мне, то я буду Вам очень благодарен.

Если Вы не издаете сборника, если так решили, то я очень рад. Редактировать и править сборники беспокойно, утомительно, доходы же обыкновенно невелики, часто убытки. По-моему, лучше всего напечатать в журнале свой рассказ, а потом гонорар пожертвовать в пользу Красного Креста.

Простите, я замерз, только что вернулся из Царицына (ехал на извозчике), рука плохо пишет, да и укладываться нужно. Всего Вам хорошего, главное, будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, которыми изнашиваются наши российские умы,— это еще вопрос. Крепко жму руку и шлю сердечное спасибо за письмо.

Будьте здоровы и благополучны.

Преданный А. Чехов».

Сотни раз перечитывала я это письмо. Откуда это новое настроение Антона Павловича? «Жизнь проще, не стоит мучительных размышлений...» И мне казалось, что он горько, презрительно улыбается, оглядываясь в прошлом на себя.

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

(Эпилог повести «А. П. Чехов в моей жизни»)[1]

Четвертого июля мы ждали с вечерним поездом много гостей[2]. Пятого праздновался день нашей свадьбы, и все наши друзья и родственники съезжались и по железной дороге и на лошадях, чтобы повеселиться и попировать.

Поезд приходил около 11-ти вечера. Мы слышали, как он просвистел, как экипажи прогремели по плотине. Вышли встречать на крыльцо.

Всем был приготовлен ночлег, и, после шумной сутолоки приезда, гости разбрелись по комнатам привести себя в порядок. Я стояла в столовой, оглядывая накрытый к ужину стол, когда Миша быстро подошел ко мне, взял меня под руку и вывел на неосвещенный балкон.

— Вот что...— сказал он резко, как будто сердился,— вот что... Я требую, чтобы не было никаких истерик. Я требую. Слышишь? Из газет известно, что второго в Баденвейлере скончался Чехов. Мы этой газеты еще не получили. Так вот... Веди себя прилично! Помни!

Он сейчас же ушел. Я осталась в темном углу. Ухватившись за перила, стояла и дышала. Дышать было трудно. Стоять тоже было трудно. Надо было напрячь все силы. Но времени у меня не было, и я отдышалась, и ноги стали меньше подкашиваться и дрожать. Я глубоко-глубоко перевела дух и попробовала двигаться. Спустившись на несколько ступеней к темному цветнику, я подняла голову и взглянула на небо: было облачно, но кое-где светились звезды. Подбежала дворовая собака и стала ласкаться, тереться о мое платье и протягивать мне лапу, и от этой ласки вдруг ожесточилась моя душа...

В столовой послышались голоса. Собирались ужинать. Миша кричал:

— Лида! Лида!

Я погладила собаку и пошла к гостям. Мне бросилось в глаза тревожное сострадательное лицо Нади, и я поспешно отвернулась.

Так как я уступила свою спальню гостям, мне постелили у Ниночки, на кушетке под окном. Ниночка крепко спала.

Я заперла дверь, поспешно легла и стала смотреть в окно. Уже слегка рассвело. По бесцветному небу протянулись длинные темные облака, деревья в саду стояли неподвижно. Сильно пахло левкоями.

— Чехов умер,— мысленно сказала я себе. Весь вечер никто не сказал об этом ни слова. Я все ждала, что будут говорить, но, может быть, об этом уже раньше наговорились и эта тема наскучила? Впрочем, я не задумывалась над тем, почему не говорили. Скончался 2-го в Баденвейлере. Хотела представить себе его мертвым в гробу, но ярко вспомнила его лицо на подушке в клинике, темные глаза, то ласковые, то хмурые, и вдруг лукавые и смеющиеся.

— Он умер,— внушала я себе, но сознать это я еще не могла. Мимолетно стало страшно, что сознать придется неизбежно.— Не надо,— отмахнулась я от этой мысли,—

ведь я ничего не чувствую, хоть и знаю. Что же еще? Так и будет.

Я попробовала катать голову по подушке, потом стала тереть шею и грудь.— Я так равнодушна, потому что я его пять лет не видала... И опять стала припоминать письмо: — Главное, будьте веселы... Да! Он сам когда-то был очень веселый. Это я помню. А потом гасла, гасла его веселость, а грусть постепенно, но настойчиво овладевала его душой. Я знала, почему... «Да и стоит ли она, жизнь, которую мы не знаем, тех мучительных размышлений...»

Да, замучился. Никто, как он, так болезненно не чувствовал «уклонения и ненормальности жизни», и вначале он думал, что достаточно указать на них, чтобы люди его поняли и постарались бы исправить то, что портили. Но люди читали, похваливали или помалкивали. Были восторженные, были снисходительные, были равнодушные или враждебные читатели, но не было таких, которые оглянулись бы на себя и сказали бы себе: «Стыдно! Да, действительно, стыдно так жить!» И его же упрекали, что он не идейный писатель, что он не учит, не руководит, не дает идеала. Разве не пропадал даром весь его громадный талант? Разве он не чувствовал этого?

Он не давал формы, внешности, костюма. Вот поклонники учения Толстого сейчас же сшили себе «толстовку», широкие штаны, отказались от мяса, от воинской повинности и поэтому становились толстовцами и чувствовали себя гордо.

Еще раньше девушки стригли волосы, носили косоворотки, не чистили ногтей и назывались нигилистками. Все это было просто и ясно.

Требования Чехова были иные: не надо было ни костюма, ни прически, а надо было научиться иначе чувствовать, иначе думать, чтобы не было «стыдно». И за это никаких знаков отличия, никакой этикетки. Очень любили Чехова и замучали. «Были мазинистки, фигнеристки, а теперь стали и «чехистки»,— говорил Миша.

Возможно, что и это чувствовал Чехов. А он пошлости не выносил. Очень любили Чехова, но многие ли понимали его? Разве ему не говорили, что его рассказы — «конфетки»?

В саду громко крикнул грач, ему тише отозвались другие. Первый, казалось, спросил: — Пора? Другие ответили: — Рано! Рано! И опять все затихло. А меня этот крик ударил по нервам и точно разбудил ото сна.

— Чехов умер,— напомнила я себе.— Умер.

Я приподнялась и облокотилась на подоконник. Уже совсем рассвело, и высоко в небе заалело облачко. И опять всплыло лицо Чехова на подушке.— Милая,— услыхала я его голос. Резкой болью кольнуло в сердце, я невольно вскрикнула, и тогда слезы хлынули из глаз...

<...>Несколько лет после смерти Антона Павловича его сестра, Мария Павловна, отдала мне мои письма к нему. Они были целы. « — Очень аккуратно перевязаны ленточкой,— сказала мне Мария Павловна,— лежали в его столе». Не перечитывая, я бросила их в печку. Я очень жалею, что я это сделала. Но я не могла не спрашивать себя много раз: зачем же он их собирал и берег? На полях я видела какие-то отметки. Почему я не хотела обратить на них внимания? Конечно, потому, что мне было больно. Читая его письма к жене, я два раза наткнулась на вопрос: — Не встречаешь ли ты Авилову? Ну как же! Мы встретились лицом к лицу, но вряд ли она меня узнала. Мы как-то играли в театре в пьесе «Странное стечение обстоятельств». Но мы обе были тогда так молоды![3] Она играла тогда одну Софью Андреевну, а я — другую Софью Андреевну. В этом и заключалось стечение обстоятельств. А странным было то, что это мне, а не ей прочили сценическую карьеру. Мимо меня прошло все, что в полной мере досталось ей. Чехова-Книппер! Как Книппер она дала и получила достаточно. Как Чехова... не знаю. Не мое дело[4].

ИЗ ПОВЕСТИ «О ЛЮБВИ»

<...>Я написала Чехову. Не даром мы с ним так много и хорошо говорили! Мне и писать ему было легко и хорошо, и никогда, ни к кому, в течение многих лет не писала я так «изнутри». (Надо ли объяснять это слово? Писать изнутри — это не изложение события, дела, мнения, пользуясь нужными словами, заранее составленным планом. Нет! Когда пишешь изнутри, то сперва представишь себе лицо, улыбку... все окружающее вдруг затуманится, отойдет... слова неожиданные забарабанят как дождь, польются помимо воли, скажут то, что только что родилось и удивляет и еще ново... прольются и иссякнут. И странно самой: откуда это взялось? и отчего больше нет?) Адрес для ответа я ему дала не свой, а ближайшего почтового отделения. И в этом отделении я прочла ответ...

Если я буду продолжать так писать[1] — только об Антоне Павловиче и о себе — только о «тайном», то как же это будет несправедливо по отношению к моему мужу. Всюду, где было примешано имя Чехова, он был груб, даже возмутителен. С первого рукопожатия... до последнего поклона на могиле... Но куда же я здесь вставлю настоящий образ моего мужа? Его образ, каким я любила его. А любила я его как друга, как спутника, как родного человека крепко и горячо, и жалела я его мучительно и прощала ему охотно, потому что понимала в нем все и сама причиняла ему немало страданий своей вечной борьбой с ним за то, что мне было дорого. Но я должна продолжать писать именно так, потому что я пишу о «тайном», а моя супружеская жизнь была явной, и все знали, что мы были примерными супругами.

...Я была страстная мать, любила своих детей тревожно, болезненно, но одна любовь совсем не мешала другой. Эти два чувства тянулись параллельно, не соприкасаясь, оба одинаково сильные и мучительные. Две натянутых, напряженных струны. Дети радовали, огорчали, часто болели, отнимали много времени и заботы. Казалось, жизнь была полна ими, и даже муж, который тоже безмерно любил детей, находил, что я слишком живу в детях, что это ненормально. Пожалуй, это и было так, но как же могло быть, что в то же время я никогда, никогда не расставалась с мыслью об Ант[оне] П[авловиче]? Я уже сказала, что никогда не верила, что и он любит меня. Его радость при встречах я объясняла его характером и еще тем, что, возможно, я все-таки нравилась ему достаточно, чтобы ему было весело со мной. Свою любовь я скрывала как могла, и когда он спрашивал меня о моей семье, о том, как я живу, я всегда рисовала свою жизнь в самых радужных красках. Я помню, как я один раз сказала ему, что не родители воспитывают детей, а дети — родителей. «Как я могла бы подойти к своим маленьким, если бы на моей совести было пятно? Мне кажется, что это было бы невозможно! и тогда как жить?..» Он задумчиво повторил: «Как жить?» — и, помолчав, прибавил: «У вас врожденная, настоящая нравственность». ...Был однажды такой общий разговор. Он спрашивал по какому-то поводу: справедливо ли, что ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь? Конечно, я ответила, что совсем не справедливо, нелогично и даже непростительно и возмутительно. Он очень удивился: «Вот не ожидал от вас такого ответа! Я предполагал, что вы узки и строги».— «Возможно, что вы правы и что для вас мой взгляд и строг и узок. По-моему, нельзя в этом вопросе руко-

водствоваться одним чувством, а всегда надо знать наверное, стоит ли? Взять всю сумму неизбежного несчастья и сумму возможного счастья и решать: стоит ли?»

Я была уверена, что он скажет: «Это значит не любить» или возмутится расчетливостью, а он замолчал, думал, нахмурился и потом спросил: «Но в таком случае когда же стоит?» Я сказала: «Когда нет жертв, которых очень-очень жалко с той или другой стороны. А в одиночку всегда можно все перенести, то есть не пожалеть себя. Именно себя надо меньше жалеть, и тогда ясно будет, стоит ли?» — «Я уже говорил вам, что у вас какая-то настоящая, невыдуманная нравственность»,— неожиданно заключил он, и я с радостью почувствовала, что он понял меня, тогда как мне казалось, что мне надо еще много объяснять, доказывать и защищать. Надо было хорошо меня знать, чтобы так понять[2].

[НА ПЛЮЩИХЕ]

Моя мать[1] была дареная. Одна сестра, многодетная и с очень ограниченными средствами[2], подарила ее другой сестре, бездетной и обеспеченной[3]. Едва она родилась, как ее перевезли из деревенской усадьбы в Московскую. Это было 100 лет тому назад. Я явилась на свет через четверть века и долго не сознавала и не помнила себя. Я была вполне нормальным и здоровым ребенком и не понимаю, почему мои воспоминания приобрели некоторую ясность и немного последовательности только с семи- или восьмилетнего возраста. Может быть, помню что-нибудь и из более раннего времени, но приписываю это позднейшему, потому что жизнь была очень однообразна и лишена впечатлений... Впрочем, мне слишком памятно впечатление страха. Оно стало даже привычным. Я боялась бабушку, отца[4], мать и наших бесчисленных, постоянно сменяющихся гувернанток. В то время было очень принято кричать. Не в ссоре, а выражая свой гнев на человека, который обязан был слушать этот крик молча, покорно, без возражений и объяснений. Часто у этих людей дрожали колени, искажалось от страха лицо: они были подчиненные, зависимые. У нас в доме кричала бабушка и кричал отец. «На кого?» — спрашивали мы, дети, друг у друга или у прислуги, спрашивали шепотом, с испуганными лицами, как только начинался крик. Иногда нам отвечали, спокойно улыбаясь: «Ну чего там? На Степку!» Всем казалось, что если кричали на Степку, то это не имело никакого значения.

Ему было лет 13—14, он шлепал босиком, у него была курносая, задорная физиономия, а на голове никогда не приглаженный хохол, за который его было очень удобно таскать. И я раз видела, как мой отец возил его за этот хохол по полу около своего кресла, и никогда не могла забыть возмущения и злобы, которые охватили меня.

Вероятно, надо было быть самой несчастливым ребенком, чтобы так больно посочувствовать другому. «Что, Степка, больно?» — спросила его я тогда, отыскав его в чулане под лестницей, где он обычно ночевал. Он тряхнул головой, почесал черную пятку о свою коленку и засмеялся. «Щекотно!» — коротко ответил он. И вдруг присел на четвереньки и запрыгал как лягушка. «Остриги свой хохол,— советовали ему,— не за что возить будет!» — «Ишь, а ухи»,— горячо возражал он и почему-то дразнился языком.

Не так страшно, но неприятно было, когда кричала бабушка. Она заливалась на очень высоких нотах и взвизгивала. Но мы знали, что этот крик не сопровождается никаким рукоприкладством и не грозит никакими последствиями. Это — простая формальность. Но когда эта формальность обращалась на одного из нас, отношение к ней менялось: невыносимо было, что надо слушать и молчать, а если скажешь слово, то оно непременно будет расценено как дерзость и удвоит вину.

От крика и строгостей старших мы спасались в наш мезонин с маленькими комнатками, низкими и душными, где мы жили под властью нянек и гувернанток. Няня, впрочем, всегда защищала нас и ненавидела гувернанток. Она была из крепостных отца, так же как ее брат кучер, и оба захотели остаться на своих должностях. Кроме них, осталась еще в деревне, в нашей усадьбе, целая семья: управляющий и его жена и брат управляющего, столяр, две дочери управляющего — горничные, Оля и Маша, которые ездили с нами на зиму в Москву. Все они были наши друзья и враги бонн и гувернанток.

Едва вероятно, кому поручалось в это время воспитание детей. Я не знаю, откуда бабушка брала гувернанток, но они сменялись у нас одна за другой, и немки (к младшим), и француженки (к старшим). Как только являлась новая, ей вручалась над нами неограниченная власть, и она становилась безответственной хозяйкой нашего мезонина, пока ее не выгоняли по какому-нибудь случаю. Жаловаться на этих особ нам не позволялось, и мы должны были все терпеть. Были они очень разнообразны. <...>Одна из таких «воспи-

тательниц» привязала брата Пашу к спинке кровати веревкой, ушла со двора и забыла о нем. Брат был еще маленький. Он плакал, рвался и так устал, что заснул стоя, уронив голову. Няня, которая не смела его отвязать, испугалась этого сна и вообразила, что он умирает. Она сообщила нам о своем предположении, и мы громко заревели. Прибежала снизу прислуга, и на лестнице поднялся такой шум, что услыхал отец. Эту особу выставили с большим скандалом, чему мы были черезвычайно рады, потому что наказания на нас так и сыпались, не считая ударов линейкой по рукам.

Спасаясь от постоянного надзора и вечной скуки, я придумала себе развлечение. Жили мы на Плющихе, очень широкой и тихой улице, по которой рано утром и вечером пастух собирал и гнал стадо на Девичье поле. Я хорошо знаю Девичье поле. Мать иногда берет меня в монастырь к обедне, а потом мы заходим пить чай в келью мамашиной двоюродной сестры. Я не любила стоять в церкви на длинной монастырской службе, не любила тетки-монашенки и ее чая, но ехать по мягкой дороге среди луга, слушать жаворонков, смотреть на густые зеленые чащи за заборами садов с правой стороны, на рассеянное по широкому лугу стадо с левой, проезжать мимо огородов и пруда, почти примыкавших к монастырю, и любоваться издали Воробьевыми горами, куда так хотелось и так редко удавалось попасть,— это было большое удовольствие.

Итак, жили мы на Плющихе, по которой рано утром шло стадо. Пастух играл на рожке и хлопал кнутом так, что этот звук был похож на выстрел. Коровы мычали, ворота хлопали... Словом, поднимался шум, от которого я почти всегда просыпалась. Мне пришло в голову вставать и потихоньку выбираться из дому на крыльцо. К счастью, в это время вместе со мной в комнате спала моя родная бабушка, а не гувернантка. Эту бабушку, Веру Дмитриевну, я не только не боялась, но даже слегка покровительствовала ей, так как она, в свою очередь, боялась всех, в особенности свою сестру, Надежду Дмитриевну, которой она подарила мою мать. Да и спала она крепко. И вот я накидывала платье, брала в руки обувь, осторожно спускалась по лестнице и пробиралась по коридору к передней. Здесь опасаться было уже нечего, и я выскакивала на крыльцо. Ах, это весеннее утро! Этот чистый воздух, прохлада, свобода! Как жизнь могла быть прекрасна! Я осмелела до того, что вытаскивала из дома две клетки с канарейками и пару горшков с растениями, расставляла все на крыльце и воображала, что доставляю радость не одной себе. Я действи-

тельно чувствовала, как птицы и растения радуются вместе со мной, и, чтобы усилить эту радость, я меняла корм и воду в клетках и поливала цветы из лейки прямо сверху. Все крыльцо бывало залито и засорено, но я не обращала на это внимания — высохнет на солнышке!

Едва проходило стадо, как в воротах показывался водовоз, впряженный в свою двухколесную водовозку. Он быстро спускался в своих оглоблях в ложбину ворот, но тут останавливался и начинал вертеться вправо и влево, стараясь вытащить бочку. Он вертелся и дергал, а вода в бочке плескалась под большим деревянным крестом, выплескиваясь во все стороны. Напрягая все силы, водовоз, наконец, справлялся и проезжал мимо меня за угол дома. Мне всегда вспоминалось, что я часто слышала зимой, как он сливал воду в нашу бочку и как стукали большие ледышки. Тогда на дворе было еще совсем темно, и я представляла себе, как он мучился в воротах, скользя и падая, немного отдыхал и опять вертелся, выбиваясь из сил.

Часто, вскоре после водовоза, в воротах показывалась другая фигура. Это был полный, уже пожилой человек, в цилиндре, в перчатках, с тросточкой в руке и сигарой в зубах. Он проходил мимо меня будто не глядя, но я замечала, как он быстро, равнодушно взглядывал. Это был жилец флигеля за садиком, и я знала, что он возвращается из клуба. Но что такое клуб — этого я не знала. Один раз, когда бабушка сказала мамаше: «Вон Голубовский уже пошел в клуб. Рановато, а вернется к утру»,— я осмелилась спросить: «Что такое клуб?» Конечно, я услыхала обычный ответ: «Сколько раз повторять, что дети не должны предлагать вопросов? Поживешь — узнаешь!» Я решила, что ходить в клуб — это очень тяжелая работа и что поэтому у Голубовского всегда хмурый, неприветливый вид.

Прибегала наша дворовая собака Цыган и лезла на крыльцо, пугая канареек. Тогда я начинала поспешно собираться. Я знала, что вслед за Цыганом всегда появлялся дворник, а потом и Дмитрий Семенович, управляющий, наш самый злой враг. Это был маленький, сухонький человечек, который никогда не ходил, а всегда бегал и всюду совал свой нос. К каждой своей фразе он прибавлял слова «пример-значит», и его у нас никто иначе и не называл как этой бессмысленной приговоркой: «Пример-значит опять барыню расстроил, наябедничал на кучера!» — «Уж сживет Пример-значит подвальных жильцов. Уж так к ним придирается, так придирается... Своих прочит». Тут я говорю не о старших, а

о прислуге и о нас. Бабушка Дмитрия Семеныча очень ценила и доверяла ему во всем.

И вот Дмитрий Семеныч заболел. Кажется, у него был удар и он лишился употребления ног. Если он и ходил, то с трудом. И с тех пор он уже не выбегал, как раньше, а выезжал. На обязанности дворника было брать его на руки, как ребенка, и таскать по всему двору. Мы так его и звали «верховой дворник». Дмитрий Семеныч сидел, обнявши одной рукой дворника за шею, и распоряжался. И сколько раз я видела, как, рассерженный каким-нибудь упущением или беспорядком, Пример-значит бил свободной рукой дворника по голове и по лицу, а тот только слегка уклонялся и отвертывался. Таким образом они обходили весь двор, все постройки и скоро возвращались домой. А могло ли прийти в голову дворнику грозить ему или протестовать? Без ропота доставлял он его на место и потом шел к своей работе, встряхивался и разминал шею, иногда весело перекидывался замечаниями с конюхом или кучером. «Наездился?» — кричали ему. «А как же?! Известное дело!» — «Хоть не тяжелый!» — «Не тяжелый, да цапкий! Как ухватится, так ровно клещами».— «Да ты бы его, как за сарай-то заедешь, поучил бы маленько. Там никто не увидит». Такой совет вызывал веселый хохот, и было ясно, что и давали его и принимали в шутку.

Удивительно, что я ни разу не попалась во время своих утренних похождений. И только один раз я сильно испугалась: из подвальной квартиры вдруг вышла и остановилась у крыльца жилица мадам Анго. Это была та самая квартирантка, к которой придирался Пример-значит. «Так рано встали?» — спросила она меня удивленно. Я так растерялась, что не знала, что сказать, и сказала всю правду. «Не выдавайте меня, мадам Анго, не говорите бабушке. Я знаю, вы часто с ней говорите. Я сейчас опять лягу и буду спать». «Ничего я про вас не скажу никому! — успокоила меня старушка.— Вы думаете, я не знаю, какая у вас жизнь с вашими проклятыми гувернантками? Слышала. Знаю. И чтобы я вас выдала? Никогда».

Почему эту русскую бедную женщину, швею звали французским именем, я не знаю или не помню. Раньше я верила, что она правда француженка, и спросила ее: «Вы говорите по-французски?» — «А как же? — ответила она смеясь.— Бонжур, мамзель. Коман але ву?» Я тоже засмеялась, так она смешно произносила по-французски. «Но почему вы мадам Анго?» — «А как кого назовут, так и зовись!» — «Нет,

правда»,— приставала я.— «А правды-то на свете и нет! Что тут поделаешь?» — отшучивалась она.

Славная была старушка! веселая, добродушная, хотя очень бедствовала со внуками — сиротами и, говорили, начинала слепнуть. Кстати сказать, Дмитрию Семенычу не удалось ее выселить, а внуков пристроили добрые люди. Бабушка? Отец? не знаю. Но почему-то мадам Анго крестилась, когда говорила о них. Нет, мадам Анго меня не выдала.

Я спешила все убрать, запереть двери и уйти в дом. В доме меня поражала духота и затхлость. Ни в одном окне, ни в одной комнате не было форточки, а рамы выставлялись очень поздно. Зимой дом вентилировался только топкой печей, да еще окуривался «монашками». Эти монашки стояли на металлических блюдечках по столам, их поджигали сверху, и они курились тоненькой синеватой струйкой. Потом на блюдечке оставалось немного пепла. Брызгали еще чем-то из пульверизаторов, но, помнится, это было нововведение и производилось редко. В таком воздухе мы, дети, жили всю зиму, никогда не бывая на дворе или на улице. У нас даже долгое время не было зимней одежды: не считалось нужным. На воздухе можно было простудиться, в доме этой опасности не было. В комнатах было очень тепло, а у нас в мезонине даже жарко, потому что комнаты тут были очень малы, а потолки так низки, что гувернантка сломала один раз о потолок свою гребенку, взмахнув ею над головой.

Пробравшись наверх со всеми возможными предосторожностями, я уже смело входила к себе в комнату, которую я тогда занимала вместе с моей родной бабушкой, матерью моей матери, Верой Дмитриевной Кузминой. Этой бабушки я нисколько не боялась и даже немножко покровительствовала, потакая ей в ее слабостях, не из любви к ней, а просто потому, что это льстило моему самолюбию. Эти ее слабости забавляли меня. Она когда-то была смолянкой[5], очень красивой (говорили даже, что красавицей), танцевала при государе какой-то танец с шалью и удостоилась от него милостивой улыбки и нескольких слов похвалы. Потом она вышла замуж по любви за красивого, талантливого и очень увлекавшегося Кузмина[6], имела очень много детей и очень мало средств и поэтому подарила своей сестре — Надежде Дмитриевне Черторижской, бездетной и со средствами,— двух своих дочерей немедленно после их рождения. Одна из этих подаренных дочерей была моя мать — Надежда Афанасьевна Кузмина, другая, Лидия, умерла еще девочкой десяти лет. Бабушка Надежда Дмитриевна, воспитавшая мою мать, счи-

талась у нас «настоящей», и все в доме ее боялись, уважали и любили.

Вера Дмитриевна жила с нами после того, как овдовела, трепетала перед своей сестрой, которая всегда попрекала ее глупостью, и заискивала перед нами, старшими внуками, и даже перед прислугой. Мне, девочке, тогда казалось, что она совсем уже старенькая и некрасивая, а она не могла забыть своих былых успехов, а главное, танца с шалью. Она затягивалась в корсет, уверяя, что привыкла к этому в Институте, и жаловалась, что не может выходить на улицу без густой вуали, так как мужчины пристают к ней с любезностями.

Но больше всего меня забавляло то, что она старалась уверить всех и меня, что никогда не спит по ночам с самой смерти мужа. Когда я приходила ложиться спать, она говорила мне: «Ну, ты спи, а я встану на молитву. Когда я очень усердно молюсь, Афоня приходит ко мне, и мы опять вместе». И она действительно становилась перед образницей. Я тушила сальную свечу, зажимая фитиль особыми щипцами, чтобы он не чадил, и комната освещалась только светом лампадки, защищенным зеленым стеклянным щитком с изображением Тайной вечери. Бабушка клала земные поклоны, шептала молитвы и вдруг настораживалась и спрашивала замирающим голосом: «Афоня, это ты?» Я никогда не верила искренности этого вопроса и, случалось, начинала смеяться или отвечала ей басом: «Да, это я!» Бабушка очень огорчалась и жаловалась, что я не сплю и мешаю «им». Но потом, утомившись поклонами и стоянием, она очень скоро тоже укладывалась в постель и шептала: «Нет-нет, я спать не буду, я буду молиться и ждать. Приходи, мой друг, приходи!» Затем мы обе засыпали. И, вставая к стаду, я никогда не боялась, что она проснется, так мирно и сладко она похрапывала. В общем, мы жили с ней в больших ладах, и я любила ее рассказы про Смольный, про золотые кареты, про ее красоту и про то, как дедушка Афоня прекрасно играл на виолончели и писал стихи. Этого дедушку я даже немного помню, и он мне очень нравился.

Сближало нас еще то, что мы обе ненавидели наших гувернанток и вместе побаивались всех, кто жил внизу: бабушку Надежду Дмитриевну, отца и мать.

Где теперь эти стада, бредущие по Плющихе и Девичьему полю? Где водовозы и верховые дворники? Дом, где мы жили, стоит еще и теперь[7]. Снаружи он мало изменился. Но из всех, кто жил там в то время, осталась я одна.

ГОРЕ

Лето 1875 года мы, как всегда, проводили в Клекотках[1]. 9-го июля 1875 года мы пошли гулять после дождя, а когда вернулись, то оказалось, что Елизавета Петровна[2] оставила где-то плед, который зачем-то брала с собой. Бегали его искать — не нашли. Отец, только что оправившийся после болезни, сидел в зале на очень широком кресле около больших часов[3] и был в веселом настроении. Он побрился и был какой-то праздничный, хотя в халате и в своих старых кожаных туфлях без задков. Он в первый раз встал и вышел из спальни. Поддразнивая Елизавету Петровну, он пел, смеясь и подмаргивая: — Wo bist du, wo bist du, mein geliebtes Pled?*

Перед сном Софье Васильевне[4] пришла фантазия завить мои волосы на папильотки. Зимой я болела корью (болели все шестеро детей), меня остригли, но теперь волосы уже отросли, хотя заплетать их было еще нельзя. Мне хотелось завиться, чтобы быть похожей на барашка. Смочили меня квасом и накрутили на голове множество твердых валиков на клочках газетной бумаги. Их кончики торчали во все стороны. Надо было проспать всю ночь в таком уборе, и это не могло быть удобным и приятным. Но меня завивали и раньше, с длинными волосами, и я как-то приспособилась. Легли. Опять пошел дождь и застучал в окна и по крыше. Я не помню, заснула я уже или еще нет, когда в комнату кто-то вошел со свечой и чей-то голос сказал: «Вставайте скорей. Папенька умирает...»

Он не умирал, он уже умер. В спальне помню только множество народу, беготню, суетню и голос мамаши: «Леля, Леля! Да ответь же ты мне, Леля! Ах, да оставьте вы меня в покое! Все глупости... Обморок... Леля! Холодный? Да уйдите вы все...» Федя широко раскрытыми испуганными глазами глядел на мамашу. Я, в одной короткой рубашке, вся в папильотках, не смела подойти близко к кровати. «Уж не сейчас умер... Уж остыл...— говорили в толпе.— Глаза-то потом не закроешь... Обмывать бы... Зеркала-то занавесьте... Руки бы связать...» Кажется, мне стало дурно. Я очутилась у себя на постели. Бабушка наклонилась надо мной и сердито ворчала. Когда она была огорчена, она всегда сердилась. А затем я помню, как срывала с себя папильотки и как это было боль-

---

* Где ты, где ты, мой любимый плед? (*нем.*)

но. Не развертывала, а срывала. И волосы оказались завитые, квас склеил.

К утру приехали мои старшие замужние сестры, мамашины падчерицы[5]. Я спряталась подальше, чтобы не слыхать, как они рыдали, вскрикивали, истерически причитали...

Папашу положили в зале на столе. Гроб еще не привезли. Он лежал очень важный, очень красивый, милостиво улыбаясь. И как-то случилось, что я совсем не заметила дня, а настала опять ночь, и опять дождь барабанил в окна и по крыше. В буфетной расположились Шеголевские портнихи, за которыми, очевидно, посылали, и они даже ночью кроили, сметывали, трещали на швейной ножной машинке. Шили только белое и черное, и на большом столе и на полу лежали целые вороха растрепанной материи. Кто-нибудь из дворни все время приносил портнихам то есть, то пить, и самовар без перерыва кипел на прилавке.

Я совершенно не была в состоянии сидеть и сновала по всему дому без всякого дела и без цели. В спальне и в гостиной было темно, в зале, кругом покойника, горели толстые церковные свечи. В головах у него стоял дьячок и читал псалтырь, негромко и монотонно, прерывая свое чтение, чтобы высморкаться или умять воск вокруг огня свечи. Сбоку стояли сестры, Надя и Саша, наклонялись над отцом и то шептали что-то, то прижимали платки к губам, а из глаз капали слезы прямо на лицо и руки покойника. Каждый раз, как я входила из гостиной, сестры вздрагивали и быстро выпрямлялись.

— Что ты все ходишь?— с раздражением спросила Саша.— И зачем-то завилась!

— Сашечка, не надо...— тихо заметила Надя.— Не вчера же она завилась! Ты через спальню ходишь?— обратилась она ко мне.— Да.— Сестры переглянулись.— Нет, ты ходи, ходи, пожалуйста,— продолжала Надя.— Слышишь? Непременно ходи сколько хочешь... Не спится?— Я помотала головой. Хотелось плакать, потому что она как будто приласкала меня. Саша смутилась.— Кто ж ей мешает? — все-таки ворчливо заметила она. Я поглядела на прекрасное лицо отца и подумала, что живой он никогда не был таким.

— Как хорош!— сказала Надя, точно угадав мои мысли. Я кивнула и быстро ушла. Дождь лил как из ведра и стучал по окнам и по крыше.

На другой день наехало много народу. Привезли гроб. Когда отца хоронили, его до церкви мужики несли на руках, а грязь по дороге была такая, что трудно было вытащить из нее ноги. Мамаша и сестры и еще кое-кто из близких шли

пешком, а Федю и меня усадили в коляску. В церкви была теснота и сутолока. Бабы притащили ребят, и грудные кричали, потому что им вообще полагается кричать, а те, которые были побольше, пугались толкотни и мертвеца, к которому матери совали их прямо в гроб, приказывая проститься. Иногда чей-то голос требовал: «Воды! Дайте воды!» — и мужья выводили то Надю, то Сашу из церкви в полуобморочном состоянии. Мамашу я искала глазами и никак не могла найти. Вдруг сторожу или церковному старосте вздумалось отодвинуть толпу от гроба. Люди шарахнулись в стороны, завизжали уже не одни дети... Когда стали заколачивать гроб, я, как сквозь сон, увидела мамашу, которую тащили под руки... Потом ничего не помню...

Я лежала в постели и слышала, что поют. «Панихида?» — спросила я Софью Васильевну, которая сидела у стола и что-то ела. «Нет,— отвечала она,— все еще блины подают, а духовенство встанет и поет. Это, говорят, так полагается. А духовенства много! Откуда столько понаехало?.. Блинов хочешь?»

Гости разъехались, все успокоилось. Я не знаю, на который это было день после смерти. Везде мыли полы. Шлепали босые ноги баб, шлепали мокрые тряпки, которые выбрасывали из ведер. Нигде нельзя было пристроиться: только сядешь поуютнее, как в комнату влезет баба с ведром и шмякнет тряпкой на самой середине комнаты, шмыгнет носом, вытрет его оборотом руки и скажет: «Побеспокою я вас!» — «В спальне вымыто и сухо,— сказала мне Маша.— Ведь первым делом там мыли!» Я пошла в спальню. Все там было так, как при папаше, только деревянная двуспальная кровать без подушек была покрыта одной простыней, да у образницы-угольника горела лампадка, а ее обыкновенно зажигали днем только в праздники, да еще во время сильной грозы. Я случайно глянула вверх и замерла: у двух окон висели клетки с канарейками, и клетки были на месте, но канареек не видно было, и не только не видно, но и не слышно. Если бы они были внизу у кормушек, летела бы шелуха от семени, если бы они купались, летели бы брызги... Никогда не было ни минуты, чтобы их присутствие не было бы заметно, пение, чириканье, прыжки по жердочкам, удары клювиков... Теперь же мертвая тишина, жуткая пустота... Я быстро влезла на стул и сняла одну клетку. На дне ее лежал маленький желтый трупик с вытянутыми тоненькими лапками, с полуоткрытыми закатившимися глазками. Причина этой смерти была ясна: в кормушке ни одного полного зернышка, в стаканчике — ни кап-

ли воды. Сняла я и другую клетку. Конечно, и там лежал трупик. Забыли про птичек! все забыли! Никто не хотел им зла, а как они настрадались, бедняжки, прежде чем околеть! Я села около стола, на который поставила клетки, вынула птичек и положила рядышком перед собой. Забыли! И я забыла... А они, наверное, кричали, просили. Или птички не кричат, когда им плохо? Умирали молча, пометавшись по клетке, в бесплодных поисках?

Все эти дни я ни разу не плакала по-настоящему, глотала слезы и сама не понимала, не могла или не хотела дать им волю? Мне даже казалось, что если я заплачу, то это только для того, чтобы все видели, что я не бесчувственная, и начали жалеть бы меня, как жалели мамашу и сестер. Кто-то сказал про меня, что у меня деревянное лицо. Я поняла так, что меня осуждали, возмущались моим поведением, и тем более не хотела в нем ничего изменить.

Как всякое горе было бы искреннее, цельнее, чище, если бы не посторонние влияния, наблюдения, осуждения или одобрения!

Да, все эти дни я не плакала, но теперь, когда передо мной лежали эти маленькие трупики, мне было все равно, хорошо это или плохо, надо это или не надо,— я глядела на них и рыдала, и слезы текли ручьями, и я прямо изнемогала от слез, от горя, от жалости.

Вошла Маша, подошла к столу и сказала только: «Ах!» Я закрыла лицо мокрым платком и разрыдалась еще больше. Маша еще сказала: «Да... забыли...» — вздохнула и ушла.

Мы с ней похоронили наших птичек в саду. Федя не принимал участия, потому что вместе с мамашей высаживал цветы на могилу отца.

[ОТРОЧЕСТВО]

Отец Алексей Федорович Страхов умер, когда мне было 11 лет. Мать была на двадцать девять лет моложе его, ей было 36 лет. За те четырнадцать лет, что она была замужем, у нее было 12 человек детей[1], и она была в полном подчинении мужа и очень властной бабушки[2]. У нас в доме не было ни книг, ни журналов, ни газет. Бабушка распоряжалась и нами, и у нее насчет воспитания были твердые и непоколебимые правила. Одно из них было: «Дети не должны предлагать вопросов». Но было еще множество других, и ни одно из них никогда не забывалось и не менялось и не возбуждало в ней ни тени сомнения. Она никогда не разрешала моей матери

читать, считая всякую книгу, кроме детской учебной, пустой и вредной. Надо было знать языки (разговорную речь), мальчики должны были ходить в гимназию, девочки — учиться дома рукоделию, музыке, танцам. В свободное от гимназии время мальчики должны были готовить уроки или переписывать что-нибудь из книжки. Но главное: все, и мальчики и девочки, должны были слушаться и вести себя примерно. Мои братья совсем не отвечали этому идеалу, и, после некоторой борьбы, мать должна была согласиться отправить своего старшего Федора в пансион в Одессу, а потом в Киев (потому что там в то время был знакомый попечитель учебного округа).

Когда я впоследствии читала «Детство и отрочество» Л. Н. Толстого, меня поразило, что бабушка Иртеньева и Мими испугались дроби и назвали ее порохом. Последней каплей, переполнившей чашу терпенья нашей бабушки, была как раз тоже дробь. Брат высыпал ее из блока висячей лампы, а бабушка увидела ее, пришла в ужас и объявила матери, что «или она, или он». Конечно, мать решила, что «она», и брат на много лет попал в изгнание. Он уже учился в Москве, в У-й гимназии, и не могу не упомянуть, что, когда он поступал, в награду за выдержанный экзамен его прокатили на конке. Тогда это была новость, и, значит, первые конки в Москве пошли, приблизительно, в 1873—1874 гг. Но, возможно, что мы просто не знали о их существовании, пока они не появились на соседних от нас улицах. Это могло быть, так мало мы общались с внешним миром. Гость, кроме близких родственников, в нашем доме был такой редкостью, что на него сбегались подглядывать в щель двери все домашние. Газета «Полицейские ведомости», как обязательная, всегда валялась на ларе в передней, пока ей не находилось применения, но никогда не прочитывалась никем. Но все-таки думаю, что такая новость, как конка, так или иначе дошла бы до нас. Бабушка была лакома до новостей, которые, впрочем, всегда осуждались, а рассказать о конке могли и родственники. Помнится мне один ее племянник <...>, который привозил с собой ридикюль, вынимал из него рукоделие и, разговаривая, вышивал шелками или гладью.

Старшего брата изгнали, но второй, младше меня на три года [Павел], стал подрастать и оказался не лучше старшего. Это был когда-то любимец бабушки, и часто можно было слышать следующее: «Где мой брильянт?» — И Паша отвечал: «Здесь!» Но брильянт стал непозволительно шалить: Дмитрий Семеныч донес бабушке, что он опустил из окна мезонина

сапог с кошкой в подвальный этаж к жильцам. Кошка выпрыгнула из сапога в окно, вскочила на стол и разбила чашку. Бабушка стала сердиться на Пашу не меньше, чем когда-то на Федора. Один раз она замахнулась на него, чтобы ударить, но он уклонился, а она ударилась об открытую дверь и сломала себе руку. С тех пор она уже не выходила из своей комнаты, разнемоглась и вскоре умерла[3].

Еще до смерти бабушки порядки в нашем доме начали меняться. Наша новая гувернантка, m-lle Cristine [Zabulotte], образованная француженка, настояла на том, чтобы мы гуляли каждый день, чтобы нам купили книг с картинками, ввела по вечерам чтение вслух. И тут оказалось, что мать очень любила читать. Она еще очень любила играть на рояле, и в доме у нас был рояль, но всегда стоял запертым. После смерти отца наша жизнь стала заметно изменяться. Мне удалось поступить в гимназию, на что у меня раньше не было никакой надежды. Это поступление сыграло очень важную роль: я освободилась из тесной клетки, в которой жила до 14 лет. В гимназии я училась плохо. Когда я стремилась стать гимназисткой, я представляла себе ученье как-то иначе: не так скучно и неинтересно. Мне казалось, что мои домашние учительницы не настоящие, ничего сами не знают, и поэтому заставляют меня учиться по книге, выучивать страницу за страницей <...> Почему мне не нравилась гимназия? Я не старалась себе этого объяснить, оценить учителей и их преподавание. Что я в этом понимала? Я не сомневалась, что все было именно так, как должно было быть. Особенно мне нравился учитель истории Фортунатов <...> Но я не любила уроков истории, потому что он гонял меня по хронологии, а я ее не могла, да и мало хотела запомнить. Равнодушна я была к учителю русского языка С. А. Соколову. Читая стихи, он хмыкал носом и читал так плохо, что портил впечатление. Досадно было и то, что с ним не было никакого простора. Это я живо чувствовала. Объявит в классе сочинение и непременно даст темой характеристику... и непременно так, как он дал ее в предшествующих уроках. Самостоятельности мысли он не допускал. И опять наползала скука... Редко-редко давались отвлеченные темы, и для меня это всегда был праздник.

Ненавидела я нашего немца Гинцбурга. Француз наш назывался M. Bougon. У него была какая-то лавка на Арбате. Он всегда вызывал меня при попечителе...

Но я не хочу задерживаться на гимназических годах. Четыре года сплошной скуки. Что они мне дали? Они дали мне

общение с людьми, разрушили какую-то стенку, которая изолировала меня. Они дали мне живой материал для наблюдения, они дали мне подруг и в конце концов они дали мне совершенно неожиданное счастье: знакомство с Вартером и Гольцевым с их готовностью помочь моим первым литературным шагам.

Но я забежала вперед. Я плохо училась и часто тяготилась необходимостью каждое утро отправляться в гимназию. Мешали мне учиться книги, т. е. чтение, и благодаря чтению же я сознавала необходимость образования, и я уже ни за что не хотела такой жизни, как бабушкина и жизнь матери, а чтобы добиться другой, содержательной и интересной, мне казалось необходимым получить диплом домашней учительницы. Это уже было какое-то оружие для дальнейших достижений. У меня был большой секрет: я начала писать. Уже давно я пробовала писать стихи, и у меня уже была тетрадь: «Полное собрание стихотворений Л. Страховой». Но позже я решила, что писать стихи так же трудно, как ходить по канату, вместо того чтобы ходить свободно по земле, и я перешла на прозу.

У матери образовалась привычка играть по вечерам на рояле. Часто она садилась довольно поздно... Эта игра, которую я могла прекрасно слышать, доставляла мне громадное удовольствие. Больше всего она любила играть вальсы и ноктюрны Шопена, Мендельсона и сонаты Бетховена, Листа. Слушая музыку, я могла читать, могла писать стихи, могла писать рассказ. Наконец, просто могла лежать и мечтать, воображая себя героиней всех моих будущих романов!

По субботам у меня собирались подруги, а у старшего брата — товарищи по университету. Шумным и веселым стал наш такой прежде тихий и скучный дом. Досадно вмешивалась только во все, мешала и сердила m-lle. Считалось невозможным почему-то отделаться от нее, так как было совершенно невозможно, чтобы молодая девушка вышла одна на улицу, и она всюду сопровождала меня. Я должна была идти с ней рядом, держась очень прямо и не оглядываясь по сторонам — это было неприлично. Вообще всякие условности и приличия («конвенансы») казались мне тогда неизбежными. Мне и в голову не приходило, что я могла бы бороться со всеми этими установившимися обычаями, приемами, правилами и требованиями. И только когда я кончила гимназию, сейчас же после моих выпускных экзаменов, m-lle перешла жить к нашим хорошим знакомым, Даниловым, тоже в качестве воспитательницы.

[СТРАХ]

Читала рассказ Мопассана «La peur» и вспомнила совершенно аналогичный случай из своей жизни. Это был такой же страх, бессмысленный, но ужасный, непередаваемый и незабываемый. Страх, который рассеивается с первым лучом дневного света, ничем не оправдывается, но непобедим никакими доводами рассудка.

Только что умерла моя подруга Надя Черкасова, молодая девушка семнадцати лет. Ее привезли из Крыма в Тульскую губ. в Голдино, имение ее отца, и поставили в гробу в церкви. Церковь была против усадьбы через выгон, всего в нескольких десятков шагов, и кругом церкви было кладбище, засаженное деревьями и кустами. Накануне похорон я приехала в Голдино со своей гувернанткой, m-lle Кристин Забулот, и так как было уже поздно, меня не пустили в церковь поклониться Надиному гробу, и я только видела в окно дома несколько слабых огоньков, светящихся в церкви, и представляла себе Надю мертвой, окруженной паникадилами, забитой в двойном ящике среди темной пустой церкви, куда меня не хотели пустить. Я стояла у окна, смотрела, думала и плакала.

Вдруг подошла ко мне Аксинья Егоровна, экономка. Я еще не видела ее по приезде, и мы крепко обнялись и стали плакать вместе. Я напоминала ей Надю, которую она знала и любила еще больше меня, с самого ее рожденья, так как Черкасовский дом и Аксинья Егоровна были как бы немыслимы друг без друга спокон веку. Два года тому назад умерла мать Нади, Варвара Яковлевна, и Аксинья Егоровна стала еще больше необходима в доме как единственная его хозяйка. Это была толстая, добродушная, преданная старуха, чрезвычайно типичная старая слуга. Все ее хорошие качества были только по отношению к хозяевам, а с дворней она ругалась с утра до ночи и была так расчетлива и даже скупа, что ее, кажется, очень не любили. Но ворчала она не на хозяев, а в особенности на молодежь, у которой был слишком развитой аппетит.

Смерть Варвары Яковлевны, а через два года и Нади были тяжелыми ударами для старухи, и ее горе делало ее для меня близкой и родной. Мы стояли и плакали. «А в доме у нас, матушка, нехорошо,— таинственно сообщила она мне, пугливо оглядываясь.— Ах, как нехорошо!» Я подумала, что Сергей Алексеевич, отец Нади, с горя стал пить, как пил после смерти жены, но старуха отрицательно покачала головой и опять пугливо оглянулась. «Ходит она, моя голубушка,

ходит,— прошептала она.— Сама видела, своими глазами!» «Кто ходит, Аксинья Егоровна?» — «Да «она». Ищет. Вот как полночь, как потушат везде свет, так она и идет... Во все комнаты заглядывает, надо всеми кроватями наклоняется. Надюшку ищет. И вдруг застонет-застонет, жалобно так! Не может, значит, найти. Нет ее!» — «Это Варвара Яковлевна?» — спросила я. «Она, она! Каждую ночь ходит. Я ей даже сказала: — Матушка наша! али нет покоя твоей душеньке? — А она ручки так заломила, да как застонет! и пропала...» — «Аксинья Егоровна! — прошептала я,— да может быть вам так показалось? И как вам не страшно было с ней говорить?» Старуха даже обиделась: «А не верите, так как хотите! Что мне на старости лет выдумывать? Над каждой кроватью останавливается, да близко так к человеку пригнется, разглядывает, кто лежит. Видно, все кажется, что Надюшку увидит. А поймет, что не она, и нахмурится, страшная станет... А уж стонет-то как, стонет! А то вдруг смеяться начнет...» Меня позвали ужинать и мы расстались.

Голдинский дом был большой, старый, в два этажа. Я уже совсем не помню его, но помню, что комнаты были большие, высокие, что их было много и что, кроме того, были длинные коридоры. Меня с m-lle Кристин положили в одной комнате, и она тоже была большая, высокая, скудно освещенная одной свечой.

— Мне страшно,— сказала я, как только мы легли,— мне ужасно страшно!

M-lle Кристин взволновалась:

— Чего вы боитесь? Почему?

Я рассказала ей все, что я слышала от Аксиньи Егоровны и, рассказывая, дрожала как в лихорадке.

— Но ведь вы знаете, что все это выдумка, что ничего подобного не может быть,— успокаивала меня m-lle.— Voyons! C'est ridicule*. Нельзя так распускаться!

— Но мне страшно!— повторяла я.— Она придет! Я чувствую, что она придет! Она примет меня за Надю и потом узнает и рассердится.

— Стыдитесь! Вы верите таким сказкам? Постарайтесь заснуть, и завтра вы посмеетесь над своими страхами.

Но я заснуть не могла.

— Как она ходит?— думала я.— Со свечой или без свечи? Кажется, Аксинья Егоровна говорила, что со свечой. Иначе, как она могла бы вглядываться и искать?

---

* Ну же! это смешно! *(фр.)*

— Вы не спите, m-lle?

— Нет. И вы можете быть спокойны, что я не засну. Хотите поговорим?

— Куда мне деваться, m-lle? Я чувствую, что она сейчас придет, что она уже близко...

— Но это, наконец, смешно и глупо! Вы взрослая девушка.

— Идет...— простонала я.— Боже мой, она идет!

Я слышала какой-то шорох, чье-то дыхание, и, чтобы не видеть и не слышать, уткнулась лицом в подушку. О, как страшен был весь этот большой старый дом и напротив, через выгон, эта церковь с огоньками в окнах. Церковь, в которой, в двойном гробу, лежала Надя. Если бы Варвара Яковлевна увидала бы эти огоньки, может быть, она поняла бы? Может быть, она успокоилась бы? Обе они теперь мертвые... Разве мертвые еще боятся смерти? Они должны быть вместе. А она ходит и ищет и сейчас придет, сейчас...

Я чувствовала, что надо мной кто-то стоит, и невольным движением вскинула голову и взглянула... Со свечой в руке надо мной наклонилась белая фигура с незнакомым мне бледным лицом, и чья-то рука протянулась надо мной. Я дико закричала и уже не помню, что было потом со мной. M-lle Кристин говорила со мной, успокаивала, упрашивала опомниться. Нет! Я все еще не узнавала ее. Я никогда не видала ее в ее длинной ночной рубашке, с заплетенными косичками около ушей, с таким изменившимся лицом, которое было так чуждо без ее пышно нагофрированных седых бандо с пробором посередине, без вставных зубов. Я узнавала только ее голос, но и он, дрожащий, испуганный, казался мне подделкой, какой-то хитростью той, которая хотела обмануть меня. Вместо своей Нади она нашла и узнала меня. Разве не должна была она возненавидеть меня за это? Почему я, а не Надя?

— Да придите в себя! — говорила, умоляя, m-lle Кристин.— Видите же вы, что это я? Выпейте воды. Успокойтесь.— И от волнения она лила воду из стакана на мою постель. Я уже начинала понимать, верить. Ужас мой проходил, и я уже с доверием держалась за ее руку, но достаточно было колебания огонька свечки, тени, пробегающей по ее лицу, чтобы цепкий страх опять накидывался на меня, как дикая кошка.

— M-lle!— кричала я.— M-lle! Почему вы смеетесь? Нет, это не вы! Почему вы смеетесь!

Конечно, она не смеялась.

— Зачем вы делаете гримасы? Нет, вы не обманете меня, нет.

Она догадалась одеться. Потом придвинула кресло к моей кровати и села. Так она была больше похожа на себя, и я успокоилась. И всю ночь она просидела рядом со мной, а я лежала с широко раскрытыми глазами, вздрагивая при малейшем шорохе, и чувствовала, как велик, пуст, несчастлив и страшен темный дом, как стоит Надин гроб в пустой, страшной церкви, как горят огни, как неподвижна и бесконечна ночь и как тяжело, жутко бьется мое сердце.

M-lle говорила почти без умолку и вдруг замолчала. Я оглянулась на нее и увидела, что голова ее склонилась и покачивается. Она задремала. И в то же время я увидела, что два больших окна нашей комнаты чуть-чуть поголубели, и за ними уже не было ночи, а было что-то мутное, что-то живое. Огонь свечи пожелтел и стал неприятным.

Я привстала и тронула m-lle за руку.

— Идите спать, дорогая... Ложитесь... Я теперь не боюсь.

— Нет, нет...— сконфуженно сказала она.— Я не спала. Я не устала.

Но она оглянулась и тоже заметила рассвет.

— Как мне совестно,— сказала я.— Я всю ночь мучила вас!— И я уже сама не могла понять: что же это со мной было? Как я могла поверить словам Аксиньи Егоровны? Ни тени страха уже не оставалось в моей душе, я была сконфужена, спокойна и ужасно утомлена. И, засыпая, я чувствовала себя в милом, родном, когда-то таком веселом доме. И ничего не было страшного, а было в нем только грустное, ласковое, как заплаканное лицо старого человека. Зачем Надиной маме искать Надю? Конечно, они теперь вместе, и им хорошо. Они так стосковались в разлуке!

На другой день Надю похоронили, а меня увезли домой.

[ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ]

Я держала выпускные экзамены. И вот на выпускном экзамене по русскому языку случилось нечто, что я сочла чудом. Перед тем как начать вызывать учениц для устного ответа, наш учитель стал раздавать листки с письменными работами. Это были «характеристики» и сочинения на вольные темы. «Перед тем, как отдать вам листки, мы решили прочесть одно сочинение вслух,— заявил он.— Я прочту его классу как самое выдающееся».

Это сочинение на вольную тему было мое, но этому было

так трудно поверить, что я слушала и недоумевала: почему оно мне так знакомо?

После чтения меня сейчас же вызвали к экзаменационному столу, где сидели директор, инспектор, начальница, ассистенты и другие лица. Устного экзамена я не держала. Меня расспрашивали о том, что я читала, кто мои любимые писатели. Мне пришлось признаться, что я уже давно пробую сама писать и что у меня уже много своих рассказов и повестей. Между ассистентами был приват-доцент Вартер, и он, недоумевая, спросил: «Но почему у вас в году за сочинения не высшие баллы?» Я ответила, не задумываясь: «Ах, ведь классные сочинения такая скука! Да это и не сочинения... Всегда характеристики, то есть изложение мнения Сергея Алексеевича». И тут я заметила, как Сергей Алексеевич покраснел и закашлялся. Мне поставили 12 с двумя крестами и отпустили. Но, когда я уходила из залы, Вартер догнал меня и спросил, согласна ли я прочесть ему какой-нибудь мой рассказ, и тут же записал мой адрес. Этот удивительный случай на экзамене изменил всю мою жизнь. Вартер рассказал обо мне Виктору Александровичу Гольцеву, расхвалил мой рассказ, который я ему прочла, и Гольцев пригласил меня к себе со всеми моими рукописями. Мой первый визит к Гольцеву был моим вступлением в тот мир, который так притягивал меня и который казался мне недоступным. Жил Гольцев в маленьком домике около Успенья на Могильцах[1]. Уютно смотрели окошечки домика на тихий, безлюдный переулочек.

Несколько раз прошла я мимо подъезда, прежде чем решилась позвонить...

У застенчивости очень разнообразные причины. У меня главной причиной была неуверенность в себе, доходящая до уверенности, что я непременно скажу или сделаю глупость. M-lle меня вымуштровала, и я, что называется, умела себя держать в обществе. Я даже так прониклась этим умением, что не могла отвязаться от него, и это мне иногда очень вредило... Все сперва считали меня надутой и гордой, а если я говорила что-нибудь резкое, считали это за грубость, обижались, отдалялись... Мое «уменье себя вести»... мешало мне почти всегда, и я поневоле убедилась, что совсем не умею себя вести.

Но можно ли было быть менее страшным, менее важным, чем Виктор Александрович? Он встретил меня как старую знакомую.

Мы с ним сидели в маленьком зальце, за столом, а кругом нас кишели дети. Может быть, их было и не так много, но они

были до такой степени шумны, подвижны и резвы, что заполняли собой все пространство. Один мальчик все влезал сзади на стул отца и рисовал у него что-то на лысине. Виктор Александрович слабо отмахивался от него, но не делал никакого замечания. Очевидно, дети были здесь полными хозяевами и вели себя как хотели. Меня в детстве гувернантки так задергивали воспитанием, что я всегда чувствовала себя как связанная, и такая детская свобода удивляла меня.

На первый раз я сидела у Гольцева недолго, отдала ему свои рукописи и вышла на улицу как ошеломленная: мне сказали, что Гольцев профессор, кроме того, он писатель; печатает свои произведения в Русской Мысли. Я ожидала, что попаду в «святилище», увижу человека с «именем», то есть такого, какого никогда еще вблизи не видела, серьезного, мало доступного, а увидала добродушного лысого человека, у которого дети рисовали что-то на этой лысине.

Потом я стала довольно часто бывать у Г[ольцева]. Он заставлял меня работать и много помог своими советами. Помню и сейчас многие его уроки: одна повесть была у меня написана от первого лица. Содержание он очень одобрил, но форма ему не нравилась. «Переделайте так, чтобы не было этого «я», которое все портит. Вы увидите, насколько вещь выиграет». Я переделывала и убеждалась, что он прав. В другой раз он говорил: «Этот рассказ совсем почти хорош, его бы даже напечатать можно, но он висит в воздухе. Поставьте его на ноги, подведите под него почву». Эта задача была труднее и не всегда мне удавалась, но когда я осиливала ее, я видела, как он бывал доволен, и сама радовалась и торжествовала. Когда летом я уехала в деревню, В[иктор] А[лександрович] настоял, чтобы я присылала ему все написанное мною по почте, и сам писал мне длинные письма с оценкой моих рассказов. К моему большому сожалению, все его письма пропали вместе с другими очень ценными для меня письмами. Это случилось, когда обворовали подвал одного из моих друзей, где хранились мои вещи и между прочим сундучок, который носил название «литературного». Из этого сундучка ничего не унесли, но все содержимое разорвали и уничтожили. В этом-то сундучке и находилась запертая шкатулка с самыми дорогими мне письмами. Ее унесли, предполагая, вероятно, что там драгоценности[2].

Много потрудился со мной В[иктор] А[лександрович], а когда я объявила ему, что выхожу замуж и переезжаю в Петербург, он нахмурился и сказал: «Это значит, что из вас ничего не выйдет. Жаль. У вас много данных»[3].

ПОЧЕМУ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ СТАЛ БЫВАТЬ В НАШЕМ ДОМЕ

Наша семья была очень многочисленна. Когда умер мой отец, нас, детей, оставалось в живых 6 человек, из которых старшему брату было 13 лет, а младшему 1 год. Мать изнемогала под бременем разнообразных забот. Я помню ее постоянно угнетенной и как бы растерянной.

Мечтой ее жизни было «поставить детей на ноги», т. е. дать им как можно лучшее воспитание и образование. Старшего своего сына, Федора, она отдала в пансион, сперва в Киев, потом в Одессу, опасаясь, что он не кончит курс гимназии в Москве. Ее ужасало, что он слишком любил развлечения, слишком заботился о своей наружности и одежде и меньше всего думал об учении. Таким образом, брат несколько лет провел вне семьи.

Когда он вернулся — уже студентом Московского университета,— в нем мы нашли только ту перемену, что все черты его характера еще более обострились. Вырвавшись на свободу, он уже не признавал никакой власти над собой. Заниматься лекциями ему было некогда: веселый кружок друзей и товарищей отнимал у него все время. Мать огорчалась, но не теряла надежды, что университетский курс он все-таки кончит, получит диплом и затем пойдет по проторенной дорожке: поступит на службу, женится, а женившись, будет благоразумнее.

Но Федор переменился гораздо раньше, чем думала мать, и совершенно не так, как она надеялась. На 4-м курсе он случайно познакомился с одним студентом К[лопским], и вскоре заметно подпал под его влияние. Это был человек так резко отличавшийся от всех его прежних друзей и знакомых, что мы все долго с любопытством приглядывались к нему. Никто не мог понять, чем и почему он так понравился Феде, который раньше ценил в людях светский лоск, веселый нрав и уменье развлекаться. К[лопский] не отвечал ни одному из этих требований, он всегда являлся плохо одетым, неловким, неуклюжим, исключительно занятым отвлеченными вопросами. Он запирался с Федей в его комнате и целыми часами беседовал с ним. Скоро все стали замечать, что он приобрел над моим братом большое влияние и что под этим влиянием брат сильно изменился. Он тоже стал пренебрегать внешним видом и манерами, но склонность его к деспотизму еще более увеличилась: он стал требовать, чтобы и все окружающие следовали его примеру. Малейшая роскошь теперь возмущала его.

Помню, как один раз, увидав в моих руках зонтик, он почти с ужасом указал на него: «Что это такое?» — «Как — что? зонтик».— «Зачем он тебе? это полезная вещь, необходимая вещь?»

Таким же образом он стал возмущаться модами, украшениями, всякими безделушками, всем, что прежде сам любил и ценил. От его постоянных преследований, насмешек и притворного удивления никому в доме житья не стало. Даже гостей он не оставлял в покое. «У вас, вероятно, горло болит?» — участливо спросил он одну гостью, у которой на шее была бархотка.

Мать опять огорчалась. Но ее ждал новый, неожиданный удар: сын объяснил ей, что не намерен кончать университет и держать экзаменов: «Никаких бумажек мне не надо! — говорил он.— Не думаешь ли ты, что я буду чиновником?» — «Чем же ты будешь?» — в отчаянии взывала мать. «Я буду последователем учения Л. Н. Толстого».

Трудно описать огорчение, почти ужас матери. Ее мечта была уже так близка к осуществлению. Она уже почти успокоилась за судьбу старшего сына, и на очереди стоял второй, еще более строптивый и своенравный. Она допускала, что Федор мог бы еще лишний год остаться в университете, но чтобы вышел совсем, не получивши диплома,— с этим она примириться не могла. Но ни убеждения, ни просьбы, ни слезы не изменили решения брата, и в доме воцарился мучительный разлад.

Года за два до этого времени, я, в поисках литературной работы, зашла ко Льву Николаевичу, который обещал желающим компилировать для народа, давать или рекомендовать книги. Сознаюсь, что мне не столько хотелось получить совет, как увидеть Льва Николаевича, которого я никогда не видела. И вот как-то в зимний, мягкий, предсумеречный час, я позвонила у подъезда дома в Хамовниках и с замиранием сердца вошла в переднюю. И через несколько минут Лев Николаевич уже быстро спускался ко мне по лестнице со 2-го этажа дома. Помню, что в этот миг, когда я впервые увидала Льва Николаевича, я пережила какое-то особенно сильное и сложное чувство: я вдруг поняла, что не имела права прийти к нему, что мое желание работать для народа — выдуманный предлог и что тот факт, что Лев Николаевич сейчас бежит по лестнице из-за меня, покрывает меня стыдом и позором. У меня стало одно желание: выпросить у него прощение и уйти. Но я не сумела это сделать, скрыла свое чувство и, сидя перед Львом Николаевичем в маленькой комнатке, похо-

жей на мастерскую, изложила ему цель моего прихода. Он выслушал и стал расспрашивать про мою семью. В его взгляде, в его вопросах я чувствовала, что он тоже знает, что я не имела права беспокоить его, что я глупая пустая девчонка и что лучше мне было просить у него прощение, а не работы. Но он говорил спокойно, без малейшего раздражения. Он сказал, что в большой семье старшей взрослой девушке всегда найдется достаточно много дела и что поэтому искать другого мне не надо; он перечислил мне все, что я могла и должна была делать, и тогда я встала и ушла[1]. И после я часто вспоминала это посещение, и когда рассказывала его другим, передавая только внешнее (как он бежал, что он сказал), мне казалось, что все это только «очень интересно», а когда я вспоминала для себя и вновь переживала свое чувство, я испытывала стыд и ясное сознание, что Лев Николаевич сразу увидал, что я пришла за интересным приключением. И в конце концов я «рассердилась» на Льва Николаевича, я приходила искать работу, которую он сам считал полезной, а он указал мне на мой долг, определил мне мое место в жизни, не считаясь с моими вкусами и желаниями. Мое недовольство собой перешло в недовольство за его совет. И вот его влияние вновь врывалось в нашу семью и на этот раз причинило глубокое горе моей матери и разлад среди всех ее детей. Мать часто и подолгу говорила со мной.

«Ему легко учить,— волнуясь, говорила она,— а неужели не думает он, как он калечит жизнь молодежи? Ведь он приносит непоправимый вред! Диплом — бумажка! Да! но подика без этой бумажки! Ведь так и Федя. Похорохорится, а потом и спохватится, а поправить уже будет нельзя. Будет семья, будет нужда. А бумажка-то эта все бы спасла, все бы уладила! И просто подумать не могу, ведь уже кончал... даже кончил. Только бы экзамены сдать!»

И вдруг у матери созрело решение: «Пойду ко Льву Николаевичу! пусть меня выслушает! пусть поймет, к чему ведет его учение! Конечно, он скажет, что мое горе его не касается, что он его и знать не хочет. Скажет, что не горевать, а радоваться мне надо. Но все-таки, пожалуй, неприятно ему будет, что его влияние рассорило всю семью. Может быть, задумается над этим, убедит и Федю...»

Долго она собиралась, но, наконец, пошла. Робкая и застенчивая, она решилась на этот шаг в минуту острого отчаяния, после тяжелой ссоры с сыном. Она пошла отстранять препятствия, которые встали на его пути, охранять его безопасность, защищать его счастье.

«И я скажу! — я все скажу!» — повторяла она, подбадривая себя, очень боясь, что не будет у нее слов, а будут только слезы; не будет логики, а только жалобы.

Когда мать вернулась, она не захотела ничего рассказывать мне, а заперлась у себя. Мне приходили в голову всякие предположения, но ни на одном из них я остановиться не могла. В моем воображении опять встал образ Льва Николаевича, когда он спускался с лестницы, его взгляд, которым он так пристыдил меня, а, главное, движение его бровей, которое было красноречивее слов. Конечно, моя мать растерялась, оробела, не сумела высказаться, не посмела даже заплакать. Мягко и вежливо он убил в ней последнюю надежду.

И вот вечером мать позвала меня к себе. Она была бледна, сильно заплакана. Но в ее глазах была улыбка, которую я давно не видала.

— Какой же это человек? — сказала она и сжала руки, и слезы опять потекли по щекам.— Я пришла жаловаться ему на него же самого, я пришла упрекать и возмущаться... Думала — нахмурится...

Она засмеялась и махнула рукой.

— Ничего так не вышло, как я думала! Вообрази, он сам ужасно огорчился, чуть не плакал со мной. Все головой качал: «Ах! ах!» Я ему даже заметила: «Почему же вы-то, Лев Николаевич, огорчаетесь? ведь вы этому учили! вы этого хотели!» И вот я не могу тебе привести его слова, а я так поняла, что огорчен он потому, что боится, что у Феди это только порыв или каприз. Внешнее, а не внутреннее побуждение. Тогда для него это только вред, а для других это может быть освобождением, ключом к новой жизни. И все он про Федю расспрашивал и слушал, слушал... Федя у него, оказывается, с К[лопским] был, но Лев Николаевич тогда на него не очень обратил внимание. А мне даже удивительно! до чего мне легко было говорить и рассказывать! и как я теперь успокоилась! Верю я ему. А он обещал, что увидит Федю и сделает все, что надо.

После этого разговора я скоро уехала, но из писем матери знала, что Федя «чудит» больше, чем когда-либо, а К[лопский] окончательно завладел как им, так и всем строем его жизни. Лев Николаевич, очевидно, забыл свое обещание и не вызвал к себе Федю. Письма стали печальные и тревожные, но вдруг все как бы вновь прояснилось и засияло радостной надеждой.

Как-то вечером мать сидела у окна и вдруг увидала Льва

Николаевича, который, озабоченно оглядываясь, остановился у наших ворот. Не было сомнения, что он искал нашу квартиру. Не успела мать выйти на крыльцо, как Федя уже бросился к нему навстречу.

— Так это вы — Федор Алексеевич? Ну, Федор Алексеевич, я пришел к вам.

Так вошел в наш дом Лев Николаевич. И часто потом приходил он, и казалось, что заходил он, гуляя, без всякой цели, посидеть с нами весной на крыльце, отдыхая, по пути домой. Иногда приводил он с собой своего маленького сынишку, который вскоре умер. Один раз я застала его сидящим на крыше сарая вместе с Федей. На соседнем дворе был пожар, и они влезли на крышу, чтобы лучше видеть. Но пожар уже давно кончился, суета успокоилась, а они все сидели и разговаривали. Случалось, что он проходил прямо в комнату брата, в мезонин, и, заглянув в открытую дверь моих меньших братьев, останавливался, никем не замеченный.

— Лев Николаевич! — звал его Федя,— пожалуйте ко мне.

— Подождите, Федор Алексеевич,— говорил он,— мальчики тут подрались, надо посмотреть, как додерутся.

Иногда он сидел в столовой и принимал участие в общем разговоре.

И никто, кроме матери, не знал, какую он в то время выполнял тонкую и сложную работу: наблюдал, изучал, проверял. Он хотел увериться, на какую почву упало его зерно. И мать уже не мучилась; она спокойно и доверчиво ждала. Она передала своего первенца в верные руки. В ней уже назревала уверенность, что Лев Николаевич не искалечит жизнь ее сына, а расширит и осветит ее новым светом, что он не отнимет у него счастья, а даст такое, которое не зависит ни от каких материальных благ; не сделает его беспомощным, а, напротив, вооружит его духовной силой, единственной опорой в неизбежные тяжелые дни. Она уже начала понимать, что нетерпимость и деспотизм сына, вызвавшие в семье разлад, только временное проявление его горячего увлечения, только следствие едва пережитого душевного перелома. Все это должно было сгладиться, смягчиться.

И учитель не оставил своего ученика: брат мой Федор никогда больше не отдалялся от Льва Николаевича, который всегда дружески относился к нему.

И я верю, что благодаря Льву Николаевичу в его жизни было гораздо больше счастья, чем определено на судьбу человека.

* * *

В двадцать лет я стала невестой. Это было самое счастливое время моей жизни. Когда я теперь вспоминаю о нем, меня удивляет, что можно такое продолжительное время (целую зиму и весну) быть такой непростительно счастливой. Летом мы разошлись: я отказала ему. Мне тогда казалось, что я не могла поступить иначе. Его мать не хотела нашей свадьбы, она мечтала о лучшей партии для своего единственного сына[1]. Она была со своей точки зрения права: я была, как говорится, бедная невеста и из меня нельзя было извлечь никаких выгод, а он был очень богат, ему предстояла блестящая карьера. Кроме того, я уже начала портить эту карьеру: он был военным, на балах появлялся в ментике, опушенном соболем, весь в золотых жгутах и шитье, а я уговорила его выйти в отставку и поступить в университет. В отставку он вышел, но поступил не в университет, а причислился чиновником особых поручений при генерал-губернаторе. На этом настояла его мать. Я мечтала поставить его на собственные ноги, независимо от состояния его родителей, и поэтому хотела, чтобы он учился. Он все собирался начать готовиться к экзамену, но почему-то все откладывал. Я рассуждала так: если мы повенчаемся, мать его непременно простит, и выйдет, что я насильно втерлась в богатую семью. Я такого положения не вынесу и буду очень несчастна. Если не я войду в его семью, а он — в мою, с ним будет постоянная возня, потому что он слишком избалован и не сумеет жить на те маленькие средства, которые мне дала бы мать. Он никогда не понял бы причины, почему бы ему не помириться с матерью и не пользоваться ее помощью. Был он бесхарактерный, слишком мягкий, какой-то особенно ласковый человек. Были у него серые глаза, и в них столько доброты, или, вернее, добродушия, лени и доверчивости, что как-то трудно было предъявлять ему какие-то требования, ждать от него твердого сурового решения.

Летом жил он у нас, в усадьбе матери. Я ближе присмотрелась к нему и пришла к заключению, что необходимо расстаться. Я сама поставила точку самому светлому периоду своей молодости. Больше безоблачного счастья никогда уже не было, но я была уверена, что никогда больше не будет и любви, а если и будет, то я твердо решила относиться к ней недоверчиво: никогда не забывать, как она обманывает, как она путает все понятия, как она ни на чем не основана и как потом стыдно, досадно и скверно о ней вспоминать... Я реши-

ла, что выйду замуж «трезво», обсудив и решив все серьезно, без всяких головокружений, чтобы выбор был беспристрастный, совершенно свободный. Но будто можно «выбирать»? где это? у кого? Но я и не спешила. Мне жилось хорошо. Весело мне уже не было, но мне было интересно: я много писала, а В. А. Гольцев читал все, что я приносила ему и заставлял меня работать, переделывать, объясняя мне мои промахи и ошибки, выправляя слог. Иногда он говорил: «Эту вещицу можно было бы напечатать, но вам еще рано. Подождите, поработайте!» Такие отзывы меня очень радовали и побуждали писать все больше и больше.

Попов и Авилов. Это были лучшие друзья моего старшего брата. Обоих я не любила. Попов мне надоел, Авилов меня раздражал. Оба были донские казаки, но между ними не было ничего общего... Попов, как и я, восхищался Апухтиным, Алексеем Константиновичем Толстым, Фетом. Авилов издевался и над ним и надо мной. У него была способность не только подмечать, но даже создавать смешную сторону. Каждый восторг был смешон, каждое увлечение чем или кем бы то ни было вызывало у него такие едкие сарказмы, что они как бы обливали холодным душем. Любезность он считал глупостью, и сам всегда был дерзок, иногда тонко и умно, но всегда очень обидно. Я знала его еще гимназистом II класса, потом на несколько лет потеряла его из виду, пока он не стал студентом и не подружился с моим братом. Я знала, что он умный, очень начитанный, что он прямой, искренний, очень здраво глядящий на жизнь и очень верный человек. Ужасно я тогда ценила этот «здравый взгляд и верность», хотя совсем не могла бы определить, в чем была эта здравость и верность и какая в них была заслуга. И вот именно его, Авилова, я не любила, побаивалась (что меня раздражало) и ценила высоко. Многие бы этому не поверили, но я могу искренне сказать, что себя я никогда и ни в каком отношении высоко не ставила. Я всегда подозревала, что я очень не умна, хотела постараться поумнеть, и один мой знакомый студент — Николай Николаевич Строителев — взялся меня развивать систематическим чтением. Развивал добросовестно, но умнее я себя чувствовать не стала, а стало мне казаться, что мой учитель совсем не умнее меня, и систему поумнения я бросила. Я стала читать университетские лекции брата, и радовалась, что я их усваиваю, что я могла бы сдать экзамен. Я прочла несколько серьезных книг: Миля, Шопенгауэра. Будто поняла, но почему-то мне

это ничего не прибавило. И вот я поняла: я безнадежна, потому что я не мужчина, а насквозь, прямо неистово — женщина. Мне с детства нужны романы, всякие чувства, поэзия, красота, мечта и еще... нужно писать изнутри, писать до самозабвения, до слез, не умом, а всеми этими чувствами, мечтами, такой уже знакомой мне печалью и вечно сияющей надеждой. Когда я это поняла, я успокоилась, но твердо решила, что нужно, чтобы муж у меня был умный, иначе я пропаду, наделаю глупостей, буду смешна.

Своей наружностью я была тоже недовольна. Надо бы иметь прекрасные глаза. У меня были — какие-то ореховые, желтоватые и небольшие. Цвет лица ужасный: я хотела бы быть бледной, а у меня были ярко-розовые щеки и посреди каждой щеки белое пятно ближе к уху. Нос неправильный, зубы неровные. Очень хороши были только волосы.

Один раз, когда я была еще гимназисткой, ко мне на улице подошла целая гурьба гимназистов, и один из них остановил меня и сказал: «Простите. Вы воображаете, что вы красавица, а мне вы совсем не нравитесь». Я очень растерялась, сказала: «Пожалуйста»,— но мне хотелось закричать: «Да с чего вы взяли, что я воображаю себя красавицей?»[2] <...> Я вела себя совсем иначе, чем все мои подруги. Сколько у них было веселых приключений! сколько тайных свиданий, маленьких драм! Я их не осуждала, конечно, но я им удивлялась. Неужели это могло доставлять удовольствие? Надо выйти замуж, чтобы иметь семью, детей. Надо себя преодолеть, чтобы иметь место в жизни. А главное, для счастья жизни надо писать, писать... Если бы я тогда могла предполагать, что сделаюсь писательницей, которую бы печатали и читали, я бы ни за что не вышла замуж. Нет, я не была самонадеянна, как думали многие. Но моя скрытая жизнь была хорошо скрыта. Я создала себе непроницаемую оболочку, которую называли и гордостью, и холодностью, и самонадеянностью.

Когда я отказала своему жениху, я очень тосковала. Кроме того, я не могла не заметить вокруг себя и злорадство, и насмешку, и явную клевету. Чего только не выдумывали! Но меня тронул Авилов. В это трудное для меня время он стал преданным моим другом. Тут я поняла и оценила его еще глубже... Вскоре скоропостижно умер его отец. Он его любил какой-то восторженной любовью. Тогда я стала его поддержкой и утешительницей в его большом горе. Я уже чувствовала и знала, что он любит меня, и мне это было приятно. Я все чаще и чаще думала, что такой спутник жизни — это именно то, что мне нужно: это и сильное покровительство, и автори-

тет, и безграничная преданность, и прочная верность. Одна его наружность исключала всякую мысль о легкомыслии. У него были только красивые глаза, тоже серые, как у Семена, но в них не было ни добродушия, ни лени, ни доверчивости. Зато они были умны, и была в них строгость и значительность. В это время у меня с Авиловым вышел первый значительный разговор о браке, о любви. Я высказала ему свою теорию, свое твердое убеждение, что никогда больше не буду любить, как любила Семена, а хочу чувства трезвого, уважения к мужу, непременно сознания его превосходства. Хочу семью, детей и возможности писать и добиваться места в литературе. Поэтому хочу жить в городе, Москве или Петербурге, а на лето ездить в деревню. Авилов нравился мне все больше и больше, и когда он гостил у нас поздней осенью в деревне и я заметила, как моя мать следует всякому его совету по хозяйству, как он уверенно и спокойно распоряжается, как управляется с лошадьми, как любит природу и умеет находить прелесть даже в осенней слякоти, я окончательно решила, что мой выбор сделан, жребий брошен и новая жизнь у порога.

ЗВОНОК

Каждый вечер Семен приходил к нам и сидел, пока мамаша не выгоняла его[1]. Но мамаша никогда не спешила. Сама она ложилась очень поздно, любила играть на рояле, когда в доме давно все спали, и иногда заигрывалась так, что не замечала времени. Мы с Сеней ходили под музыку по нашей «анфиладе» (столовая, гостиная, кабинет), потом садились на диван в полутемном уголке, крепко прижимались друг к другу и подолгу молчали между поцелуями. Он всегда очень мало говорил.

Хлопала крышка рояля, и мамаша вскрикивала, притворяясь возмущенной: «А вы знаете, что уже второй час?! Что подумают ваши родители? Скорей, скорей домой!» Семен смеялся: «Вы знаете, Надежда Афанасьевна, никто, кроме Василия, не может уследить, когда я ушел или когда вернулся. И кому какое дело? Родители знают, что я женюсь, они не боятся за мое поведение. Разве я не примерный сын? ни кутежей, ни пьянства, ни игры в карты...»

Конечно, Семен хвастался своими добродетелями не часто, даже очень редко, в каких-нибудь особых случаях, но мы с мамашей постоянно думали: офицер, а как ведет себя! Молод, богат, очень нравится наружностью дамам и девицам, а вот сидит тут на диване и больше ничего знать не хочет.

Каждый вечер я с нетерпением ждала его. Но как-то в один из вечеров и именно перед вечерним чаем, когда Семен обыкновенно приходил, вошла в мою комнату Оля и подала мне письмо. «Василий принес,— сказала она.— Ответа не нужно. Очень спешил, ушел». У меня упало сердце, и предчувствие не обмануло меня: Семен писал, что у них какой-то семейный праздник, будут гости и, кажется, сестры надеются потанцевать. Мать требует, чтобы Семен никуда не уходил из дому; без него танцы не состоятся да и странно, что в такой день он не мог бы сделать исключение и пожертвовать своими привычками. Даже отец, который никогда не вмешивался, что-то пробурчал, поддерживая требование матери. Ужасно, но приходится покориться...

Это большое несчастье так неожиданно пришибло меня, что я долго опомниться не могла. Аленка[2] два раза приходила звать меня к чаю. Я пошла. В столовой вокруг стола сидели, кроме наших семейных, неизбежный Попов, Крюгер, Строителев. Какие лишние, скучные и надоевшие фигуры! Крюгер, по обыкновению, звякал под столом шпорами и ржал. Он не смеялся, а именно ржал. Попов сосал свою крученку, придерживая ее двумя совершенно желтыми от табака пальцами. Волосы у него, как всегда, были растрепаны, глаза красные, голос дребезжал. Он что-то рассказывал, стараясь быть остроумным. Строителев — корректный, прилизанный, довольно красивый, но слишком умничающий и всегда готовый потолковать о высоких предметах и даже прочесть маленькую лекцию... До чего надоели все эти лица! Как среди них душно, нудно, досадно! Именно досадно, что вот они сидят и будут сидеть и завтра, и послезавтра и, конечно, даже не подозревают, какое они производят впечатление. Может быть, даже думают, что своим обществом доставляют удовольствие. А с ними так скучно, что даже лампа над столом горит нехотя, тускло. Все встали со мной поздороваться, и я сразу поняла, что все угадали, что я не в духе. Дурак Крюгер даже выразительно крякнул, закручивая свои усы с подусниками.

На короткое время стало совсем тихо за столом, все молчали. Потом как-то сразу все заговорили, не обращая на меня никакого внимания. А я молча принялась пить чай.

И вдруг... вдруг раздался сильный звонок. Так, именно так звонил Семен. Но ведь это не мог быть он: мать требовала... даже отец что-то пробурчал... Пришлось покориться... Конечно, не он!

Маша пробежала в переднюю и, не закрыв дверь в сто-

ловую, впустила гостя. Во всю входную дверь встала высокая, широкая фигура в накинутой на плечи николаевской шинели с большим бобровым воротником... Я вскрикнула, оттолкнула стул и бросилась в переднюю. Забыв все на свете, кроме того, что — вот он, тут, пришел, не вытерпел,— я с разбегу бросилась к нему на грудь, и он обнял меня. Можно было подумать, что мы долгое, долгое время не виделись и, наконец, судьба сжалилась над нами. Что там, в столовой, думали всякие Крюгеры? Им не было объявлено, что мы — жених и невеста, и при них мы с Семеном всегда вели себя чрезвычайно сдержанно. Но мне тогда этот вопрос и в голову не пришел. Мы вошли в столовую под руку, сияющие, нам сейчас же дали два места рядом, и Семен говорил мне: «Удрал, как мальчишка... Разве я мог? Товарищ обещал постараться за меня. Сестры не сердятся, нет, сочувствуют. Ведь чуть не погиб и спасся...»

На нас старались не глядеть. Попов крутил себе крученку, мял ее и лизал, напевая себе под нос, Строителев заспорил о чем-то с Федей, Крюгер вдруг громко фыркнул и заржал, но так доброжелательно и добродушно, что хотелось крепко пожать его руку. Все были милы и стали совсем как родные.

А почему мне казалось, что лампа горит тускло? Пожалуй, даже светлее, чем всегда!

Что главное в этом воспоминании? Что глубже всего осталось в памяти и через столько, столько лет волнует, радует?

О, мне совершенно достаточно вызвать в памяти сильный звонок, тот звонок, который я тогда слышала, и вслед за ним, уже безо всякого усилия памяти, воскресает чувство, связанное с ним: чувство радости без меры, счастья до глупого восторга, до забвения всего окружающего. Счастья... Ничего, приближающегося к тому счастью, я не испытала больше никогда...

[КЛЕКОТКИ]

СКИРДЫ

Это было поздней осенью, и ночи были холодные, беспросветно черные. Ничего не помню, что было до тревоги. Я еще не ложилась спать, была одета, когда вокруг дома и в доме побежали, закричали, стали хлопать дверями, что-то хватать, тащить, а мамаша в шубе и платке строго крикнула в детскую,

чтобы мы сидели смирно, спокойно, что никакой опасности нет и что она скоро вернется.

Как только она вышла, кто-то откинул занавес на окне, и все окно сразу стало красное. На дворе было совсем светло, но совсем не похоже на день.

— Горим! Горим! — кричал какой-то голос.— Батюшки-светы! Что в колокол-то не ударяют? Пресвятая Богородица!

И в колокол ударили и тревожно зазвонили, быстро и жутко. Моя бонна — немка заметалась по комнате как мышь в мышеловке. И вдруг точно найдя щель, выскочила в девичью. Я осталась одна, собиралась было зареветь, но заинтересовалась тем, что за окном, и стала соображать, нельзя ли и мне выскользнуть и разузнать подробно, где горит, что горит. И вышло как-то так, что я уже оказалась на крыльце, потом на дворе, а потом ухватилась за подол какой-то знакомой бабы и вместе с ней побежала на гумно.

Горели скирды, целый город скирдов. Мы бегали там днем и играли в домовладельцев: каждый из нас выбирал себе собственный дом на разных улицах, хозяева приглашали к себе гостей, но гости никак не могли найти тех, к кому ехали на голос, потому что все улицы и дома были одинаковы, и очень легко было заблудиться. Ведь целый город скирдов! И все скирды теперь горели...

Баба, за которой я увязалась, сперва встала со мной в сторонке и только смотрела и причитала, но староста дал ей по шее и приказал что-то делать. Она выругала его лешим и чертом таким пронзительным голосом, какого я от нее никак не ожидала, но не стала дожидаться второго тумака, а ушла в цепь передавать ведра с водой. Меня староста не турнул на работу, заметив, что я слишком мала, но повернул, толкнул и погрозил чем-то, если я ему еще попадусь под ноги. Не разглядел, не узнал.

Я осталась смотреть. Но я ничего не помню, что я видела. И только одна картина врезалась мне в память на всю жизнь: это были скирды, которые уже сгорели, но еще не потухли. Они стояли прямые, аккуратные, будто совсем ничем не тронутые, но казались сооруженными из искр, все насквозь полные блестящими переливающимися искрами, перебегающими, волнующимися, кое-где ярко вспыхивающими или только мерцающими. И стояли такие четко очерченные громады и точно дышали, и было совершенно непонятно, почему они стоят, чем держатся? Казалось, стоило дунуть, чтобы они обвалились, так они были легки, прозрачны, призрачны.

Я опомнилась, когда кругом стало быстро темнеть. А может быть, я сильно прозябла? Во всяком случае я поняла, что мне никак не следовало убегать из дому и что мне непременно надо вернуться домой. А как вернуться? Надо немного пройти садом, потом весь двор, а стало так темно, что я ни за что не решалась идти одна. Пока я глядела и не могла наглядеться на набитые искрами скирды, бабы с ведрами куда-то разбрелись, народу стало меньше, и почему-то я никого не могла узнать. Я не помню, как я вышла из всех этих затруднений и как мне удалось вернуться домой. Очень отчетливо мне вспоминаются только скирды и еще как староста повернул меня и толкнул. А лица старосты я не помню и, как его звали, тоже не помню. Я охотно забыла бы и его пинок, но он прицепился к скирдам и живет так долго за их счет. Лет семьдесят живет. А выкинуть из памяти ничего нельзя. Заведется дрянь, и — хочешь не хочешь — возись с нею всю жизнь. Ничего нельзя забыть нарочно, и это очень грустно. Не знаю, чего больше: того ли, что хочется помнить, или того, что хочется забыть. А впрочем, вру! Знаю!

КРАПИВА

Вот мне 19 лет, а Эле — 10. Я в прошлом году кончила гимназию, я свободна! И вот наступает весна, и мне очень хочется уехать в деревню и видеть все сначала: как зазеленеет трава, как распускаются листья. Слышать, как орут днем грачи в саду и как ночью там щелкают соловьи. Хочется простора, воздуха...

Мамаше нельзя ехать в Клекотки: мальчики еще должны держать переходные экзамены, а ей — в день любого экзамена — ездить в монастырь к обедне, с трепетом ждать возвращения экзаменующегося, надеяться, волноваться... Но мамаша всегда делает то, что я хочу, и она соглашается отпустить меня с Элей. Дом еще не приготовили к нашему общему приезду, да он и слишком велик, и вдвоем с Элей нам было бы там неуютно. Мы устраиваемся во флигеле у управляющего Захара Алексеевича и его жены Прасковьи Антоновны. Комнаты маленькие, низенькие, но есть одна свободная для нас, и это все, что нам нужно. Маленькое окно выходит на проезжую дорогу, но под окном куст сирени и шиповника и много молодой, пахучей и очень жгучей крапивы. Я вылезла в окно и сильно окрапивила ноги. А вылезла просто для того, чтобы лучше почувствовать, что я не в городе и что никто не смеет мне слова сказать. Эле лезть не позволила.

Ах, как кричали грачи! Какой свежий и душистый был воздух! Как хотелось сразу и в сад, и на луг, и в дом, который еще не открывали и не проветривали!

Прасковья Антоновна позвала пить чай. Она ужасно захлопоталась, хотя была предупреждена о нашем приезде, и все уже было готово, чтобы нас принять. К чаю на столе уже были поставлены тарелки с пышками, ватрушками, яйцами, каменная миска с веренцом, свежая булка и уж не помню, что еще. А она, старенькая, маленькая, но еще очень бодрая, трусила вокруг стола, горестно взмахивая руками и качая головой: — Кушать-то вам нечего! Кушать-то! К ужину у меня курица в лапше варится...

Я обрадовалась давно знакомому молочнику с оттопыренным задом, точно в турнюре. В нем всегда Прасковья Антоновна держала топленое молоко с толстыми пенками, с крупинками масла и желтыми жирными кружочками. Забежишь к ней — она непременно угостит этим молоком с куском черного мягкого хлеба. Дома никогда топленого молока не бывало. П. А. всегда представлялась мне беспокойной, непонятной старухой. Вся дворня жаловалась на ее скупость, придирчивость и ворчливость. Говоря о ней, хмурились и махали рукой: — А! Да ну ее! Наши мальчики, мои братья, боялись ее, но она, кажется, больше боялась их. Вспоминается, что она была очень похожа на наседку, когда та бросалась защищать своих цыплят с распущенными крыльями и вытянутой шеей, с отчаянным криком. Так и Прасковья Антоновна защищала миндаль, изюм и всякие вкусные запасы в кладовой, когда «молодым господам» удавалось проникнуть туда. Так она защищала две яблоньки аркада в огороде, едва поспевающие сливы... Но как она любила и умела угостить, когда кто-нибудь забегал к ней в гости. Я только гораздо позднее поняла, что угощала она «своим», а защищала «господское». Ведь и она и вся ее семья были еще крепостными в нашей семье. Вышла воля, а они так и остались, так и умерли, не пожелав изменить своих обязанностей и своего положения. Была ли П[расковья] А[нтоновна] и прежде так непрерывно разговорчива и так суетлива, как в старости, я не знаю. Может быть, власть ключницы и главы всего хозяйства так изменили ее? Ее муж, Захар Алексеевич, управляющий, был тихий, смиренный, почти безмолвный старичок и, конечно, вполне подчинялся жене. У него был брат, Иван Алексеевич, столяр, и помню я о нем только то, что он был кривой и, чтобы скрыть свой кривой глаз, спускал на него завиток волос. Были еще две девочки управляющего и служили у нас в горничных: Маша и Оля.

8 Заказ 453

В день приезда мы с Элей легли спать очень рано и очень были довольны, что у нас оказались не матрацы, не тюфяки, а перины. Весело было бросаться на них сверху и тонуть. Встали мы рано.

— Будем сегодня учиться, Лида? — робко спросила Аленка. Я ее предупреждала, что занятий с ней я не отменяю, и мы взяли с собой книги и тетради.

— А какой же сегодня праздник? — строго заметила я. Мы ушли за сад, в луг у ручья, где не так давно копали камень и глубокие ямы едва успели обрасти по спускам молодой нежной травкой. Надо было зажать юбки между ног, лечь на бок, дать себе толчок и лететь вниз кубарем. Можно было выбрать спуск покруче или более отлогий. Покруче — было головокружительно, и надо было немного отлежаться на дне, прежде чем встать. Эле я не позволила там кататься, и она вертелась не так быстро, но зато продолжительнее.

Бегали мы к ключу напиться, хотя пить не хотелось. Испугались собаки. Бежит собака по лугу. Зачем? Почему? А вдруг бешеная?

Что мы еще делали? Во всяком случае мы не учились, не учились ни разу за все время, что мы жили у Прасковьи Антоновны. Соловьев ночью я тоже не слушала, но слышала их по вечерам, а иногда и днем. Ночью я спала на своей перине удивительно крепким и сладким сном. В чем же главное воспоминание этого пребывания у Прасковьи Антоновны? А вот его и не расскажешь. Его можно только пережить в тишине, в темноте, с закрытыми глазами. И тогда опять кричат грачи, и ходит волнами весенний, деревенский, упоительный воздух, и пахнет молодой крапивой и теплой землей, и что-то жужжит невидимо и так привычно, что этого звука не замечаешь. Все только в начале, все только в обещаниях: и в развертывающихся почках, и в немногих еще лютиках, и в порхающих бабочках, и в запахах, и в звуках. Приятен даже запах крапивы, потому что она пахнет, пока других запахов в природе еще мало, и этот дар принимается с радостью и благодарностью.

Хорошо мы пожили в Клекотках с Аленкой вдвоем! Обе шалили, обе ничего не делали... Мне было девятнадцать, а ей десять лет.

С тех пор прошла вся жизнь. Как, где придется умереть? Но увидеться нам уже не придется никогда!

[ОСЕНЬ В ДЕРЕВНЕ]

Я очень любила осень в деревне и оставалась с мамашей в Клекотках, пока она, всегда неохотно, не возвращалась в Москву. И заживалась она поздно, потому что всегда находила себе дело. После смерти отца хозяйства никакого не было, землю отдали в аренду. Мамаша увлекалась украшением усадьбы: сажала, пересаживала, группировала, фантазировала. Она намечала себе план, вдвоем с садовником вколачивала в землю колышки... Не знаю хорошенько, как она все это комбинировала и приготовляла, но осенью сзывались в усадьбу поденные и рыли бесконечное число ямок и больших глубоких ям для больших деревьев, которые перевозились зимой издалека. Маленькие ямки тут же засаживались кустами или саженцами из лесу, и удивительно, как почти все это принималось, приспосабливалось на новом месте и меняло весь вид усадьбы. Поденные все были бабы и девки (теперь слово «девка» кажется обидным, а тогда оно было обычным, и матери говорили о дочерях «моя девка»), и все приходили веселые, смешливые. Я тоже рыла ямки вместе с ними, и это было весело, потому что мне очень нравилось их остроумие, их шутки, тот простонародный язык, которым они говорили. Было в них много чего-то неожиданного, нового. И мне очень хотелось научиться говорить, как они.

Кончали мы работу, когда темнело. Нельзя сказать, чтобы я уставала, но приятно было войти в светло освещенный большой и уютный мамашин кабинет, где топился камин, где на столе бурно кипел самовар, только что принесенный Машей. Маша — в темно-красной ватной кофте, в шерстяном платке на голове, была совсем не похожа на московскую Машу, кокетливо одетую и причесанную. Московская Маша была какая-то колючая и неприветливая, здесь — веселая и ласковая.

— Бабы над вами вот смеются! — говорит она и тоже смеется.

— А за что? — спрашиваю я, неприятно задетая.

— Где же это видано в перчатках копать?

— А приятно натереть себе мозоли? — я тоже смеюсь, вспоминаю откровенную веселость баб по этому поводу. Хорошо бы после чая растянуться на диване с книгой, но мамаше вдруг вспоминается, что мы с ней давно не играли в четыре руки. Стабат матер. Хорошо бы вспомнить и Фрейшюца. Увлеклись последнее время итальянской музыкой, да и то пропустили несколько дней совсем без игры.

Не хочется, но что же делать. Мы берем по зажженной

свече и идем отпирать дверь в залу. Все комнаты по ту сторону дома не отапливаются, и там очень холодно. Большие окна не занавешаны, и в них, а главное, в простеночных зеркалах гостиной мелькают отражения наших свечей. Почему-то это неприятно. От дыханья идет пар, и тени бегут и никнут по стенам. Мамаша ищет ноты, я открываю и вытираю рояль. Скучно то, что когда мамаша принимается играть, она совсем не думает о том, что надо когда-нибудь кончить. Один композитор сменяется другим, одна тетрадь кладется на этажерку, другая поспешно вытаскивается. Я случайно оглядываюсь на стену и вижу то, что давно привыкла видеть, но что всегда меня живо интересует: всегда на одном и том же месте, точно оно нумерованное и абонированное, сидит большой паук. Когда мы приходим, его никогда не бывает. Он является — на свет? или на звуки? Но какая радость пауку в свете свечей? Может быть, правда, что пауки любят музыку и готовы слушать ее часами. Я об этом где-то читала. Вот для них мамаша подходящая компания! Она любит играть поздно вечером и даже по ночам. Паукам в это время совершенно делать нечего, и если они действительно любители музыки, то сколько удовольствия она может им доставить! Но почему здесь является всего один слушатель?.. Сидит, широким кругом расставив лапы, весь круглый как шарик... Он оставался еще на своем месте, когда мы брали свечи и уходили, ломая на стенах тени и зажигая огни в зеркалах и черных окнах. Конечно, я забывала о пауке тут же, он переставал для меня существовать. Когда же он забрался в мою память и уселся там, как на абонированном на всю жизнь месте?..

[ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В КЛЕКОТКАХ]

Вспоминается летний дождливый день в Клекотках[1].

Утро. Я еще лежу в постели и слышу, как падает дождь, как из желоба льется в лужу вода. В открытое окно чуть веет сыростью, прохладой, чистотой омытого влажного воздуха. Угадываю, что в калитку вошли утки, переваливаясь подошли к луже около балкона и вот чмокают своими плоскими желтыми носами в грязи, копаются, вытягивая свои белые шеи, переступая своими косолапыми лапами. И тихо, мерно, успокоительно льет дождь.

По коридору беготня взад и вперед. Это встают, одеваются девочки, и Фрося носит воду для умывания, разглаженные платья, вычищенные башмаки. Пьют кофе на Селезневском балконе, и Маша носится с кофейниками, с пышками, с горячими сливками. Она так озабочена, будто дом полон гостей

и она застигнута этой неожиданностью врасплох. Надо всюду поспеть, а поспеть трудно, и она, мимоходом, что-то сует, что-то хватает, что-то пихает ногой и накидывается на подвернувшуюся Олю.

Неожиданно обе половинки моей двери медленно растворются и стукаются о корзины, стоящие в коридоре. Ножной шпингалет едет по полу, очерчивая давно намеченный круг. Но на дворе так тихо, что занавески не вздуваются, и полотенца на полках у умывальника продолжают висеть неподвижно. Но теперь мне слышно все, что делается в доме, и прежде всего я слышу, как шумно и беспокойно в комнате девочек. Как они не могут одеться, не поссорившись двадцать раз? Ссорятся они из-за всего: из-за очереди умываться, из-за гребенки, из-за чулок, из-за того, что одна мешает другой глядеться в зеркало, из-за того, что поднята или опущена тюлевая занавеска на балкон. Нечаянно они проливают чернила, валерьяновые капли и обвиняют в этом друг друга. Фрося их уговаривает, мирит, убеждает в том, что чулки действительно Танины, а не Асины, что Асенька действительно должна умыться первой, потому что раньше встала. От Фроси пахнет лампадным маслом и ладаном, и голос у нее тихий и кроткий. Когда Асенька накидывается на Таню и сестры вцепляются друг в друга, она тихо ахает, и бой кончается хохотом.

Я слышу, как жалобно, долго и неприятно скрипит большой гардероб против комнаты Нины. Это Анюта или сама Нина выбирают нужное платье, передвигая вешалки, зацепляя эти вешалки одна за другую. Я слышу, как Лева (или Лодя?) проходит через столовую на балкон и сбегает по лестнице. И тихо, мерно, успокоительно шумит дождь.

В кабинете все окна и балкон открыты настежь. На столе осыпается букет роз. Пахнет розами, пахнет влагой, комната полна воздуха и свежести. Со ступенек балкона, умильно улыбается, кланяется и пригибается Серый. Он хочет, но не смеет войти и то кладет переднюю лапу на верхнюю ступеньку, то снимает ее.— Нет, Серый! Ты мокрый! Пошел вон! Уже по всему балкону и на пороге кабинета черные мокрые следы его лап.

Почту еще не привезли, но сейчас привезут. Заказано еще заехать за мукой, за сахаром, да в булочной еще захватить французских хлебов для котлет. Будут ли письма? Непременно будут! Накануне не было письма от Миши, а он аккуратно пишет через день.

В саду кричит иволга: «Молоко пила? Молоко пила? А ты видела? А ты видела?» По дорожкам цветника, смывая пе-

сок, текут ручейки. В клумбу с розами забежали цыплята, уже большие, голенастые, куцые фавероли, роют землю своими цепкими лапами, что-то выклевывают, что-то выглядывают. И вдруг двое не поладили между собой, оба выскочили на дорожку и неподвижно застыли друг против друга.

Хорошо! Зеленой стеной стоит сад, и как темная тоннель — аллея. Розы розовые, розы красные, розы белые... Громадная клумба белых крупных роз. Кругом бассейна — пестрым венком левкои. Какая тишина! Только тихо-тихо шумит дождь...

[ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КЛЕКОТКАХ]

Вспоминается летний жаркий день. Я сижу в кабинете со спущенными шторами. Хочется писать, но ручка прилипает к пальцам, на лицо садятся мухи, и надо их отмахивать, из чернильницы лезут мухи... Сижу и ничего не делаю. И вижу, как из Селезневского сада идет с книгой Нина. Идет сперва тихо, спокойно и вдруг бросается бежать, неловко, чуть-чуть бочком. Кто-то спрашивает ее о чем-то, и она на бегу отвечает: «Жарко!»

Это было когда-то, это почему-то запомнилось. Я тогда подумала: почему Нина не умеет бегать?

Ах, сколько было этих дней в кабинете, с мухами, с жарой, с мыслями о чьих-то чужих и небывалых жизнях, потому что в своей было тихо, покойно, жарко...

Протягивалась Мишина рука и подавала на листьях клена ягоды земляники.

Мимо окон, от крыльца к балкону, проходил Лева и за ним лениво плелась собака, потряхивая ушами. Лодя спрашивал во дворе: «А нельзя ли принести квасу? Похолоднее!»

И жара все сгущалась и от опущенных занавесок, и от гудения мух, и от гама домашней птицы, и от немолчного чириканья воробьев. Индюшки звенели как колокольчики, и резко кричал гусак.

— Да уберите вы эту чертову птицу! Зарежьте ее, что ли! Я не знаю... Но это невыносимо, наконец! — Какой странный голос у Лоди, когда он сердится.

— Слушаюсь! — вспыльчиво и насмешливо откуда-то отвечает Лева. Мне смешно. Оба сердятся.

А солнце уже склоняется к деревьям Селезневского сада. Скоро будет прохладнее. Скоро вечер. У колодца уже слышен смех, крики и всплески воды. Сейчас, быстро мелькая босыми ногами, пойдут по дорожкам поденные с лейками, и весело зажурчит вода через ситки. Напьются земля и цветы...

[ПЕТЕРБУРГ]

В 1887 году я вышла замуж и переехала в Петербург. Мне нравилось переменить жизнь так, чтобы старая и новая совершенно не походили одна на другую с внешней стороны. На Б. Итальянской, рядом с пассажем, в третьем дворе и третьем этаже я нашла квартиру в 5 комнат, выкроенную так хитро, что окно гостиной сходилось под острым углом с окном столовой, а окна спальной и смежной комнаты, уже предполагавшейся для детской, выходили в такие узкие и глубокие колодцы-дворики, что даже в самый яркий, солнечный день в них было темно. Таких домов и квартир я в Москве не видала. Это было совершенно ново. Чтобы выйти на Невский, надо было только пройти через пассаж или по короткой Михайловской улице. Еще одним важным преимуществом этой местности было то, что моя сестра, Надежда Алексеевна Худекова, жила на Фонтанке, в нескольких минутах ходьбы от меня. Я позвала ее с мужем и еще двух-трех лиц к нам на новоселье, не дожидаясь устройства квартиры. Стулья были, стола не было, и мы приспособили вместо него ящики. Беспорядок в комнатах был невыразимый. В передней С. Н. Худеков сказал мне: «Вы звали на новоселье, и я счел нужным надеть фрак». Он действительно оказался в старом фраке вместо пиджака. Жилет остался пиджачный, высокий.

У Худековых жизнь тогда была чрезвычайно замкнутой. Он уже несколько лет был редактором Петербургской газеты, очень много работал. Газету он сперва арендовал у И. А. Арсеньева, а потом купил. Первый номер этой газеты вышел 1 января 1867 года и в течение 1867—1868 года выходил под редакторством Арсеньева. В 1869 году его заменил временный редактор В. К. Тихомиров, а 8 июля 1871 года Арсеньев заявил Главному управлению по делам печати, что передал газету отставному майору С. Н. Худекову. С 8 июля газета была временно приостановлена, а № 1 газеты под фирмою С. Н. Худекова вышел 1 августа 1871 года. Газета была мало распространенной, печаталась всего в количестве 600 экземпляров. Было время, когда она печаталась в маленькой типографии «Человеколюбивого общества», на машине, которую вертели мужики. Бывало, номер готов, сверстан, но колесо машины вертеть некому, потому что одни вертельщики напились, а другие выбились из сил.

Сергей Николаевич взялся за дело энергично и сумел подобрать талантливых и полезных сотрудников. Они быстро

двинули газету вперед. До 1875 года газета выходила 4 раза в неделю, затем — пять раз, с 1880 года разрешено было ее выпускать 6 раз, а с 1882 года она стала ежедневной. Кроме того, она увеличилась в объеме в четыре раза. Сергей Николаевич сам, как главный редактор, очень много работал, и к нему ходили только по делам редакции. Квартира была тесная, так как, кроме своих собственных троих детей, у Худековых воспитывались двое детей близких родственников и еще один мальчик, приемыш.

Конечно, и сестра была очень занята. Она с самого замужества стала работать в газете как переводчица романов, помещаемых ежедневно. Позже она стала писать рецензии о театре и изредка печатала собственные маленькие рассказы. Когда я, еще до замужества, приезжала иногда из Москвы погостить у Худековых, мне очень интересно было не познакомиться, а посмотреть на писателей, которые приходили к Сергею Николаевичу. И вот помню, как Сергей Николаевич позвал меня один раз и сказал: «Иди. У меня сидит поэт Минаев. Ведь знаешь?» Я знала Минаева, хотя его поэзия не трогала меня. Но сестра была в восторге от него, находила его очень талантливым, интересным, хотя и очень злым. Она сейчас же решила, что такое знакомство доставит мне громадное удовольствие. «Вот ты увидишь... Он удивительный... И я уверена, что он сейчас же напишет тебе стихи!» Мы отправились в гостиную, и Сергей Николаевич сейчас же привел туда Минаева. Тот поздоровался с Надеждой Алексеевной, потом хотел пожать мне руку, но споткнулся, крепко наступил мне на ногу и икнул. Не могло быть сомнения, что он был сильно не трезв. Сестра оживленно заговорила с ним, но он в ответ только непонятно что-то бурчал и очень скоро поднялся и, неуверенно ступая, направился в переднюю. «И это поэт!» — сказала я. «И какой талант! — восторженно подхватила сестра.— Ну что ж такого? Немного выпил. С ним это, правда, часто случается, но, вероятно, ему это необходимо. У нас большинство талантливых людей более или менее пьяницы. Что же делать?»

Проводив Минаева, Сергей Николаевич вернулся к нам. «Ну как? Что? — спрашивал он, ероша себе по привычке длинные волосы и лукаво посмеиваясь,— очарована? влюбилась?»

Здесь же я познакомилась с Н. А. Лейкиным. Эти два сотрудника были одни из тех, кому Петербургская газета была больше всего обязана своим преуспеванием. Столпы. И Сергей Николаевич ими особенно дорожил. «Ты Минаева

не оценила, не разглядела,— говорила мне сестра,— ну а этот [Лейкин] не может тебе понравиться. По-моему, это какое-то недоразумение: почему он пишет, а не торгует в лавочке? Да он сам хорошенько не понимает, что он пишет: воображает, что все это очень серьезно, а почему-то выходит смешно, хотя он и не собирался смешить. Он и сам такой: смешной, а воображает себя серьезным». Меня, прежде всего, удивила его наружность: он был очень маленького роста, хромой, с очень толстым носом и толстыми искривленными губами. Только глаза были недурны: темные, живые, добрые. Волос надо лбом было очень мало. «Я не лысый,— объяснял он,— но когда я пишу, я накручиваю волосы на палец и дергаю. Я без этого не могу. Вот и повыдергал!»

Кто-то между прочим сказал, что лечит себе зубы. «Глупости! — возмутился Лейкин,— если не болят зубы, зачем их лечить? А болят они только, если их чистить. Вот ко мне как-то жена пристала: вычисти, да вычисти, а то противно смотреть. Ну, я и попробовал. И, верите ли, сейчас же заболели. С тех пор — слуга покорный!» — «Ах, оставь ты! — с хохотом сказала его жена, Прасковья Никифоровна,— ты и рук-то не моешь!» — «Не мою, когда не надо!» — очень серьезно возразил Николай Александрович. «Уж и не надо! придет летом с огорода весь загвазданный, сапожища грязные, руки в навозе, так прямо и за стол!» — «Она считает навоз грязью,— объяснил Николай Александрович,— а какая же это грязь? Это прелесть. Ведь запах-то, запах! Лучше духов!»

Семья Лейкиных стала впоследствии довольно близкой нам семьей. Детей у них не было. Был только приемыш Федя. Жили они зимой на Петербургской стороне в собственном небольшом деревянном доме, держали лошадь. И вот, почти каждый день, Прасковья Никифоровна отправлялась на этой лошади отвозить в редакцию «статьи» Николая Александровича. Его сценки и рассказики она всегда называла «статьи». Маленькая, кругленькая, с круглым румяным лицом, всегда добродушным и веселым, она говорила громким звонким голосом и раскатисто хохотала. Я никогда не слыхала, чтобы Николай Александрович смеялся. Видела его только не то что задумчивым, а как бы самоуглубленным. И, судя по тому, что он говорил, эта самоуглубленность была как бы непрестанным анализом его достоинств и заслуг. Он с сосредоточенным видом рассказывал о том, какой он полезный общественный деятель и какое значение придается каждому его слову в думе;

он рассказывал, как читаются и расходятся его книги, и даже о том, как он ведет хозяйство на своей даче на берегу Невы. И в его тоне было не столько самохвальства и гордости, сколько некоторого недоумения. Он удивлялся (хотя и старался скрыть свое удивление) тому значению и высоте положения, которые он сумел достичь из своей среды. А среда эта была действительно довольно темная. Те вечера, которые мне изредка́ приходилось проводить среди его родни и родни Прасковьи Никифоровны, производили такое впечатление, будто это были инсценировки рассказов Николая Александровича. Но над рассказами Лейкина можно было смеяться, а присутствуя на инсценировке, принято было быть вполне серьезными.

— Я не знала, что у Паши будут сегодня гости,— сказала мне моя соседка по чайному столу, кажется, сестра Николая Александровича,— и явилась как была! — и она показала мне невероятно грязные руки, да еще отогнула кружева манжетки, где грязь была еще гуще.— И не думайте, что я такая неряха: я бы помылась до локтей, если Паша меня предупредила.— Потом она мне объяснила, что она портниха, работы много, где там пустяками заниматься.

Семья и среда Николая Александровича был тот неиссякаемый источник, откуда писатель черпал свои темы, описывая только то, что видел и чем был окружен с детства. Сам он был очень близок, едва ли не солидарен с этой средой, и, несомненно, ему должно было казаться странным и даже почти невероятным, что судьба так высоко вознесла его только благодаря тому, что у него оказалась способность писать. Но талант у него был несомненный. Многие и теперь с удовольствием перечли бы некоторые его книги, например «Полкана» или «Наши за границей». Животных он любил, понимал и поэтому описывал их мастерски. Вся его беда была только в том, что он, удивившись и поверив себе, уж не видел границы своему величию и уже считал естественным громко заявлять: «Чехов написал рассказ... Хорошо написал, но не посоветовался со мной, а я бы ему сказал, как надо. Было бы гораздо лучше!» Вообще, всех писателей он всегда приравнивал к себе: «Недурно! Но я бы...» Но в нем не было ни зависти, ни недоброжелательности, и начинавшим он всегда был готов помочь и словом и делом. Как сейчас помню, как со своей новой, только что вышедшей книгой под мышкой он, хромая, входил в мою гостиную, тяжело опускался в кресло и, как-то особенно шлепая своими толстыми губами, передавал мне свое детище, объясняя его достоинства. Каждую новую

книгу он непременно привозил мне сам. После такой передачи мы непременно пили чай, и, когда разговор о новой книге был окончен, Николай Александрович бранил кого-нибудь. Побранить и покритиковать он любил. Чаще всего нападал он на Сергея Николаевича Худекова, а впоследствии, очень горячо и зло, на его сына Николая Сергеевича. Бранил моего мужа: «Хоть бы он марки, что ли, собирал, а то чем живет человек, неизвестно. Служит. Разве это дело? Ты чем-нибудь заинтересуйся, во что-нибудь вникни...» И он опять возвращался к себе, к своей разнообразной деятельности, к своим заслугам. И копался, сосредоточенно копался в этих заслугах, выискивая все новые и новые и продолжая, шлепая губами, осуждать других и хвалить себя. У него часто бывал недовольный вид, но очень сердитым я его не видала никогда. «А я сегодня чуть было человека не убил,— заявил он мне один раз.— Лежу еще в постели, а мне докладывают: интервьюер просит принять, хочет знать мое мнение по одному текущему вопросу. Нечего делать! Надеваю халат, выхожу. Что такое? Стоит, кланяется.— Глубокоуважаемый Николай Александрович! Позвольте маленькое интервью. Сообщите Ваше просвещенное мнение о поцелуе.— О чем? — О поцелуе.— Да вы что? Вы смеетесь, что ли, надо мной? Я почтенный человек, маститый, можно сказать, писатель... Вон!» Он вспоминал об этом посещении с дрожью негодования...

Лейкин любил Чехова, который сотрудничал у него в «Осколках» и в свои приезды в Петербург, до своей дружбы с Сувориным, останавливался у него. Может быть, это случилось один раз, но Лейкин вспоминал именно о его приездах. «Он свежие сиги любит, и я его сигом угощал. В Москве нет таких сигов. Это вранье, что в Москве лучше кормят, чем в Петербурге. Поросятами хвастают, а разве здесь поросят нет? А Чехов поесть любит, но какой-то он... Бог его знает! Вскочит из-за стола и давай ходить. Люди сидят, а он вскочит и ходит, ходит. Уж какая это еда!»

Чета Лейкиных была очень гостеприимна. Бывали литературные собрания, т. е. вечера, когда собирались писатели, и тогда много ели, много пили и еще больше хвалили друг друга. Встретила я там И. Н. Потапенко, Баранцевича, Альбова, Ежова[1]. Кажется, бывал и Ясинский. Хозяин вел себя с важностью, как бы опасаясь уронить свое достоинство, но зато Прасковья Никифоровна так и звенела, угощая, отпуская шутки и заливаясь хохотом.

Я знала Лейкина в продолжение двадцати лет. У нас не было очень дружеских отношений, но было обоюдное распо-

ложение, и мы виделись довольно часто. И вот мне хочется заметить: в течение этих двадцати лет он совсем не изменился... Он остался тем же добродушно-самоуверенным, убежденным, высокоценимым маститым писателем и общественным деятелем. Может быть, он перестал удивляться своей славе, привык к ней, но он не перестал постоянно перебирать и перечислять свои заслуги, как скупой перебирает и пересчитывает свое золото. Я знаю, что он иногда любил представлять себе свои похороны с неисчислимой толпой почитателей его таланта, с речами над могилой, но каковы они были на самом деле, я не знаю: меня тогда уже не было в Петербурге.

Бывал у Лейкина Ясинский. Ясинский был великолепен! С великолепной шевелюрой и густыми бровями, большой, грузный... Но вот что меня поражало: как мог Антон Павлович дружить с Ясинским, Тихоновым[2] и другими? Кутить с ними, любить их общество? Как растяжимо слово «писатель»! И как много было, есть и будет таких «писателей», к которым это понятие подходит, как к корове седло. Люди, к которым не чувствуешь не только уважения, но и доверия, а присвоено им то же звание, что и учителю, пастырям наших душ, носителям священного огня. Чехов говорил, что у писателей сердце (физическое) всегда не совсем нормальное. Я была рада этому утверждению. Эта ненормальность доказывала бы, что это действительно избранники, взявшие на свои плечи ношу мира. Но много ли их? Зачем и мошкару и всяких шавок, безобидных и кусающихся, тоже называют писателями? Пусть это будут писаки.

Ах, вот кто еще бывал у Лейкина: Потапенко. Тот, кто обещал и ничего не сдержал. Как его звали-то? Игнатий! Игнатий Николаевич, что ли? Ну, забыла. Но я даже удивляюсь, как я много помню.

Другой литературный кружок был у Гнедича[3]. Случайно я тоже попала туда, но не удержалась в нем. Гнедича звали Петр Петрович, и он был похож на петушка. А жена у него была необычайно глупа. Я редко видела таких глупых женщин. И она хорошо делала, что почитала и боялась своего мужа. <...> Петр Петрович был напыщен, нелюбезен, неинтересен и больше всего на свете боялся, чтобы к нему не обратились за протекцией.

Тихонов был с ним дружен и как-то связывал свою литературную карьеру и свою возрастающую славу с его карьерой и славой. Конечно, каждому из них хотелось обогнать другого, но Тихонову представлялось, что они шли ухо

в ухо. «Теперь мы с Петром Петровичем меньше ста рублей за рассказ решили не брать!» Но я считаю, что Гнедич был если не талантливее, то серьезнее. Имел больше представления о том, что надо делать пером. Тихонов был болтлив прежде всего, и все его произведения были сплошной болтовней. Он сперва придумывал заглавие, а потом валял, что придется. И заглавия у него были широкие: «Красота», «Ручьи» и т. п. Ну, а текли ручьи, как в половодье, и, чтобы не затруднять себя, он более диктовал, а не писал сам.

Гнедич, напротив, был молчалив, и его талант был менее многословен. Вся его компания была несимпатичной (а может быть, мне так казалось), но я помню только Муравлина и какую-то писательницу-старуху с двумя красивыми глупыми дочерьми. Попала я к Гнедичу на прощальный вечер, вероятно, в конце сезона. Помню, что Ольга Андреевна Гнедич за столом говорила речь: «Я только жена Петра Петровича, а вы — гости Петра Петровича. Я надеюсь, что и в будущем году вы все опять будете собираться у Петра Петровича, а я буду готовить вам столы, как любит Петр Петрович...» и т. д. Речь, полная смирения. А надутый Петр Петрович со своим жиденьким пушистым хохолком на лысеющей голове делал вид, что не слышит ее. <...> Попали мы с Мишей к Гнедичу, потому что Ольга Андреевна была племянницей моей тетки Кузминой.

Завтраки у Тихонова были оригинальны. Каждое воскресенье мы получали настоятельное приглашение к завтраку. Иногда мы не отказывались. Но мученье было для хозяев устраивать эти пиры! Ни вилок, ни ножей, ни стаканов и рюмок, а главное, стульев не хватало, и, когда пирог был уже на столе, хозяева бегали, суетились, искали, упрекали друг друга... Анна Ивановна была незаконная, т. е. невенчанная жена, но имела двоих детей, двух девочек. Средств не хватало, любовь выдохлась, и все пришло в какое-то ужасно раздраженное состояние. Закуски покупали «A la pointe»*, и это казалось Анне Ивановне верхом изысканности. Худа и бледна была эта Анна Ивановна до безобразия. Во всех торжественных случаях на ней было светло-серое платье с белыми отворотами воротника, но она была так неряшлива, что сейчас же насадила пятен и на серое и на белое, и с каждым разом этих пятен прибавлялось все больше и больше.

Несчастная она была женщина! Бывшая учительница, увлекшаяся и погибающая. Тихонов ее бил. Я знаю это

---

* Большой гастрономический магазин в Петербурге.

наверное, потому что она прибегала спасаться ко мне, за что он ее опять бил. Все-таки она терпела и ждала смерти его законной жены, рассчитывая, что Владимир Александрович женится на ней из-за детей, главное из-за Верочки, которую отец «обожал». Но, когда жена умерла (да и была ли она?), Тихонов женился не на Анне Ивановне, а на какой-то писательнице Барвинок, но со средствами. Он привез ее ко мне, но я извинилась и не приняла ее. Тогда и он перестал у меня бывать и отомстил мне по-своему: выругал меня в газете за мою повесть.

У Тихонова все-таки было какое-то приятное гостеприимство. Недостаток посуды и всего прочего он покрывал бесконечной любезностью, неиссякаемой веселой болтовней, а главное, поливал пивом и дешевеньким вином в неограниченном количестве. Сколько выпил он пива за свою жизнь?! Что-то невероятное. Бывали у него тот же Голицын-Муравлин, Морозов (сидевший в крепости), какие-то поэты, имена их ты, господи, веси. Фидлер — переводчик, и еще какой-то писатель, который мне нравился и был довольно известен, а вот теперь, хоть убей, не помню кто. Он как будто приехал из какого-то далекого путешествия и потом опять куда-то далеко уехал.

Лугового Алексея Алексеевича[4], брата Владимира Алексеевича Тихонова, я у него никогда не видала. Он был гораздо талантливее брата. Я помню его роман «Грани жизни». Но, кажется, это чуть ли не единственная его крупная вещь. Знакома я с Луговым не была и только видела его где-то. Тихонов тоже умер, прожив не очень долгую, но какую-то нечистоплотную, суетливую и болтливую жизнь. Помнится мне, как эта измученная и избитая Анна Ивановна говорила мне: «Ах, вы не знаете! Они все такие, все... Они делают свои гадости с наслаждением, чтобы потом описывать их с негодованием». В ее словах будто была правда. Как-то впоследствии я увидела в Ниве главу романа Тихонова «Разлапушка и Ехидна». Просмотрев ее, я убедилась, что это была повесть его семейной жизни. Ехидна — это, очевидно, была Анна Ивановна, да и звали ее Аней. Зачем он выворотил все это грязное белье на вид публике? Оправдаться ли ему захотелось или еще больше задеть и без того обиженную и брошенную женщину? Может быть, это была месть за его собственную вину перед ней? За то, что сознание этой вины все-таки мучило его? Но мне кажется, что он, скорее всего, просто нуждался в теме для своей литературной болтовни, ну и взял готовую. Сделал гадость и описал ее.

...Я увлеклась воспоминаниями... И по мере того как я их пишу, я вспоминаю все больше и больше лиц, фактов и анекдотов. Когда-нибудь, может быть, дополню. Очень беглый обзор, как сейчас, составляет остов, который потом не трудно будет превратить в связный рассказ. До времени нашего переезда в Москву, где литературный мир совсем не похож на петербургский, мне хотелось бы еще записать на память портреты Гиппиус, Барятинского, Миролюбова, Острогорского, Буренина, Меньшикова... Московские отдельно[5].

И вот вспоминается мне, как я стала писательницей. Первый мой рассказ был напечатан в Петербургской газете. Назывался он «Переписчик». Плохой рассказ. Я подписала его буквами Л. С. Лидия Страхова. С[ергей] Н[иколаевич] переменил и подписал «Лида». Потом эта «Лида» фигурировала еще раз. Но это был не дебют, а просто родственная любезность. Я и стихи какие-то дурацкие напечатала в газете и за них получила гонорар: пианино. Первый мой дебют был в Живописном обозрении. Редактором был Шеллер-Михайлов, ласковый, приветливый старик. Очень он со мной был ласков, и я потом много печатала в его журнале. Платили мне не то 2, не то 3 коп. за строку. Но строка была большая! Меня это не огорчало. За свой первый рассказ «Две красоты» (ужасный) я получила 20 р. и подарила их Мише с тем, чтобы он купил себе чернильницу. Но он не купил. Сказал, что за 20 р. чернильницы дрянь, и продолжал писать из пузырька, и всю жизнь писал из пузырька, хотя чернильниц у нас развелось много, все дареные. И этот гонорар я получила как-то особенно глупо: пошла с Элей, сама зашла в красильню, а ее послала в контору, и она мне из конторы принесла для подписи расписку в получении, а после этого принесла деньги. Бегала через Невский на Владимирскую. Зачем это надо было, я не помню. Почему-то я сама не хотела идти в контору. И это было под Рождество, и я была беременна Ниной. В то же время напечатала мой рассказ «Читальня народной школы». Я была горда! Вот я стала писательницей.

Бывали у меня острые радости, такие, которые мне причиняли настоящую боль. Ведь можно радоваться до боли, до страдания, и, значит, мне дороги были мои успехи, если я так радовалась. Пришла я первый раз к Тихонову, Владимиру Александровичу, и принесла ему для его журнальчика свой рассказ «Счастливец». Принял он меня сурово: «Видите ли... мы так завалены рукописями...» и т. д. Даже не предло-

жил мне сесть, и сам стоял среди кабинета. А на мне была парижская накидка, длинная, из толстого черного шелка, обшитая кругом тяжелыми бусами из стекляруса. Когда я входила в кабинет, эти бусы задели за дверь и сильно нашумели. Я была ужасно сконфужена и сейчас же решила, что холодный прием редактора — следствие этой неосторожности. В редакции — и вдруг так звякать бусами! Чтобы реабилитироваться в его глазах, я робко упомянула о рекомендации А. П. Чехова. Да, это он мне посоветовал обратиться к Владимиру Александровичу, просит его прочесть. Но Тихонов не смягчился.— Протекция? — О, протекция для него ничего не значит! Антон Павлович его приятель, Антон Павлович очень талантливый писатель, но редактор-то Тихонов, и он берет только то, что ему кажется достойным, что действительно хорошо. Наверное, он по своему обыкновению много взял рукописей, и я ушла, и опять затрещали бусы в дверях. Ну, и никакой надежды у меня не было. На что было надеяться? главное, бусы... Да еще сунулась с протекцией...

И вдруг через несколько дней я получаю письмо, почерк на конверте незнакомый. Читаю. Боже мой! Что это? «Я читал и перечитывал Ваш рассказ... Я плакал... Да, я плакал. Это не только хорошо, это прекрасно...» Я была одна в квартире, мне не с кем было поделиться. И я тоже плакала и бегала по комнате и ужасно страдала и повторяла: — Плакал? Прекрасно? Это не сон? — Это письмо я сохранила. Это было начало моего настоящего писательства[6]. Следующие рассказы я уже подписывала своим настоящим именем: Л. Авилова. Так хотел Тихонов, который стал у нас часто, очень часто бывать и вскоре даже нанял себе квартиру в доме рядом с нашим, и уже нельзя было провести дня без него. А я-то думала — бусы.

Другое мое торжество, но уже без слез (дальше вообще дело обходилось уже без слез) было издание моей книжонки «Счастливец»[7]. Устроил это издание в «Вестнике Европы» Василий Юрьевич Скалон[8]. Главное, что он устроил и почему я могла издать книгу, было то, что ее издали в кредит, без гроша денег. Как только она вышла, я почувствовала себя именинницей: принимала похвалы, поздравления, читала хвалебные рецензии. В Русских ведомостях написали мало, но так лестно, что Нат[алья] Ник[олаевна] Скалон сама привезла мне рецензию как дорогой подарок.

Но самое для меня приятное было то, что неожиданно явился ко мне директор газеты «Сын отечества» Сергей Николаевич Кривенко и пригласил меня сотрудничать. Приехал

он вечером, сидел долго и с тех пор принял меня под свое покровительство. Я тут же дала ему какой-то рассказик, который сейчас же появился в газете.

Эту газету с добродушной насмешкой называли «честным покойником» за ее очень выраженное направление и чрезвычайную уравновешенность, мертвенность, неторопливость и неталантливость. Антон Павлович Чехов был очень недоволен моим вступлением в ряды ее сотрудников и пророчил, что я неминуемо увлекусь тенденцией, высушусь и погибну.

Эта редакция все-таки стала мне близкой, и когда она стала устраивать «чаи», я попала в литературное общество. Между прочим я стала встречаться с Иваном Алексеевичем Буниным, который был тогда еще очень молод. В «Сыне отечества» он не писал, но «чаи» были соединенные, и собирались не в редáкции газеты, а вот даже не помню где.

Часто у меня бывал сотрудник «Сына отечества» Городецкий. Это был протеже Кривенко. Очень мало грамотный, продавец газеты, кажется, в Киеве, он бегал по улицам, зарабатывая гроши (так он мне рассказывал). Кое-как и кое-чему подучился, стал сам писать и под покровительством Кривенко сделался постоянным сотрудником «Сына отечества»... <...> Он часто говорил о самоубийстве, о невозможно тяжелой жизни, о какой-то любви... Я предполагала, что он влюблен в Яворскую, и он сознавался в этом (Яворская косила свои жертвы десятками), но потом я стала предполагать, что он что-то врет... Потом он стал издателем газеты «Копейка», стоял во главе всего издательства и разбогател неимоверно. Как-то он обедал у нас в Москве, и я поражалась: до чего богатство меняет людей: ... во всей фигуре его разлилось спокойствие, солидность. Наобещал он мне с три короба, но ничего не сделал и на мои недоумевающие письма не отвечал. А теперь он умер. Все-таки интересный был тип. Звали его Михаил Борисович. <...>

Не помню я никаких годов. Помню последовательность. Сотрудничая в С[ыне] О[течества], в Севере, в Ж[ивописном] Об[озрении] и Народной Читальне, я представила свою кандидатуру в Союз писателей. Комитет сперва обсуждал кандидатуру, потом следовали выборы. Неодобренные комитетом никогда не выбирались. Но мне не страшно было: очень уж я была безобидна, незначительна. И, конечно, меня приняли. Я пошла вносить свой членский взнос и получать членский билет. Помещение было на Невском, недалеко от Николаевской, а мы жили тогда на Николаевской (д. 75, кв. 11). Когда я вошла в помещение союза, меня

встретил изысканно вежливый, красивый, бритый человек средних лет, сделал все, что нужно было сделать, проводил меня до дверей. «Вы видели нашу залу? Вот она. Милости просим по пятницам». Я вышла в недоумении: отчего какой-то артист говорит: «наше» помещение? приглашает? Но вскоре оказалось, что это совсем не актер, а Петр Николаевич Исаков, председатель союза.

...В первую же пятницу меня постигла неудача. Я долго собиралась идти, волновалась с утра, боялась опоздать, боялась прийти слишком рано и, наконец, вышла из дому как раз вовремя, с тем расчетом, чтобы не прийти из первых и не войти в переполненный зал. Поднималась по лестнице с другими членами союза, зная, что это члены, так как они спрашивали у швейцара, на каком этаже помещение, где раздеваться: внизу или в союзе? Все шло прекрасно. Но когда я вошла в переднюю, то увидела, что в столовой за накрытым столом сидит шумная веселая компания и пьет чай; что в зале ходят и разговаривают, что вообще людно и оживленно. Быстро прошел из одной двери в другую Исаков, но я не увидела больше ни одного знакомого лица. И тогда мне пришло в голову: а зачем я пришла? кому я нужна? для своего удовольствия пришла? Так хорошо удовольствие, если я мучительно желала лучше провалиться куда-нибудь, чем увидеть недоумевающие взгляды, обращенные на меня. Что же я здесь буду делать? Забьюсь куда-нибудь в угол и буду хлопать глазами? А если я и угла свободного не найду? И недолго рассуждая, я пустилась в бегство. Как же я бежала вниз! Вышла на улицу и обрадовалась и очень огорчилась. Если я один раз не решилась войти, то решусь ли я когда-нибудь? И, если решусь, то все-таки это будет мучительно. И что я так ждала этой пятницы? и что я скажу дома Мише? Шла я и вздыхала. Я думаю, что застенчивость — это какая-то черта некультурности, недисциплинированности. Сознание неумения выйти из того или другого положения. Непривычка вращаться в обществе. А я от застенчивости очень страдала всегда и, чтобы побороть ее, принимала важный, гордый вид. А сама чувствовала, как у меня деревенели ноги и подергивались плечи и голова. От застенчивости надо отучать с детства. Это будет услуга на всю жизнь.

Почему-то вспомнилось, как давно, очень давно, когда мы с Ниной были у Феди в Телятинках[9] и Лев Николаевич пригласил нас в Ясную обедать, С[офья] А[ндреевна] спросила меня: — Что такое застенчивость? По-моему, это излишек самолюбия, — сказала она. Я не согласилась, но опреде-

лить не смогла. Теперь я знаю наверное: это сознание превосходства окружающих (одного лица или целого общества). Я проверяла это чувство на себе в течение всей жизни. Никогда я не была так неловка в молодости, как на тех вечерах, где я была одета хуже других. Никогда я не была глупей, чем когда я говорила с умными людьми. Я знала, где что нужно, и если этого нужно у меня не хватало, я никогда не могла преодолеть мучительного стеснения. У меня не было ничего, что успокаивало бы меня, а я знаю очень многих, которые чувствуют какое-нибудь одно свое преимущество, черпают в нем силу и поэтому никогда не теряются. Красивые женщины в большинстве случаев считают, что их наружность все оправдывает. Талантливые, ученые женщины, которые «признаны», не боятся привлечь на себя внимание несоответствующим туалетом, необдуманными словами. Они знают, что все сойдет, все сумеет объясниться. Плохо таким, как я. Ничего у меня не было бесспорного, неотъемлемого, признанного, а все-таки я всегда и везде обращала на себя внимание, никогда не проходила незамеченной. И всегда чувствовала, что от меня чего-то ждут. Чего-то, что я оправдать не смогу ни наружностью, ни умом, ни талантом. И всегда чувствовала, что я проваливаюсь. И чем больше это чувствовала, тем глубже проваливалась. Ну провалилась бы, и конец! Но конца так и не было: как-то меня поддерживали, поднимали, и опять я была на виду.

Боборыкин[10], Вейнберг[11] и Исаков. Три Петра. Они говорили мне: положитесь на нас, как на каменную гору. Ведь Петр — это камень. Вейнберг, впрочем, только один раз взялся поддержать меня, но и то неудачно[12]. Боборыкин и Исаков действительно стояли за меня горой. Это были настоящие друзья. Как-то я сказала Петру Дмитриевичу Боборыкину: — А у меня только что был Петр Николаевич [Исаков]! — Боборыкин фыркнул: — Вас посещает этот «испанский дворянин»? — А в другой раз Исаков спросил: — Правда, что к вам зачастила «Адамова голова»?

Миша говорил мне: — Не принимай всерьез своих успехов. Ерунда! Будет только смешно, если ты о себе вообразишь. У тебя счастливая наружность, вот и все!

Но мне не вообразить хотелось. Мне так необходимо было что-то оформить из себя. Я <...> издала книгу[13]. Она имела успех. Уж это было не «счастливая наружность». Однако на вторую книгу Миша денег не захотел дать. Так и осталось. И я пропала. Безвозвратно.

Я <...> стала бывать в союзе и ходила туда почти

каждую пятницу и с большим удовольствием. И сколько приятных и полезных знакомств завязалось именно там. Н. М. Михайловский сам предложил мне проглядеть мою новую повесть и, если подойдет, поместить ее в журнале. И она подошла. Там же я познакомилась и на всю жизнь подружилась с П. Д. Боборыкиным. Познакомилась с Маминым-Сибиряком, со Станюковичем, Вейнбергом и со многими другими.

Вот если бы я писала свои воспоминания с мыслью их напечатать, мне было бы очень трудно и скучно писать, а для себя (и если дети прочтут после моей смерти), не все ли равно, что и как я напишу. А вспоминать мне интересно. Буду вспоминать попросту. Главное, не могу я разделять очень распространенную точку зрения, что писатели — это люди замечательно интересные. Нисколько! Писатели сами ищут интереса, а для публики часто интересничают. И делают это вынужденно, потому что от них ждут того, чего у них нет. Простые смертные, по-моему, бывают гораздо интереснее писателей, но, конечно, бывают и писатели интересные люди. Я подходила к ним с общепринятой точкой зрения, с замиранием и преклонением. Но это только в первое время, когда не составила своего собственного мнения. Потом скоро составила. Мамин-Сибиряк был какой-то странный. Я часто не понимала, что он говорит. Сядет рядом со мной и начнет что-то мямлить путаное: «Знаете, как вы пишете? Точно кошечка ползет... ползет, ползет...» А я Мамина-Сибиряка и сейчас с удовольствием перечитываю. Станюкович заявил мне, что он будет у меня бывать, потому что он чего-то во мне не понимает. И ему нужно понять, и он не может быть спокойным, пока не поймет. Вероятно, он очень быстро понял, и я перестала его интересовать. Наше дальнейшее знакомство не состоялось. Очень он мне не нравился, и заинтересовать его у меня не было никакого желания.

Мне кажется, но может быть, я ошибаюсь, что в союзе бывал и Луначарский. Во всяком случае я его только видела, но никогда не сталкивалась.

По средам у меня стал бывать П. Д. Боборыкин. Он стал моим настоящим другом, и чем старше он становился, тем больше я ценила его дружбу, потому что сам он сильно изменился. Петр Дмитриевич в Швейцарии с начала войны[14]. Я могу судить о нем только по письмам. Он все больше и больше смягчается, думает о близкой смерти и, оглядываясь на жизнь, думает о ней с меньшей гордостью и горечью. Но до чего он остался одинок в жизни! Все друзья его умерли.

Да и много ли у него было друзей? К людям он был строг и разборчив, не баловал их лаской, и сам мало видел ласки. Совершенно случайно я затронула в нем струну, которая редко звучала: интимную, пожалуй, даже немного сентиментальную. Он поверил моей дружбе и так горячо откликнулся на нее, что совершенно изменил мое представление о нем: «Крепко целую ваших детей» — написал он мне в последний раз. В общем его мало любили и ценили, а какой это культурный, образованный, гордый, странный, обиженный и хороший человек!

Буду продолжать свои «литературные воспоминания». Меня они забавляют. Пусть выплывают клочками, отрывками, непоследовательно и беспорядочно. На хронологию у меня памяти нет, а лица и людей я помню хорошо, а особенно хорошо я помню житейские мелочи. Досадно, что у меня нет под рукой моих бумаг и книг, а особенно желтого ящичка с письмами[15]. Много там писем от разных людей, промелькнувших и исчезнувших. И людей, которые сыграли немалую роль в моей жизни. Хотя бы Гольцева Виктора Александровича.

Пятницы в союзе бывали разные. Были простые, пустые пятницы, с чаем, с разговорами; были пятницы по повесткам, с выборами, с обсуждением текущих вопросов, были «большие дни», когда поднимались захватывающие вопросы, бурлила кровь, кипели страсти. Это было, например, когда обсуждалось исключение Суворина из числа членов за помещенную им статью в Новом времени. Эта пятница осталась в моей памяти каким-то позорным пятном. Члены союза подходили к столу и записывались — за или против исключения, конечно, после горячего, бурного обсуждения. И что делалось! Страсти до такой степени разгорелись, что эти члены отталкивали друг друга, вырывали перо... Происходила какая-то свалка. Таким же, но менее бурным вечером были выборы Чехова. Его «Мужики» восстановили против него народнический элемент. Но его все-таки выбрали. Как могло казаться возможным забаллотировать такого писателя! Считать его недостойным быть членом союза! Для меня это было совершенно непонятно, и я объясняла гонение на него только его близостью к Суворину. Так, конечно, и было.

Еще одну пятницу обсуждали литературную конвенцию. И я помню свое чувство глубокой и горькой обиды. Оказывалось, что Россия, в смысле литературы, почти ничего не давала другим странам, но брала от них много и не могла не брать, так как это было необходимо. Платить за это необ-

ходимое — это значило сделать книгу еще дороже, это значило ввести новое затруднение в дело образования. Обмен не мог пополнить расхода. Надо было продолжать давать даром, чтобы продолжать брать даром. Давать — почти ничего. Брать — много. Вот заключение, которое я вывела из этого совещания, и как это было неприятно, обидно и грустно!

Как-то случайно выдалась пятница с танцами. Кто-то сел за рояль, заиграл, начали танцевать. Танцевал даже Михайловский, и на меня особенное впечатление произвел его танцующий пиджачок, насквозь пропитанный передовыми, возвышенными, благородными стремлениями, приспособленный к сидению за письменным столом и вдруг воспринимающий биение сердца от вальса. Но ведь все люди и все человеки, и хотя я всегда побаивалась Михайловского, я знала, что сердце его билось не от одних писательских мыслей. Сплетни были у нас достаточно развиты.

Был вечер с музыкой, и выступали на нем Эля и Алеша[16]. Чуть ли это не было встречей Нового года, но так, что к 12-ти все вернулись домой, а в союзе встречали, так сказать, предварительно. На этом-то вечере я и познакомилась с Боборыкиным, до сих пор мы только встречались, но не разговаривали.

Из союза потянулись для меня нити по редакциям. Я уже давно много писала в Ниве, но меня это положение не удовлетворяло и только давало заработок. Редактором был Ростислав Иванович Сементковский, и он же писал критические статьи. Первый рассказ, который я ему принесла, был «Ветер шумел», и он обратил на меня внимание. «Вот вы как пишете!» — сказал он. Я поняла, что я пишу хорошо, и сейчас же принесла «Лишнее чувство» и т. д. В Ниву я очень охотно писала и очень легко. Никогда мне ничего не возвращали, пока редактором был Сементковский. Светлов относился ко мне уже совсем иначе, хотя и на него я пожаловаться не могу. Но это уже было не то!

И вдруг в Вестник Европы приняли мою повесть «По совести». Вот когда опять было захватывающее торжество! Приехал ко мне Боборыкин и рассказал, что «молодой секретарь» Вестника Европы Слонимский в восторге от моей повести и настаивает, чтобы ее напечатали всю целиком в декабрьском номере. «Молодой секретарь, — говорит Боборыкин, — значит в редакции гораздо больше, чем Стасюлевич». Мое дело было решено, и я отправилась знакомиться с Стасюлевичем и Слонимским как автор принятой статьи. Даже не знакомиться, а переговорить о чем-то, я уже

не помню о чем. Но никогда еще в жизни я не испытала такого конфуза! Вот когда я действительно мечтала провалиться в предъисподнюю! И виной была опять-таки моя застенчивость.

Когда я вошла, в редакции были и Стасюлевич и Слонимский. С Слонимским я уже встречалась, а Стасюлевича видела в первый раз. Высокий, худой, благообразный, очень симпатичный... Но он ничего не помнил о моей повести «По совести» и о том, что она уже не только принята, но уже и в наборе, а расспрашивал меня, по какому вопросу я принесла статью. Что-то у нас ничего не выяснялось, и Слонимский пришел ко мне на помощь. Я как-то совсем растерялась. Слонимский напомнил Стасюлевичу, что повесть моя уже печатается, недоразумение стало объясняться, и я стала оживать и так ожила, что лучше бы мне на свет не родиться! Стасюлевича звали Михаил Матвеевич. Я это прекрасно знала, но от возбуждения язык меня не послушался, и я сказала: «Да, Михаил Стасюлеевич...— и почувствовала, что что-то неладно, быстро поправилась: — Стасюлей Матвеевич!» Слонимский видел мое отчаяние! Я думаю, что он понял, что перед ним самая несчастная и опозоренная женщина на свете. Но удержаться от смеха он все-таки не мог, как ни старался. Ах, как это было ужасно! И как я была уверена, что я уже никогда, никогда не перешагну порога редакции Вестника Европы!

Но все обошлось, как все обходится, и забылось, как все забывается! Я не раз заходила в редакцию, а теперь они оба покойники, и Стасюлевич и Слонимский. Сколько покойников! Скольких я пережила! Совсем некому будет вспоминать обо мне, когда я умру!

В Вестнике Европы мне платили 100 руб. за лист, в Ниве тоже 100, но скоро накинули четвертную. А Русские ведомости по собственному почину стали платить 15 коп. за строку, и это мне казалось очень щедрым. Писание доставляло мне только удовольствие, а труда никакого. Несмотря на заветы моего учителя Гольцева, я так и не научилась работать, а писала с маху, прямо набело, обдумывая по мере того, как писала. Редко приходилось переписать какую-нибудь одну четвертушку листа. За «По совести» я получила 700 руб. <...>

А вот я теперь думаю: почему мои рассказы нравились? Из тех, которые я перечислила, ни одного не было по-настоящему хорошего. Что тогда вкус, что ли, был другой? Ушли мы вперед? Вероятно. Вероятно, средний уровень очень повы-

сился. Тогда еще была любовь к «слезе» в литературе. И Чехов давал мне советы, которые тогда я плохо понимала: «Будьте холодны, когда пишете». Лучше всего я поняла этот «холод» не на Чехове, а на Бунине. Я не хочу сказать, что это холодный писатель, но он в совершенстве владеет секретом писать холодно, а вызывать самое сильное впечатление. Я бы сказала, что он открыл новую школу, и очень хорошо взялась бы доказать это. Но это была бы серьезная работа, а где мне теперь, несчастной, браться за серьезное! Вот записывать анекдоты — это я могу...[17]

Моя мечта была написать пьесу. Городецкий особенно поощрял меня. «У вас диалоги для пьесы. Да возьмите хотя бы ваши «Наследники» — это готовая пьеса. Я ручаюсь, что вы можете, что вам удастся». Я поверила и написала «Любовь». Хуже я ничего сделать не могла, но тогда я этого не понимала. Раз написано, надо стараться провести свое детище через все чистилища и потом идти в театр смотреть, как публика ее примет. Но до публики было еще далеко, а вот как бы добиться одобрения театрального комитета? Сказала я о своей мечте Боборыкину. Он замахал руками: «Врагу не пожелаю ставить пьесу! Я это все прошел, я знаю. Не может быть ничего ужаснее...» Он стал рассказывать, как ставил свои пьесы, как исстрадался и измучился, а чем больше он рассказывал, тем больше мне хотелось. Но говорить о своем желании было уже бесполезно. Петр Дмитриевич уже завелся, говорил и говорил, и, как всегда, уже не замечал, что не я, а он сам отвечает себе на свои вопросы, а что я уже охрипла от молчания. Когда он являлся, ему всегда сейчас же подавали чай, и он пил его маленькими глотками, торопливо бросая чашку на блюдечко, чтобы ничто не мешало ему говорить. Пил он чай очень сложно: в чашку клал много сахару, наливал сливок и заедал вареньем и печеньем. Причем печенье всегда клал прямо на стол, а не на тарелочку и крошил его пальцами. У него была манера: в разгаре разговора хлопать ладонью по столу, крепко вытирать на столе круглое пространство, и потом тереть себе этой же ладонью лицо. И все это очень крепко, с энергией. <...> ...Да! Про пьесу! Ничего не удалось с Боборыкиным, тогда я зазвала к себе Исакова. «Нет ничего проще,— сказал он мне.— Вейнберг Петр Исаевич в театральном комитете. Хотите, я с ним переговорю? Он ее положит вне очереди, одобрит и т. д.» <...> Он очень горячо принялся мне помогать. Пьесу он прочел, одобрил и сам провел через цензуру. «Да мне же это ничего не стоит!» Помню, как он один раз

пришел ко мне очень удивленный. Он получил мою записку, в которой я писала: «П[етр] Н[иколаевич]! Вы давно у меня не были и, если бы не моя Любовь, я бы и не стала звать Вас. Но мне так хочется поговорить с Вами о Любви» — и дальше в этом же роде. Он был удивлен и смущен, а я встретила его, как всегда, весело и просто.

— Что вы мне за странную записку написали? — И так явно было, что он попался, что он забыл, что пьеса называется «Любовь», а понял мое послание иначе, впрочем, ничего не понял. Потом он мне отомстил, но не очень удачно, слишком драматично.

Перед тем, как передать пьесу в театральный комитет, мы с Петром Николаевичем решили попросить Савину[18] согласиться взять в ней роль. Сестра Надя была знакома с Савиной, и мне это облегчало мою задачу. Я пошла к Савиной со своей пьесой. Так мне было досадно: не застала ее дома. Спускаюсь по ее лестнице и думаю: или мне оставить эту затею? Как вдруг к подъезду подъехала карета, и швейцар ринулся к ней со всех ног. Я остановилась и стала ждать. Мария Гавриловна медленно поднималась, опустив голову. Прошла мимо меня и не взглянула, а я подумала: «Теперь или никогда!» и тихо окликнула ее: «Мария Гавриловна!..» Господи, что с ней сделалось! Она вскрикнула, закрыла лицо рукой и прислонилась к перилам. «Кто это? Зачем? Что надо? Боже мой!» Я испугалась, стала извиняться, успокаивать. «Но я не разговариваю с незнакомыми! Нет-нет... Это ужасно!» <...> Я ей сказала, что я Надина сестра и назвала себя, чтобы сразу стать знакомой. «Душечка! — вдруг ласково сказала она,— но вы совсем душечка и сестра Ваша душечка! Ну, идемте ко мне, я очень рада!» И по ее глазам я увидела, что совсем она не испугалась и что вся эта сцена была разыграна так, для впечатления. Сидела я в ее комнате, на тахте, она меня расспрашивала про Надю, про меня, потом вдруг как-то ужасно устала, прилегла, а меня просила не уходить, а посидеть и еще что-нибудь рассказать. Потом усталость прошла внезапно, как страх.

Дня через два-три я опять пришла спросить про пьесу, и она опять назвала меня душечкой и торжественно поднесла мне свое согласие играть в моей пьесе. Конечно, это делалось не благодаря достоинствам моей пьесы, не ради меня, не ради Нади даже, а просто потому, что она рассчитывала, что родственная для меня Петербургская газета найдет способ поблагодарить ее за любезность (Надя писала театральные рецензии и всегда восхищалась Савиной, не за страх, а за

совесть). Но все равно я достигла своей цели. Не могло быть сомнения, что «Петры» проведут меня, и вот осуществится моя мечта, и я увижу свою пьесу на сцене. Вечером я топила камин и загадала: догорит головешка до конца — все сбудется, не догорит — провалится. А головешка горела жарко, и не было ей причины гаснуть. Я ее подбодряла, торопила. Но она погасла. И мне в первый раз пришло в голову, что хотя все идет гладко, а может кончиться гадко. Но это казалось невероятным.

«Через неделю принесу вам радостную весть,— сказал Исаков,— согласие Савиной ускорит постановку». Через неделю он с недоумением спросил меня: «Да где же Ваша пьеса? Ее перед заседанием искали, искали и не нашли».— «Но я ее передала!» — «Очень странно! Хотели ее читать, и уже теперь было бы решение, но ее не нашли». И опять искали и не нашли, а я не могла дать другого экземпляра, потому что на другом не было печати цензуры. И пропала пьеса. А еще немного спустя я получила извещение из Москвы: мою несчастную «Любовь» читали в Московском комитете и забраковали. И не удивительно.

А в Петербурге она прошла бы. Ее бы вывезли. Головешка-то была права и подготовила меня к неожиданному удару.

Отправили пьесу в Москву случайно. Вейнберг положил ее сверху, чтобы она попала в ближайшую очередь, не зная, что предстоит отправка в Москву. Она и попалась.

Зачем это я была у Вейнберга? Не помню! У него все стены были плотно увешаны портретами литераторов, поэтов, философов. И все в одинаковых размерах. Как-то случалось, что мне ко многим приходилось ходить, да я этого и не избегала, несмотря на свою застенчивость. Прийти с делом, с определенным разговором и не страшно. И чем больше у меня появлялось знакомых, тем легче мне было бывать даже в очень многолюдных собраниях. А тогда был целый ряд юбилеев, и их праздновали в ресторанах обедами по подписке. Например, юбилей Савиной, Вейнберга, Боборыкина... Торжественно прошел юбилей Петра Дмитриевича Боборыкина. Я сидела рядом с Кони[19], недалеко от юбиляра, почти напротив его через узкий стол, и все речи говорили за моей спиной, через мою голову.

Очень весело было на юбилее Шапир[20] в Северной гостинице. Гораздо проще, но очень весело. Тогда я познакомилась с Яворской. Впрочем, нет! Вру! Я познакомилась с ней раньше, на каких-то соединенных обедах трех газет: С[ына] О[течества], Северного Курьера, который редактировал муж

Яворской князь Барятинский, и еще какой-то третьей. Многое я забыла. Был тут какой-то союз этих трех газет, и вырабатывались программы. Речей, речей за обедами! Яворская любила и умела говорить. Она непременно хотела заставить говорить и меня, но я никогда не решалась.

Яворская... Нет, не хочу о ней писать. Она была в Москве на гастролях. Кажется, и сейчас еще здесь*. Неужели еще не старая? Ведь она приблизительно моего возраста. А хороша бы я была на сцене в роли Фру-Фру[21] или что она там играет?

На юбилее Шапир какой-то Берлин все писал и пересылал мне за столом стихи. Я их читала, но не одобряла. Между прочим, он мне прислал сравнение между Яворской и мной. Яворская сидела рядом со мной и как раз спросила: «Что это он вам все пишет?» Я, не читая еще и увидав ее имя, сказала: «Что-то про вас!» Тогда она взяла у меня листок и стала читать. Ну как мне могло прийти в голову, что незнакомый мне какой-то Берлин напишет мне что-то нелестное для своей знакомой Яворской? Я так привыкла, что все мужчины в нее влюблены, что была уверена, что и это стихотворение для нее очень лестно. И до сих пор помню начало:

Яворская и Вы — какое сочетанье!

Ну, мы вместе и прочли. Оказалось, что совсем не «сочетанье», а бог знает что. Сконфузила я человека, а Яворскую, наверное, навеки поссорила с Берлиным. Он назвал ее каким-то «темным страданьем», и я долго старалась понять и не могла, что это такое. Может быть, даже и не обидно? Вот сейчас вспомнила вторую строку:

Яворская и Вы — какое сочетанье!
Сиянье светлое и темное страданье...

Даже интересно, как такие мелочи выплывают из памяти, из какой-то черноты...

Л. Н. Толстой, Чехов, Горький... Вот об них мне не хочется сейчас писать. С Горьким я была мало знакома. Была у него один раз, и он у меня просидел вечер[22]. Надя, сестра, просила меня позволить ей вместо горничной подать нам чай («Я надену фартучек, чепчик... Пожалуйста...»). Но мы вышли пить чай за общим столом в столовой.

Писатели не интересны... Ну, а этот? Говорит он еще

---

* На тетради помета: 1918 г.

лучше, чем пишет, и, нет,— несомненно — это удивительный человек!

Я сейчас думаю: почему же мне не хочется вспоминать и писать именно об этих трех? И я себе это объясняю. Мне всегда были неприятны воспоминания маленьких людей о больших. Притягивают к себе они эту величину, приравнивают, примеряют. Выходит какое-то «сочетанье». И это несносно! Ничего такого особенного эти большие маленьким сказать не могли, а дорого сказанное только потому, что сказано ими. Значит, и запомнить особенно нечего. Отношений равных быть не может, в особенности в случайных нечастых встречах. Я отдаю себе очень ясный отчет: почему Горький ко мне приехал? почему он горячо и много говорил? Да просто потому, что я тогда была молода и я ему понравилась. Будь я умней в десять раз, талантливей в сто крат, но будь у меня очки на носу и закрученная косичка на затылке, никаких Горьких у меня бы не бывало! Уж это верно! И разве это не понятно? И разве я сама не была под обаянием этого выдающегося человека и разве я не могу сказать в свое оправдание, что я постаралась быть приятной и красивой, чтобы он не жалел, что сам дал мне так много: счастье восторга перед личностью человека.

Лев Николаевич, конечно, не замечал моей наружности, и, конечно, она не могла влиять на его отношение. Но ведь и отношений не было. Было то, что он узнавал меня при встрече, справлялся о моих занятиях, считал мои рассказы «хорошими» и даже как-то прочел вслух один мой рассказ. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этом случае, будь у меня очки и косичка, он отнесся бы ко мне еще лучше, еще внимательнее и теплее. Мне кажется, что это так. Но значит, и на него моя наружность влияла. Я могла бы вспомнить о многих наших встречах, о целом дне, проведенном мной и Ниной в Ясной Поляне, но я охотнее, за этот день, вспомню о Черткове. Л[ев] Н[иколаевич] слишком определенная величина, и мне ли искать в нем чего-либо нового, незамеченного раньше? Насчет Черткова я на себя полагаюсь. Тут — что мое, то мое, и я искала его понять и получила неожиданные впечатления. Нет, когда обыкновенные люди рассказывают про великих, это, право, очень напоминает рассказы путешественников про очень известные достопримечательности. Поехал какой-нибудь Иван Иванович и увидал, скажем, Капитолий. Ну, что же интересного в том, что он увидел? Ведь и глядел, несчастный, чужими глазами. Ведь и подходил напичканный уже теми чувствами, которые он

обязан был испытывать. Вот я и не хочу вспоминать о «великих», прошедших мимо меня. А если и пишу, что понравилась Горькому, то не для того, чтобы унизить его и притянуть-таки к себе, а потому, что это объясняет наше знакомство, а я не хочу напускать тумана...

Чехов... О нем искренне я вспоминать не могу и не хочется. Про Чехова я не сказала бы, что он великий человек и великий писатель. Конечно, нет! Он большой, симпатичный талант и был умной и интересной личностью.

Горький — яркий талант и оригинальный человек.

Толстой — великий писатель, великий мыслитель (?)[23], великий человек. Нет величины больше его в литературном свете.

Случается, что талант точно освещает, пронизывает всю личность писателя. Он сильней личности и точно силится поднять ее до себя. Это — Чехов.

Случается, что талант и личность одинаково сильны, ярки, помогают друг другу, выражаются каждый по-своему, сплетаются, сливаются. Это — Горький.

Но когда и талант и личность не только велики, сильны, могучи, а когда они еще **совершенны** (подчеркнуто Л. А.), когда дух их поднимается над человечеством и приближается к божескому,— тогда это Толстой[24].

Позже Лидия Алексеевна Авилова уточнила свою характеристику А. П. Чехова:

«...Но те, кому выпало на долю знать лично Ан[тона] Пав[ловича], те, у которых отношение к нему было свободно от всяких примесей, вроде соперничества, зависти или каких-либо личных счетов, те сохраняют в своей памяти образ человека, исключительного по своему благородству, большого человека, печально и ласково коснувшегося их душевных ран. Он не знал «нормы», но он чувствовал «уклонение от норм», и он сделал свое дело писателя: он верил и другим оставил веру в то, что жизнь может и должна быть прекрасной, когда уклонение от норм уже не будет иметь места».

[ЗНАКОМСТВО С ГОРЬКИМ]

Мне приходилось часто проходить мимо конторы Знания, и каждый раз я думала о Горьком, потому что Антон Павлович Чехов говорил мне, что ему необходимо знакомство с женщинами: «Горький — дикарь,— говорил он,— а женское влияние стерло бы его острые углы, сделало бы его

культурнее, мягче». И он советовал мне: «Познакомьтесь с Горьким, Вы не пожалеете!».

Мне самой очень хотелось познакомиться с Ал[ексеем] Макс[имовичем], но случая все не представлялось. В один из его приездов в Петербург много говорили об одной его выходке в театре: он, Скиталец и не помню, кто еще, сидели в буфете и пили чай. Публика узнала Горького, и сейчас же кругом него собралась толпа. Некоторые только замедляли шаги, проходя мимо столика, где он сидел; другие совсем останавливались и безо всякого стеснения разглядывали его в упор. Рассказывали, что Горький вдруг сердито оглянулся, потом уставился кому-то прямо в лицо и очень громко спросил: «Что я вам, балерина, что ли, что вы так на меня смотрите?!»

Был еще случай в театре Комиссаржевской, когда шла его пьеса, если не ошибаюсь, «Дачники». Публика частью аплодировала, частью шикала. Горь[кий] вышел на вызовы, но так как шиканье не прекратилось, он рассердился и крикнул какую-то дерзость.

Одни были в восторге от этих его выходок, другие обиженно возмущались, третьи просто забавлялись. Во всяком случае разговоров о Горьком было много, и мне все больше хотелось узнать его лично. Уж не помню, под каким предлогом я пошла в контору издательства Знание, познакомилась с Константином Петровичем Пятницким, секретарем Горького, и вышло так, что мне пришлось зайти к нему вторично. «Ал[ексей] Макс[имович] здесь,— сообщил он мне.— Хотите поговорить с ним? Если он не занят, он Вас примет!» Но я не успела ответить, как дверь из соседней комнаты отворилась, и на пороге показался Горький. Он хотел что-то сказать К[онстантину] П[етровичу], но, увидев меня, вопросительно взглянул на Пятницкого.

— Это писательница Авилова,— сказал Константин Петрович.— Познакомьтесь!

— Вот черт! Никогда и не слыхал, что есть такая писательница,— удивился Алексей Максимович.— Вы где же пишете?

Я назвала несколько органов печати.

— Как же я вас прозевал? — удивился Горький.— Принесли что-нибудь нам?

— Ничего не принесла. Мне кажется, я не подхожу для Знания.

— Кажется! Ей кажется! — насмешливо передразнил меня Горький.— Ну идите сюда ко мне, сударыня, потолкуем!

Но мы не успели выйти, как в контору довольно шумно ввалилась толпа учащейся молодежи. *(Далее несколько строк неразборчиво.— Н. А.).*

— Я отказываюсь выступать на вашем вечере! — закричал Алексей Максимович.— Но разве я сказал, что отказываюсь помочь вам?

Он быстро повернулся, подошел к письменному столу и открыл средний ящик, из которого торчал ключ. Я стояла как раз около этого ящика и могла видеть, что в нем было много денег, не аккуратными пачками, а брошенных небрежно, врассыпную. А[лексей] М[аксимыч] сгреб в горсть, сколько попало, и, кажется, собирался еще прибавить, но К[онстантин] П[етрович] быстро подбежал и успел отстранить Г[орького], захлопнуть ящик и, заперев, сунуть ключ в карман. Алексей Максимович, улыбаясь, оглянулся на него.

— Платежи завтра, платежи! — тихо сказал Пятницкий.— Эх, Алексей Максимыч!

— Ну, ну, не буду больше...

Алексей Максимыч вернулся к молодежи и сунул кому-то деньги.

— Вот, товарищи, это вместо выступления. Или у меня другого дела нет? Хоть все брось и только выступай на ваших вечерах!

Я скорее плюхнулась, чем села на диван в его кабинете: это Горький помог мне сесть, слегка надавив мне руки выше локтей.

— Вот, сударыня, теперь побеседуем. Видели, какой народ? Хороший народ, а говорить врозь не умеют. У нас вообще мало кто умеет говорить. Вы можете не готовясь сказать хоть маленькую речь?

— Нет, не могу!

— Странно! Почему это? Если не совсем глуп и владеешь словом...

— Да, вам, наверное, этого не понять. Вы когда-нибудь испытывали чувство застенчивости?

Горький засмеялся.

— Застенчивость — это глупость, сударыня. Ее легко побороть. Надо дерзить, и не будет застенчивости!

— Легко сказать!

— Да разве вы-то застенчивы?

— Очень. И это мучительно. Делаешься глупой и смешной.

— А я бы про вас этого не подумал!

— Потому что мне с вами легко, а бывает...

— Ну как же бывает?

— Да вот, например, отнесла я свою повесть в В[естник] Евр[опы], ну и пошла потом за ответом: принята или забракована? Очень волновалась! едва заставила себя войти в дверь редакции, а то все проходила мимо. Ну, позвали меня прямо к Стасюлевичу. Не знаете его? Михаил Матвеевич Стасюлевич. Совсем не страшный, а какой-то будто рассеянный, равнодушный. Спросил меня: — Ваша статья по какому вопросу? — Не знаю почему, этот вопрос меня очень смутил. За меня ответил секретарь. Он стоял сзади, у камина.— А-а, повесть... беллетристика,— протянул старик.— Так вы принесли повесть? — Я совсем растерялась.— Видите ли, Матвей Стасюлеевич,— начала я, спохватилась и быстро поправилась: — Простите, Стасюлей Матвеич...— Ну, а потом... потом у меня было только одно желание: провалиться сквозь пол, или тут же умереть, или проснуться и понять, что у меня кошмар. За моей спиной как-то странно откашливался секретарь, его будто душило...

Алексей Максимович засмеялся.

— Ну, а Стасюлей-то что? Стасюлей?

— А он будто и не заметил ничего, не улыбнулся, не нахмурился...

— Так вот что, сударыня, мы этому Стасюлею больше ничего не дадим. Что напишете, тащите ко мне! И то, что уже напечатали, тоже тащите, мы тут разберем.

— Зачем вы зовете меня «сударыня»? Меня зовут Лидия Алексеевна. Очень неприятно эта «сударыня» от вас...

— Да ведь черт вас знает. Ведь вы все-таки дама? Ведь так?

— Ну, ладно... Дама,— согласилась я, смеясь.

— А я совсем не привык иметь дело с дамами. Это совсем как будто особая порода. Всего пугается и пищит. Вы не курите?

— Курю.

— О! Разве дамы курят? Впрочем, вы писательница...

Мы закурили и разговор как-то перескочил на музыку.

— На меня музыка очень действует,— признался Горький.— Если уж очень хорошо, хочется вскочить, разбить окна и закричать на улицу что-нибудь такое... сильное...

— Окна-то зачем же бить? — удивилась я.

— Непременно окна бить! Не помню, впрочем, чтобы я на самом деле бил, а хочется. Да, музыка чудесная вещь.

Мы условились, что на следующий же день принесу

в контору книги В[естника] Е[вропы] с моими повестями и еще кое-что из других журналов, и я протянула Алексею Максимовичу руку, чтобы проститься. Он пожал мне руку. Да, он пожал, и сколько мне надо было выдержки, чтобы не запищать, как пищит особая порода, называемая дамами! А когда я вышла на улицу, я увидала, что у меня средний палец в крови! Это мое кольцо... впилось и расцарапало кожу. Я помахала побелевшими пальцами и засмеялась: завтра колец на правую руку не надену.

Я шла и припоминала: все время я внимательно смотрела на Ал[ексея] М[аксимовича]. Какой же он? Я знала и видела по портретам, что он очень некрасив, и когда он вышел из кабинета в контору, я еще больше в этом убедилась. Но когда он стоял и говорил с молодежью, в его фигуре, в выражении лица появилось что-то новое, неожиданное и спутало первое впечатление. Он любил эту молодежь, молодежь любила его, и это взаимное чувство смягчало и красило его черты. Было ли ему радостно, что он может помочь этому «хорошему народу» в таком необходимом деле, и что эта помощь будет дана и принята по-хорошему, не как благотворительность. Может быть, так, может быть, иначе, но столько красоты душевной выражала тогда вся его фигура, что мне казалось, что я вижу другого человека. А когда он говорил о музыке и как ему хочется бить окна — это был еще третий Горький, сознающий свою силу, громадный талант, сознающий свое право, бесстрашный борец, требующий от жизни свободы и справедливости.

На другой день мне не удалось поговорить с Алексеем Максимовичем: он был очень занят, но он все-таки вышел ко мне из кабинета в контору и взял у меня папку книг. «Когда все прочту, потолкуем. Я хочу сам прийти к вам, но сделайте так, чтобы нам не мешали. Я приду, если обещаете, что никого постороннего не будет. Можете обещать?» — «Могу»,— уверенно ответила я. «Тогда приду. Лучше всего вечером. О дне я вам сообщу».

Он приказал Пятницкому записать мой адрес и поспешил назад в свой кабинет.

— Рукопись принесли? — спросил К[онстантин] П[етрович].

— Ничего готового у меня нет,— сказала я.— Принесла кое-что напечатанное.

Он хотел просмотреть.

— Ал[ексей] Мак[симыч] уже звал вас сотрудничать? и, вероятно, уже предлагал аванс? Так вот: предупреждаю

вас, Лидия Алексеевна, аванса я не дам. Он готов разбрасывать деньги на все стороны, и если бы не я, мы давно бы прогорели с нашим Знанием. Для него деньги имеют только ту цену, что он может их отдать. Видели вчера? Получит где-нибудь крупную сумму, себе ничего не оставит, а свалит ко мне в этот ящик. Но что толку? дай ему волю, и он очень скоро все назад выгребет, вот так, горстью, не считая. Не даю, он сердится. Да ведь как сердится. А что мне делать? Вся денежная часть на мне. Подойдут платежи — бери, откуда хочешь. Вот я и держусь зубами за каждый рубль, зря бросать не даю. И не дам вам аванса, так и знайте! А ведь уже предлагал? Сознайтесь! Такое мне с ним наказание!.. Всякое терпение может лопнуть! Не дам вам аванса! Что хотите — не дам!

Он горячился, а я смеялась. Вот чудак! Разве я просила?[1]

[«ИВАНОВ» А. П. ЧЕХОВА В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕ]

Антон Павлович сдержал свое слово и прислал мне билет на «Иванова»[1]. Если бы я купила этот билет в кассе, настроение у меня не было бы таким праздничным и приподнятым, и мне не казалось бы, что и освещение в этот вечер ярче и публика симпатичнее. Я была уверена, что получу очень сильные впечатления, переживу восторг и умиление. Мелкие рассказы Чехова часто заставляли меня плакать, а я увижу драму!

— И не удержусь, и буду реветь,— предчувствовала я.

Все первое действие я не дышала. Действующие лица были интересны, живы, обещали много впереди. Как определится и выяснится загадочный Иванов? Умен или глуп честный Львов? Боркин с первых слов вполне понятен, но граф? И вот среди них нежная, трогательная, больная Сарра. Но к чему Чехов заставил ее напевать Чижика? Мой муж свистит «Стрелочка», и это естественно[2]. Но Сарра музыкальна, и мы только что слышали, как она прекрасно играла. Шабельский клевещет, что «у нее слух меньше, чем у фаршированной щуки». Граф озлоблен и несправедлив. Но кувыркаться в сене Сарра действительно неудачно придумала, и в этом тоже виноват Чехов. Все это пустяки, мелочи, но они, как мошки, неприятны.

Во 2-м действии я сразу и горячо возненавидела Шуру. Меня возмутила ее речь к гостям-молодежи: «...ну, послушайте, сделайте мне одолжение! Если не хотите плясать,

смеяться, петь, если все это скучно, то прошу вас, умоляю, хоть раз в жизни, чтобы удивить или насмешить, соберите силы и все разом придумайте что-нибудь остроумное, блестящее, скажите даже хоть дерзость или пошлость, но чтобы было смешно и ново! Ах, господа, все вы не то, не то! Не то, не то! Тысячу раз я вам говорила и всегда буду говорить, что вы не то, не то, не то!»[3]

Нельзя было не поежиться под этим градом «не то». Такие резкие самомнительные девицы нравятся Чехову? И мою непобедимую антипатию еще подтвердило объяснение в любви Шуры с Ивановым: «С вами хоть на край света, хоть в могилу, но ради бога скорей, иначе я задохнусь». Мне почувствовалось, что в этом именно что-то не то. Что скорей? И Иванов тоже скоро провалился в моем мнении. Стало скучно и очень досадно, когда Шура в амазонке явилась к Иванову. В ее любовь я не верила, а Иванов с его нытьем и уверениями, какой он раньше был молодец, по-моему, тоже не любил и не мог любить, поглощенный интересностью своей особы.

4-е действие показалось мне даже немного комичным. Шура металась по сцене в подвенечном платье со шлейфом, в фате и цветах.

— Будет свадьба? — Нет, не будет свадьбы! — Нет, свадьба будет! — И вдруг дикое выступление Львова: «Иванов, вы подлец». Несколько умных слов Шуры и выстрел[4]

Театр гремел от аплодисментов. Очень вызывали автора, и вот между Саррой и Шурой показался Чехов, держась за руки. Он как будто упирался, но это могло только казаться, потому что он очень высоко держал голову и ему было неудобно идти немного боком. Как только он остановился лицом к зрителям, аплодисменты разразились с удвоенной силой. Многие встали и хлопали стоя, я тоже встала и подняла руки. Чехов мог видеть меня, и я была уверена, что он увидал и узнал. Он взмахнул своей непокорной прядью волос, и по губам пробежала едва заметная дрожь, похожая на улыбку. Какой он стоял вытянутый, неловкий, точно связанный. А в этой промелькнувшей улыбке мне почудилось такое болезненное напряжение, такая усталость и тоска, что у меня опустились руки. Я не сомневалась: несмотря на шумный успех, Антон Павлович был недоволен и несчастлив.

К сожалению, никогда мне не пришлось проверить, была ли я права[5].

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ [«ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГАЗЕТЫ»]

Я была в Александринском театре на бенефисе г-жи Левкеевой и видела пьесу Ант. Чехова «Чайка».

Говорят, что «Чайка» не пьеса. В таком случае посмотрите на сцене «не пьесу»! Пьес так много. Мы все любим пьесы, настоящие... Поднимается занавес, и сперва ничего, все хорошо, все благополучно и только чуть брезжится какое-то зарождающееся страдание.— Чуть-чуть! Во втором действии страдание разрастается, охватывает героев все сильней и сильней. В третьем...

Я не знаю, как сделал Чехов: пришли на сцену люди, и так как эти люди давно жили до бенефиса г-жи Левкеевой и будут жить после бенефиса, то пришли они со всеми радостями и страданиями, которые дала им жизнь, и стали жить перед публикой. Пришел Тригорин, известный талантливый беллетрист, и так как он действительно талантлив, то он и сумел в нескольких словах открыть перед всеми свою душу. Но искренняя исповедь очень больной, очень страдающей души не возбудила участия. Мы все видели, как эта чуткая, тонкая, но слабая душа умирала медленной смертью только оттого, что не было силы бороться с пошлостью, которая затягивала ее, как тина. Публика любит силу, любит, чтобы перед ней боролись. Тригорин мало боролся. Он не плакал и не бил себя кулаком в грудь. Вы спросите: почему же он этого не делал? Я не знаю почему. Я думаю, что он забыл о том, что на один этот вечер перенесся на подмостки. Он просто жил, жил, как жили все кругом, не заботясь о том, что на них смотрят гг. рецензенты.

Жил, тосковал и под конец лишил себя жизни Константин Треплев. Жалко, что он застрелился именно в этот вечер, в бенефис г-жи Левкеевой, потому что это обеспокоило публику. Публика была равнодушна к Треплеву, потому что, когда он тосковал, он уходил играть на рояле. Я знаю, что многие из тех, кто живет не на сцене, делают именно так: они уходят в себя, когда тоскуют, но о них тоже забывают в жизни. Не вдуматься в душевное состояние человека, а вернее надо любить его, чтобы не забывать о нем и не поставить ему в упрек то беспокойство, которое он доставляет ближнему своими личными страданиями. Душевное состояние Треплева ужасно: Тригорин отнял у него невесту, отнял мать. Он любит, ненавидит, дрожит как струна, и наконец эта струна не выдерживает, и жизнь прерывается насильно.

Кое-кто пожалел Чайку. Она пришла вся беленькая, тоненькая и принесла открытое сердечко, в котором еще не было ничего. Она прилетела в чудный солнечный день и с такой верой и пылкостью молодости отдала Тригорину медальон вместе со своим сердцем и жизнью, которая, казалось ей, уже не имела смысла без него. И он все взял. Любил ли он свою Чайку? Любил, может быть. Но бедная Чайка внесла с собой беспокойство и новое страдание, и тогда он выгнал ее из своей жизни. Он выгнал ее в темную осеннюю ночь, слабую, исстрадавшуюся, полубезумную, и она вылетела на свое родное озеро и пропала в темноте ночи с криком любви и отчаяния.

Отчего она не утопилась? Отчего она не кричала и не билась в истерике? Публика полюбила бы ее, пожалела бы о ней и похлопала бы автору. Но автор знал, что он не выдумал образ своей Чайки, и он не посмел заставить ее кричать и топиться, как топятся и кричат все героини. Чайка жива, и когда я думаю о ней, я уверена, что она успокоилась, оправилась, что ослабевшие крылья ее опять окрепли. Быть может, она уже не любит Тригорина, но, если она встретится с ним еще, она пожалеет его и не осудит.

Посмотрите, господа, на сцене «не пьесу»! Может быть, если мы научимся слушать и понимать людей, настоящих людей, которые один вечер будут жить для нас своей настоящей жизнью на подмостках театра, если мы научимся слушать и понимать, мы научимся также любить и прощать. Может быть, после таких «не пьес» мы и вокруг себя увидим то, чего не видали раньше, услышим то, чего не слышали.

А настоящих пьес будет еще много, очень много.

[НА СПИРИДОНОВКЕ[1]]

[ВЕЧЕР В КРУГУ СЕМЬИ]

Вспоминается вечер зимой, когда все дома и сидят вокруг чайного стола. Миша ходит по зале. Ему тогда тоже вспоминалось, и он рассказывает про прошлое, про Караичку[2], про лошадей, про Макарыча. Потрескивает печь в передней, обваливаются прогоревшие уголья. Тилька, сидя на стуле, нетерпеливо ждет подачки, облизывается и подвизгивает. Стул под ним дрожит и стучит. И вдруг мягко, гулко бьют большие часы.

После обеда затапливают камин и, завернув электричест-

во, мы пьем кофе при свете пылающих дров, заняв каждый свое привычное место. Отец всегда сидит в кресле, прямо против камина и смотрит в огонь; я занимаю свой любимый уголок дивана. Нина приваливается к моему плечу, обе наши собаки ложатся на ковре, а Лодя занимает кушетку, подсовывая подушки и под голову и за спину. Он лежит и часто засыпает крепким сладким сном...

[ТИЛЬКА]

Да, давно это было! Собираясь укладываться спать, мы вдруг заметили, что Тильки нет на его месте. Стали звать, искать по всему дому, но он так и не нашелся. Нина и я решили идти его искать. Была холодная, морозная, зимняя ночь, ярко светила полная луна; на улице было безлюдно, тихо, светло, бело. Мы прошли немного в одну сторону, прошли в другую, завернули в переулок и, убедившись, что наше предприятие вполне безнадежное, вернулись к нашему дому. Калитка была отперта, мы вошли во двор и уже без всякой надежды, просто для очистки совести, опять стали звать Тильку. На дворе тоже было светло, бело, безмолвно. В окнах нашего дома и флигеля уже не светилось огней, на панель вдоль въезда в ворота легла черная тень, а широкое пространство снежного двора было ярко залито лунным светом. Мы вышли на этот простор, отбрасывая от себя черные тени, постояли, посмотрели и, точно молча условившись в чем-то, стараясь тише скрипеть по мерзлому снегу, прошли обратно через калитку на улицу. Завороженный луной белый двор требовал тишины и торжественности.

В доме все уже успели лечь, и мы с Ниной поцеловались и разошлись по своим комнатам. А Тильки не было, и неприятно было думать, что в эту морозную ночь он без приюта, может быть, искусанный, замученный и, во всяком случае, несчастный и голодный.

— Ну, сам виноват! — сказала Нина, утешая себя своей суровостью.

— Конечно, сам виноват,— согласилась и я.

Но обеим нам было неприятно и мы обе старались, но не могли забыть, что Тильки нет.

Потушив электричество, я, уже лежа в постели, все прислушивалась к внешним звукам, но царила полная, зимняя тишина. В щели неплотно задернутых занавесок двумя полосами проникал яркий лунный свет, и в теплой темной комнате странно близким и далеким казался белый,

снежный двор, залитый лунным светом, звонко скованный морозом, завороженный торжественной тишиной.

Я уже перестала прислушиваться, ждать и соображать, вероятно, я уже заснула, когда вдруг знакомый лай дошел до моего сознания. Может быть, я уже давно слышала его, но не понимала. Конечно, это лаял Тилька, лаял отрывисто, осторожно, не громко. Так стучат ночью в дверь, чтобы разбудить, но не испугать.

Я вскочила, отодвинула штору и открыла форточку. Тилька стоял у двери в кухню, и его маленькая фигурка была вся отчетливо видна. На стук форточки он быстро повернул голову и напряженно замер.

— Откроешь? — спросил он всей своей позой.

— Не смей лаять, молчи,— тихо сказала я ему,— сейчас оденусь, открою.

Он понял, повернулся носом к двери и поджался так, будто у него не было даже обрубочка хвоста. Он так чувствовал себя виноватым, достойным наказания и хотел избегнуть этого наказания. «Устал, как собака,— наверно думал он,— издрог, изголодался, места живого в теле нет, а мне еще мораль преподавать будут».

Закрывая форточку, я видела на снегу его фигурку и точно читала его мысли.

В сенях было темно и холодно. Я зажгла спичку, чтобы найти крюк от двери. И едва я откинула крюк и приоткрыла дверь, как Тилька скользнул мимо меня и сейчас же пропал в темноте. Я хотела и не успела шлепнуть его.

— Дрянь! — сказала я ему.

Он лежал в ванне на полу и, когда я вошла, поднял голову и посмотрел мне в глаза.

— Пить хочешь? — спросила я.

Но до чего же он хотел пить, несмотря на мороз! Как он пил! Долго, жадно.

— Дрянь! — тихо говорила я ему.— Где ты шляешься? Что это за идиотские увлечения? Ведь ты маленький, сравнительно слабый. Сколько собак больше и сильнее тебя! На что ты надеешься, дурак? Загрызут тебя до смерти, а твоя красавица даже не заметит тебя.

Он на миг перестал пить, поглядел на меня и осторожно встряхнулся. Эта осторожность подтвердила мое предположение, что для него не все обошлось благополучно, что он был покусан.

— Ладно. А что прикажешь сделать с инстинктом? — спросил его взгляд.

Он стал опять лакать, но уже вяло и лениво и сейчас же бросил и повернулся, поджав одну лапу, опустив голову и изогнувшись в крючок. Я стояла в дверях ванны, в комнате было светло, и он понимал, что проскользнуть мимо меня безнаказанно ему может и не удаться.

— Скучны эти разговоры! — ясно говорил он.— Дай ты мне пробраться до своего места. Ведь не прошу я у тебя есть, хотя и голоден до смерти, так хоть отвяжись от меня с нотациями и наказаниями.

Медленно переступая, с обвисшими ушами, с поджатым хвостом, с низко опущенной головой, но с настороженным взглядом умных, лукавых глаз, он прокрался несколько шагов и остановился.

— Играю в смирение. Что же делать? — поняла я. И мне стало его жалко.

— Есть-то хочешь? — спросила я.

Морда сразу поднялась, уши насторожились, в глазах блеснул самый решительный, утвердительный ответ.

— Хочу, конечно! Но разве дашь?

— Подожди.

Я прошла к буфетному шкапчику в коридоре, опять зажгла спичку и взяла с тарелки пару пирожков. Тилька уже стоял за мной, но как только я обернулась к нему, он присел и, облизываясь, мяукнул, как кошка. Съел один пирожок, съел другой и благодарно повилял обрубочком хвоста.

Я отворила ему дверь Левиной комнаты, где он всегда спал на диване, в пролежанной им дыре, и он трусцой побежал к своему месту, приготовился, с усилием прыгнул и громко, с облегчением и наслаждением закряхтел.

Я тоже легла и тепло укрылась. И мне было весело, и смешно, и спокойно, и уютно. В зале гулко пробило три часа.

Это было давно и вдруг отчетливо вспомнилось сегодня ночью, когда мне не спалось и где-то отрывисто, знакомым, понятным голосом залаял фокс.

[ПОЕЗДКА В КРЫМ]

Почему-то мне сегодня все вспоминается Крым. Эта поездка с Мишенькой и Ниной, с этими двумя моими любимыми, которых теперь со мной нет, эта поездка была последней яркой вспышкой моего счастья. После черезвычайно тяжелой, мучительной зимы и перед крушением всей моей жизни — два месяца сказочного счастья. Мишенька и Нина...

Я помню свои мысли на балконе — в Симеизе. Миша подошел ко мне и обнял меня.

— Ты думаешь о судьбе своих детей? — Почему ты это угадал? — Я знаю.— Я прислонилась к нему, и мы думали вместе. Но молчали. Чувства Миши и его мысли были всегда гораздо мягче, нежнее его слов. Я знаю, что тогда мы думали и чувствовали одно и то же, но, если бы заговорили, не согласились бы друг с другом. Он сказал бы: «Я не могу примириться, что они ищут свое счастье там, где я его для них не вижу; что они выбрали людей, которых я не выбрал бы для них». Он сказал бы: «Я не могу быть счастливым их счастьем». А мне хотелось, чтобы они, как я, на это время забыли бы всякие рассуждения, всякую критику, все свои личные чувства и широко открыли бы свою душу только для сочувствия, только для радости, только для любви. Не хотела я понять, что он не был способен опьяняться до потери ясности мысли для полноты чувства и что он не хотел и не умел закрывать глаза на одну сторону, чтобы видеть только другую. Он оставался трезвым, ясным, проницательным и, может быть, немного слишком осторожным и подозрительным. И молчал он, чтобы не огорчать меня, потому что только молча мог он выразить всю безграничную нежность своей любви. И мы думали о судьбе наших детей.

Шумело море, разбивались волны, ясно голубело небо, и ярко светило солнце, и все — все было полно этими мыслями, и все отзывалось на них. Лодя с Таней, Нина с Володей...

Кто видит вперед? Кто знает, что будет? Кто умеет не ошибиться, утверждая: здесь счастье, а там его нет! Кто уверенной рукой указывает путь жизни? Приносить тяжелые жертвы, чтобы потом никогда не прийти к убеждению, что они были необходимы,— это, быть может, самая большая ошибка в жизни.

Поверить чужому опыту и не иметь средств впоследствии отделаться от подозрения, что он обманул тебя, это, быть может, самое горестное недоразумение. Разве жизнь так богата счастьем, чтобы его выбирать?

В эту весну[1] двое из моих трех нашли свое счастье, захотели его всей душой. И эти двое спросили у нас: «Можно? Вы согласны? Вы поможете нам быть счастливыми? Если не на всю жизнь, то хотя пока...»

Ах, боже мой, если бы они знали! Ниночка! Лодюшка! Если бы вы знали! Разве мы могли сказать: да или нет? Могли сказать, что хотели? Мы могли сказать только то, что сложилось у нас в душе. Мы разные, но одинаково любящие,

мы могли сказать только то, что кричала нам наша любовь. И я, после тяжелого разочарования в себе, в своем знании и опыте, я с возмущением, с экстазом, с завязанными на все глазами, глазами, которым я уже не верила, я хотела счастья во что бы то ни стало; я хотела его с отчаяньем, с безумием. Отец хотел его осторожно, с благоразумием, с проницательностью, свойственной ему во всем. Он сказал про Таню: «Меня беспокоит ее здоровье». А ее тогда никто не считал больной. Это было предвиденье любви[2]. Про Володю он говорил: «Это честный и порядочный малый, но... болтун, балаболка»[3]. Он боялся. Но он не только боялся: он ревновал. Он не мог «отдать» Нину. И кому? Мальчишке. И разве я не понимала его и разве он не понимал меня? Решение судьбы наших двух детей, я уверена, глубже задело нас, чем их самих.

Да, когда мы глядели тогда, обнявшись, на море и молчали, это была, кажется, самая незабываемая, самая многозначительная минута нашей общей жизни. Какое чувство! Ему нет слов! Точно наши двое из трех уплывали от нас в это безбрежное море, уходили куда-то ввысь, растворялись в этой красоте и дали. И все, все — и небо, и море, и солнце — было Лодино и Нинино счастье и наши надежды и наша тревога...

Ярко представить себе этот день и вспомнить: а Миша умер... А Таня умерла... А Нина — я не знаю где[4]. Не знаю. И ничего не осталось от той жизни, в которой можно было взвешивать шансы за и против «обычного» счастья. И оглянуться на себя. Кто видит вперед? Кто знает, что будет?

...А за окном все идет, все падает снег. На суку дерева сидят нахохлившиеся галки... Ну ничего! Все мы умрем. Все мы отдохнем. Все проходит быстро.

[СЫНОВЬЯ]

Взрослые очень любят спрашивать маленьких детей: а скажи, кого ты больше любишь, папу или маму?

Дети на этот вопрос всегда хмурятся, сопят и вырываются из рук, которые стараются их удержать. Самые лимфатичные отвечают, нахмурившись: «Не знаю!» И как им знать? Но этот вопрос вызывает неприязнь к лицам, которые пристают с ним.

Меня всегда сердило, когда меня спрашивали: — А ты какого сына больше любишь? Сознайся, Леву?[1] Я тоже хмури-

лась и вырывалась. Леву. Почему всегда все предполагали, что Леву? Разве я делала между ними разницу? Разве я была несправедлива, разве я была нежнее с одним, чем с другим?

Я стала невольно следить за собой и с недоумением заметила: конечно, отношение между мной и Левой было одно, а между мной и Лодей[2] — другое. Я стала это замечать, когда мальчики были уже подростками и характеры их более или менее определились.

Два родные брата, но до чего несхожи! Лева плакал, когда огорчался, Лодя кричал, когда сердился. Лева был очень нежен со мной, с няней, со своими. Лодя больше льнул к чужим, например к гостям, и постоянно с радостью принимал их приглашения ехать жить к тому или другому. «Сейчас соберу свое узло»,— объявлял он и бежал к няне приказать ей увязать его вещи. Он был забавный, живой, «неожиданный характер», и с ним любили шутить и смеяться взрослые.

Лева был застенчив и неразговорчив. Он не имел успеха у чужих. Мне особенно запомнилось, как в один дождливый вечер, когда мы только что приехали в Клекотки, Лодя, которому тогда было около 3-х лет, вышел на крыльцо и крикнул: «Люди! Уберите грязь!» — и когда никто не кинулся исполнять его приказание, весь красный от гнева он побежал к бабушке и возмущенно заявил: «Я — барин, а они меня не слушаются». Разве Леве приходило в голову, что он барин? В другой раз я сказала Лоде (это было на вокзале): «Поди к буфету, спроси бутылку сельтерской». Он отвернулся и гордо бросил мне через плечо: «Я тебе не лакей». Эта черта глупого зазнайства проявлялась часто и очень удивляла меня. Удивляла и сердила. Ему за это попадало, но возможно, что слишком примитивно. Я, например, давала ему подзатыльник или отталкивала его от себя и говорила: «Ты важничаешь, так убирайся. Я таких важных не люблю». Тогда он садился против меня и глядел на меня, не спуская глаз. Глядел так пристально и долго, что у него начинали закрываться глаза, его одолевал сон. А мне становилось смешно: кто кого пересидит?

У Левы был свой крупный недостаток: он был нетерпелив и вспыльчив и в припадке вспыльчивости очень несимпатичен: дрался, бросал и ломал вещи, очень неприлично выражал свои чувства к окружающим, но всегда кончал тем, что бросался ничком на кровать или на диван, зарывался лицом в подушку и трясся и дергался от рыданий. Это значило, что припадок вспыльчивости уже сменился стыдом или раская-

нием, и Лева был очень несчастлив. Как часто мне приходилось выносить такие же сцены с Мишей и как они портили мне жизнь! Миша, успокоившись, тоже стыдился и раскаивался, но, конечно, не плакал, а старался возбудить сочувствие и жалость к себе: это был его способ заслужить прощение. Он начинал жаловаться на колотье в сердце, на какое-то пощипывание.

Я знала, что эти припадки у него наследственные, ненавидела их всей душой, негодовала, возмущалась, что он не хочет или не может бороться и не допускать их, но в конце концов мирилась с этой неприятностью. Тяжело было думать, что Левушка тоже заражен этой наследственностью, и невозможно было сердиться на него, когда он так горько плакал. Мне всегда казалось, что плакал он оттого, что не мог понять, что с ним происходит. Как могло быть, что он, кроткий, любящий мальчик, так скверно себя вел? Но в раннем детстве эти припадки случались с ним довольно редко, и я надеялась, что мы с ним вдвоем осилим их.

У Лоди очень рано стала проявляться способность фантазировать. Он начал рассказывать «болтушки». Чаще всего он рассказывал их Ниночке[3]: «Слушай. Ночь... очень темно. Ничего не видно, а в поле идет поезд. Ведь страшно? А близко лес. Там еще темней. А поезд идет. И вдруг... И вдруг — волк!» Он изображает на лице ужас, таращит глаза, разводит руки со скрюченными пальцами, выжидающе смотрит на Ниночку, как переносит она этот ужас? Волк!.. Но Нина спокойно сидит за своим маленьким столиком на маленьком стульчике, расставляет свой игрушечный сервиз. Лодя трясет ее за плечо, авторское самолюбие его оскорблено: «Ну, что?» Ниночка равнодушно одобряет «болтушку». «Подожди, я еще страшнее выдумаю»,— обещает Лодя.

Несколько позже он стал выдумывать не только «болтушки», но и приключения, которые будто бы бывали с ним, как только он оставался один. И он ни за что не признавался, что сочинял их. А я не придавала этим рассказам никакого значения. Заметишь иногда: «Все-то ты врешь!» Он пристально посмотрит, поморгает и убежит.

Когда в детской стали ставить спектакли, никто из зрителей не сомневался, что автор пьес главным образом Лодя. Конечно, все артисты вносили много своего, так как им давалась только канва пьесы без слов и каждый играл свое, как вздумается.

— На чью это трупу я наступил? — вытаращив глаза и скрючивая пальцы, вопил Лодя.

Несомненно, он был самый «интересный» мой ребенок, сознавал это и жаждал успеха и славы. Он чувствовал, что мал, и во что бы то ни стало стремился всегда быть на виду, играть главную роль, приобрести значение.

Я теперь думаю, что могла бы тогда обратить больше внимания на это развивающееся тщеславие, но я была не педагог и почему-то ненавидела педагогов. Я очень гордилась успехами Лоди и одновременно сердилась за них же: уж очень было заметно, как он добивался их. Но отец так «щелкал его по носу» за то, что он заносился, зазнавался, что мне было его жалко, и я уже сердилась на Мишу: а он-то что за педагог, что так старается сломить у ребенка веру в свою силу, в свои способности, старается унизить его, пользуясь тем, что внушает ему страх. Разве можно унижать ребенка? Вот откуда неискренность, хитрость, подхалимство или озлобление. Мы с Мишей спорили и ссорились, а Лодя искал и находил у чужих признание его превосходства и даже преклонения перед его личностью. Он подчинял себе товарищей, и его друзья всегда были его поклонниками, а не равными. Мне кажется, что дома он чувствовал себя угнетенным, потому что он не первенствовал и становился обыкновенным и не возбуждал удивления и восторга. Его часто уличали во лжи, высмеивали, и он чувствовал себя несвободным... И вот в то время, как мы с Левой делили радости и горести его жизни, Лодя все чаще и чаще обманывал меня и нуждался в моем участии только тогда, когда попадал в беду и ему нужна была моя помощь. Но в этой помощи я никогда не отказывала ему, в особенности когда надо было заступиться за него перед отцом. Миша сердился: «Твое дурацкое баловство только вредит мальчишке. Он способный, умный, но зазнался, изоврался, распустился, изленился. Черт знает что! Ведь его даже к экзаменам не хотели допустить!» — «Но ведь он перешел!» Миша пожал плечами: «Мне директор сказал: блестяще держал экзамены. Все рот разинули. Ведь вот подлец!» Как Миша гордился сыновьями! Но Левой — с нежностью, а Лодей — стараясь скрыть эту гордость, кажется, даже от самого себя. Очень он всегда боялся, чтобы кто-нибудь из нас не зазнался. Не боялся только за Ниночку.

Я не знаю, насколько и в чем я была виновата, но я чувствовала, как с каждым годом я теряла Лодю, как он отдалялся, отгораживался. И вместе с тем я знала, что мы очень любим друг друга. У него эта любовь проявлялась какими-

то порывами, при случае, а потом он опять уходил очень далеко. <...>

Отчего я не могла спорить с Лодей? найти надлежащие слова, простые и ясные, возражая ему? Ведь мои мысли казались мне простыми и ясными, но он ошеломлял меня неожиданностями и уверенностью своих утверждений. Я много думала над ними и не могла бы сказать, как сказал бы отец: «балалайка несчастная!»

Я все больше дружески сближалась с Левой и все более упрямо боролась с Лодей. Каждому слову Левы я без всякого колебания верила, да и в чем было сомневаться? Так что и вопроса о доверии никогда не возникало. Мы беседовали спокойно и просто. Лодя всегда являлся удивить чем-нибудь. Он не любил «домашних» разговоров и если и говорил про «домашнее», то с насмешкой, с осуждением, даже с презрением. Я знала, как сильно он любил Ниночку, но это не мешало ему иногда ядовито издеваться над ней: «Чем ты не купеческая дочка? Знаешь, возвращаешься иногда домой, да подумаешь: а у Ниночки женишки сидят и на нее глаза пялят, а она их очаровывает... Ой, Нина! как скучно! Какая кругом тебя духота, пыль, паутина...»

Нина не сердилась и не обижалась. Усмехнется и спросит: «Стихи носил читать? Опять «светлой Оле»?»

У Лоди всегда в кармане студенческого сюртука была пачечка его стихов, и он ходил читать их «милым девушкам», но при этом ухитрялся как-то натравить этих девушек друг на друга и устроить целый скандал. Я не знаю, что он для этого делал, до меня только иногда доходили слухи, что из-за него возникали ссоры, целые бури. И я замечала, что Лодя очень увлекался своим «успехом» и старался развивать его, хотя мне никогда ничего не рассказывал о нем, и я заключила из этого, что он сам признавал, что гордиться ему в этом случае не приходится.

Оба брата были в том возрасте, когда естественна влюбленность, и, конечно, оба были влюблены. Но до чего по-разному! Лева относился к своему увлечению серьезно, а к предмету его внимательно, несколько ревниво, требовательно и никогда не терял, хотя бы отчасти, чувства собственного достоинства. Матерям трудно утверждать, что от них не скрывается именно эта сторона жизни их детей, и я нисколько не считаю себя исключением. Я только угадывала, что мало знала. Но не могла я не знать чего-то самого основного, того, что я могу назвать только душой своих детей. И у Левы она была ясная, неизменная и верная себе, как и у Ниночки.

Лодя потрудился покалечить себя, как только мог. И, конечно, сделал он это не потому, что ему так хотелось, а потому, что он и на себя смотрел, как на свою «болтушку», которой так приятно было волновать и пугать (...Я еще страшнее выдумаю!). Он сделал это потому, что не мог не сделать. Его душа ему самому была не ясна и не удовлетворяла его: ему не на что было опереться и приходилось эту опору создавать. Как могло случиться, что у него была такая обособленная душа? Но разве возможно проследить все нити наследственности, иногда идущие совсем не по прямой линии? (Не от отца и матери к детям, а, непонятно как, от более дальних родственников.) А еще труднее проследить влияние совсем посторонних лиц. В жаждущую душу влияния проникают глубоко и прочно. А у Лоди была именно жаждущая душа, которая только и укрепляла себя со стороны.

Вот и влюбленность у него была своеобразна. Если девушка ему нравилась, он сейчас же начинал усиленно заниматься... не ей, а самим собой. Создавались новые образы <...>, лились ливмя стихи, где-то бушевали девичьи недоразумения, обиды и нередко лились слезы, а влюбленный Лодя напрягал все силы, чтобы показать себя как-то сверхнеобычным, непонятным, ошеломляющим. Не утверждаю, но, по-моему, Лодя только так и чувствовал и переживал свою влюбленность. Только позже, гораздо позже она стала действительно чувством, которое не заставляло его ломаться, а само ломало в нем все напускное и даже заставляло страдать, что его сильно возмущало.

...Почему я больше прощаю Леве, чем Лоде? Но очень просто: Левин характер — это наследственная болезнь, старая, известная, понятная, хотя и неприятная. Леву я ужасно жалею за его характер, как жалела бы, если бы передала ему другой недуг по наследству. У него могло быть больше сил и желания с ним бороться, больше стремления сдерживаться, это несомненно. Но надо еще знать, не в этом ли заключается наследственность, что сила борьбы почти невозможна? Может быть, нельзя исправиться, а надо переродиться? Поэтому я больше огорчаюсь, чем сержусь и возмущаюсь, когда Лева «распускается». Мне это очень тяжело и больно. Но виновником этой моей боли не только Лева, но и Миша и, главное, отец Миши. И к отцу Миши у меня только недоброе чувство, потому что я не знала его и не любила и ничего не могла ему простить, а он-то отравил Мишу и Леву своим ужасным наследством.

У Лоди более мягкий, милый характер, вспыльчивый,

но отходчивый, ласковый, миролюбивый. И вдруг, прожив четыре года в Петербурге без меня, он вернулся едва узнаваемый. Необычайная заносчивость, требовательность, непримиримость... Откуда все это? Несомненно, благоприобретенное. Прежде всего, нечаянно, я начала натыкаться на все незнакомые острые углы его нового характера, ушибалась, удивлялась, но не боялась выражать свое недоумение и неудовольствие, потому что все еще помнила, что наши трения никогда не вредили нашим отношениям. Но когда я увидала, что я ошиблась и что дело серьезнее, чем я думала, то все-таки примириться мне было трудно. И сейчас ужасно трудно.<...>

Так разве не понятно, что я Леве больше прощаю (все прощаю), чем Лоде? Леве надо простить только крик, воркотню, плевки, поздравления и т. д. Словом, большой шум и неприятную «четверть часа» в переводе с французского. Все это внешнее. Что простить Лоде? Да мое прощение ему ни на что и не нужно. Ему нужно признание всех его новых достоинств. <...>

Думаю, стараюсь понять и не могу. И стало из одного Лоди — два: одного из них я люблю и признаю, а он его ненавидит и отрицает; другой мне нов, чужд, неприятен, а он с ним носится, им гордится, всучивает его мне на веру. Да не верю я этому новому образу! Мало ли что можно себе сочинить? Отчего Лева себе не сочиняет? Ведь он весь простота и естественность, правдивость. Он даже не умеет солгать. Ложь для него просто не нужна, как для некурящего табак. Он так мало притворяется, что иногда кажется недостаточно любезным и даже вежливым. У Лоди много фантазии при уме, и это заставляет его делать глупости. У Левы — ум ясный, гибкий, глубокий и отрешенный от фантазии. Лодя любит и умеет нравиться, применяется к людям с этой целью и поэтому всегда другой, т. е. разный в разной обстановке. Лева всегда и везде один, всегда одинаков и дальше всего от желания произвести впечатление. Лодя весь в украшениях, и, надо отдать ему справедливость, эти украшения ценны: у них настоящий блеск. Он остроумен, легко и хорошо говорит, обаятелен в обращении, когда хочет — разнообразен, а главное, он поэт, и это в нем глубоко[4]. У Левы все его сокровища под замком, убраны, спрятаны от постороннего взгляда. А разве мало этих сокровищ? Стоит его узнать, чтобы любить и уважать и ценить очень высоко. Вот мои два сына. Я люблю их с одной и той же силой, но Лодя мой сын только, а Лева старше меня, авторитетнее меня, у меня к нему

именно много уважения. Ведь он не прав только, когда не в духе, бурчит, сердится. Он еще очень строг, в нем много отцовского, в Лоде много моего.

Если бы мне раньше сказали, что у меня будут такие сыновья, я бы не поверила. Я не ошибаюсь: это настоящие, умные, ценные люди, каких мало. И они мои. И они любят меня. Разве это не большое-большое счастье?

[ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ]

Я отлично помню последний день моей счастливой беззаботной жизни. Андрея Сергеича Мосолова свидетельствовали в Епифани, нашли негодным и освободили от военной службы. Мы все радовались за него, и я помню, как я от радости поцеловала его и тут же решила, что надо это событие отметить и пригласила его с женой и Протасовых на блины. И весело же мы готовились к этим блинам! Накрыли на Селезневском балконе, на солнышке. Чуть ли это было не 7-ое августа [1916 года]. Андрей Сергеич прибежал гораздо раньше назначенного часа. Я сидела в кабинете, он подошел к открытому окну: «Поздравляю Вас! Дарданеллы взяты!» — «Не может быть!» — «Нет, это уже верно. Я нарочно прибежал сказать. Я был на станции и пассажиры из Москвы рассказывают и даже показывают газеты...» — «Если правда,— сказала я,— тогда Миша наверное пришлет мне телеграмму. Непременно телеграфирует! Вот мы кстати пируем!»

День был ясный, прохладный, осенний, но как я люблю такие дни! Нина была со мной и тоже радовалась и ждала телеграмму. Но мы уже кончили и блины и обед и ушли на теннис, когда действительно принесли телеграмму. Все решили, что содержание заранее известно, и закричали: ура! Я радостно распечатала телеграмму, готовясь прочесть громко и торжественно, но... я читала и сама не понимала, должно быть потому, что не могла сразу перейти в другое настроение. Я не понимала: «Легкий плеврит, вышли немедленно Анюту...»[1]

Солнце село, гости ушли, Анюта прощалась с Клекотками, собираясь ехать. Я соображала, что мне необходимо сделать и успею ли это в сутки. Со свечой ходила из комнаты в комнату, и уже все стало чужое, остающееся, неуютное...

И это был последний день прежнего благополучия. И как странно: чествование Андрея Сергеича...

[ПОСЛЕ 1916 ГОДА]

Я вернулась из Петрограда со свадьбы Нины в конце марта 1917 года. Знакомые, которые встречали меня на улице, не узнавали меня. Я стала старая, худая. А я не узнавала Москвы и чувствовала себя в ней чужой, как тень прошлого, изгнанного или раздавленного.

...По вечерам меня часто тянуло в привычные места, туда, где мы гуляли вместе с Мишей, к нашей тихой Спиридоновке, к нашему особнячку с садиком, где Миша сажал деревца. Ведь я еще могла видеть огни нашей люстры в гостиной и лампы с орлом в столовой. Я могла видеть наши занавески, картины, слышать, как лает Тилька в саду или на дворе. Еще жили в этом доме родные мне души: Олюшка, Маша. Но я шла не для того, чтобы видеться с ними, чтобы использовать то, что еще осталось реального. Я шла за обманом, за мечтой. Так легко было воображать, что ничего, ровно ничего не случилось, что все по-старому: Миша жив и сидит дома, ждет меня. В столовой накрывают стол к чаю. Дети, может быть, на балконе или разбрелись по своим комнатам. Ничего не случилось и ничего не изменилось, потому что привычно горят наши лампы и освещают знакомые обои, отражаются огни в нашем зеркале... Как же может быть, что уже нет нашей жизни в нашем доме?

...Когда Ниночка оправилась от болезни, мы вместе уехали в Клекотки.

Едва мы успели приехать, как пришла большая толпа мужиков. Они стали во дворе и ждали, а я вышла к ним на крылечко, еще не зная, как и о чем мы будем говорить. Но только что я показалась, как все руки поднялись и все головы обнажились. Сама не зная зачем, я сбежала со ступенек и вошла в их толпу. «Матушка,— говорили мне,— матушка... И узнать-то тебя нельзя! Царство ему небесное... Любили мы его...» Очень ярко помню и никогда не забуду, как один большой белокурый мужик ласково говорил: «Спи у нас спокойно! Спи спокойно! Мы тебя убережем, мы в обиду не дадим... Спи спокойно!» И другие говорили что-то в этом роде: «Чтобы никаких гуляниев в саду! Не допустим! Замучалась! Отдохни! Мы тут... Мы все тут...»

Что-то таяло в груди, становилось тепло, но не радостно, а мучительно больно...

И точно в тихом непрерывном сне прошли два месяца. «Спи, спи спокойно!» Разъехались все мои, и я осталась одна. О, эти длинные, длинные осенние вечера в моем кабинетике,

со спущенными шторами, с горящей на письменном столе лампой, с бодрым, молодцеватым тиканьем стенных часов с розой над циферблатом в коридоре, за стеной. Были ночи тихие, точно мертвые, были ночи бурные, когда сад стонал и трещал, и в окна стучал ветер, а на дворе метались с лаем собаки. Но какая бы ни была ночь, я знала, что меня ждет всегда одно и то же, что это неминуемо: тихо и темно было во всем большом пустом доме, а я слышала пение, и пел Ниночкин милый, грустный голосок, и я не могла не слушать его. Я старалась читать или писать, но незаметно оставляла и книгу и тетрадь и слушала, слушала... И самое мучительное было то, что тогда припоминалось мне все, что пережила моя Ниночка, сколько выстрадала, сколько намучилась, и никого в жизни, никогда не жалела я такой щемящей жалостью, никогда в жизни, никого не любила я с таким отчаянием... Но, точно требуя справедливости и укоряя, появлялось исхудалое, строгое лицо Миши, мелькала словно обтаявшая фигура Левушки, открывались и исходили кровью все мои раны, а я сидела неподвижно и слушала и не могла не слушать.

Я «сбежала» из Клекоток в начале железнодорожной забастовки, когда пассажирские поезда уже переставали ходить, и попала в теплушку с солдатами, в поезд, который едва остановился у нашей станции, так как о нем по телеграфу известили, что в нем много пьяных и буйных и что солдаты громят буфеты. Меня подняли в вагон на руках, и я вползла в него на четвереньках. За мной побросали мой багаж, и мы сейчас же тронулись. Поздно было думать о том, что могло меня ожидать! Я сбежала, потому что не могла больше выносить Ниночкиного пения и моих мыслей и моей жалости.

Вот когда я поняла, что сердце может иногда ощущаться как маленький ледяной комочек!

Когда я решилась оглянуться, я увидела, что солдаты спокойно сидели и лежали. Некоторые пили чай, другие курили и переговаривались тихими голосами. Ни пьяных, ни буйных. Простые серьезные спокойные лица, и в тех взглядах, которые я поймала на себе,— равнодушное любопытство или покровительственная улыбка. Ни тени недоброжелательства. Я робко предложила папирос. Приняли с благодарностью, и тогда завязался разговор. Я уже не боялась усесться поудобнее, оглянуться повнимательнее, заручиться обещаниями, что на станции, где мне предстояла пересадка, мне помогут вынести мой багаж. Но на следующей же остановке к нашему вагону подбежала толпа чем-то очень возбужденных, громко кричащих солдат, и уже они полезли

к нам, подстрекая друг друга... Но мои спутники быстро задвинули дверь теплушки и, ободряя меня, говорили: «Ничего! Небось!.. Ишь, сволочи!» Поезд неожиданно двинулся, потом опять остановился... На платформе ругались, кричали, бегали... Потом стало тихо, и поезд пошел.

И когда мы подошли к той станции, где мне надо было выходить, меня вынесли на руках осторожно и бережно. Так же бережно выгрузили и сложили на платформу мои вещи и ласково пожелали мне доброго пути. Никто из этих солдат наверное, никогда не вспоминает о седой женщине в трауре, которую они оберегали и приласкали, и я уже не помню ни одного лица, но какую богатую милостыню подали они моей душе! Сколько веры вернули!

Тихо, мирно, почти счастливо жилось мне в моих милых комнатках в маленьком городишке на берегу маленькой реки[1]. Я мечтала прожить там всю зиму и только съездить погостить к детям в Москву. Нина и Левушка приезжали ко мне, мы с ними гуляли, говорили без конца, и тогда я не могла желать более полного счастья. Но обстоятельства изменились: за мной приехали Левушка и Ниночка и увезли меня в Москву. Как сейчас помню, как тонко и пронзительно свистел ветер в форточку моего окна, заклеенного бумагой. Мы с Ниной лежали и ждали, когда нам придут сказать, что пора ехать на вокзал. Поезда ходили с большим опозданием, и со станции обещали дать знать по телефону, когда поезд будет уже достаточно близко. Извозчики были наняты заранее. Ночь была очень светлая, но лунный свет был не яркий, а какой-то молочный, ровный, как в белую ночь. Ветер рвал и метал, и, когда мы вышли на крыльцо, мы сейчас же схватились за шляпы, согнулись, зажмурились... Не было снегу, но не было и грязи: подморозило, подсушило. И на земле, и на небе и в воздухе была какая-то муть. На мосту ветер был так силен, что мне казалось, что нашу пролетку может опрокинуть и что лошадь падает в ту сторону, куда отлетал ее хвост. В белой мути река неприветливо чернелась.

На вокзале мы узнали, что тот поезд, с которым мы собирались ехать, идет переполненный мешочниками и что их будут ссаживать. С этими мешочниками уже много боролись последнее время, но они не уменьшались, а увеличивались в числе. Мешки выбрасывали из вагонов прямо на платформы, реквизировали, мешочники протестовали, отбивались силой. Часто им удавалось подхватить свои мешки и втащить их в тот вагон, который уже был очищен и куда милиция уже не должна была вернуться. Происходило настоящее сраже-

ние с невообразимой суетой, с криками, бранью и даже иногда выстрелами. Сесть в такой поезд было совершенно невозможно, и мы с Ниночкой даже ушли в контору, чтобы не присутствовать при такой сцене. Но и в контору вбежал какой-то человек, спасаясь от ареста. Лицо у него было и перепуганное и озлобленное. Он поднял руки и закричал: «Это что ж такое? Это что ж делают?» — повернулся и опять убежал. Потом послышались выстрелы. Когда поезд пошел, этот человек догнал его и влез на ходу. Убегая, он стрелял.

Мы сели в следующий поезд, когда уже было совсем светло. Здесь было, вероятно, не меньше мешочников, так как вагоны были буквально завалены мешками, и надо было лезть через целые горы мешков. И опять их выкидывали, опять кричали, отнимали, отбирали... С невероятным трудом, при помощи милиции, мы добрались до купе, где мне удалось втиснуться на диван, а Лева и Нина уселись на полу, на вещах. И вплоть до Москвы мы уже не трогались с места, почти не шевелились. В Москву приехали поздно вечером, и вдруг всем нам стало весело: здесь уже выпал снег и установился первый санный путь. Под молодым чистым снегом улицы казались такими уютными, веселыми. Люди и лошади — бодрыми, фонари — яркими. Мы покатили на санках.

И вот я опять в Москве...



ИЗ ДНЕВНИКОВ

1917 — 1922

31 янв. 1917 г.

Хлеба нам дают по 1/4 фунта в день на карточку. Если мои внуки будут удивляться, как мы остались живы и откуда мы брали столько денег, чтобы все-таки пропитаться, пусть извлекут себе из этого полезный урок: прежде всего никогда, ни при каких условиях не отчаиваться и поэтому ничего особенно мучительно не бояться. Но, может быть, мы еще умрем с голоду, но тогда и внуков не будет.

...1917 г.

<...> Алеша пишет, что Стахович читал «Образ человеческий», что книга ему очень понравилась, что он поклонник моего таланта. Как все это странно! Я когда-то написала книгу! У меня был талант...

Талант — это намек и представление. У меня был очень слабый намек и едва-едва намеченное представление. Теперь и это исчезло. Я уже не могла бы написать самого маленького рассказа. А я рада и горда, что Стаховичу понравилась моя книга. Это мне доставило большое удовольствие. Будто я все же сказала в своей жизни слово звучным голосом, о котором я сейчас так мечтаю. Да, я продолжаю мечтать! И какая же я хотя бы бывшая писательница, если я словами не могу объяснить и рассказать своей мечты! До чего нам нужно умение выразить наши чувства и наши мысли! Почему это привилегия избранных? Разве мне такой, какая я есть, не надо вылить своей нежности, своей тоски, своей радости, восхищения, возмущения? И для этого... я ищу слова, все одни и те же, одни и те же... «Я люблю тебя!» Ну, да, это моя мысль. Но разве это все? Разве я люблю так, как любит Эля, Нина, Люба и т. д.? Ведь только это и есть мое, личное, неотъемлемое, моя особенность, мое творчество, мое царство, моя

вселенная... И знает кто-нибудь, что такое моя любовь и почему она так зовется? Моя любовь... Она рисует мне русские поля, русские тихие, безлюдные реки, она поет мне русские песни вроде Лучинушки и говорит мне русским простым говором знакомые мне ласковые слова... Она заставляет меня сознать до глубины души, что если бы не было России, то не было бы и меня, потому что я вся русская, вся! Потому что я не могу быть не русской, как не могла бы вдруг стать не женщиной, а мужчиной. И могу ли я сказать этой родной, несчастной, многострадальной до святости, любимой до ненависти, удивительной и непонятной России: «Я люблю тебя!» <...>

...1917 г.

В 53 года я не чувствую себя старой. Мне все кажется, что я «поправлюсь», окрепну и тогда «смогу опять жить». Но в какой же жизни? И как мне оправиться и окрепнуть? Надо бы освоиться с мыслью, что всему уже конец, а с этим не осваиваются. Мелькнет это сознание и пропадет. <...> Мне бы надо было какую-нибудь работу, обязанность. Какой-нибудь смысл, оправдывающий мое существование. Ленива я или слаба? Я уверена, что лень у меня сильнее слабости. И нет привычки трудиться.

Ах, если бы я могла писать! Уеду в Михайлов и начну писать, попробую, поупражняюсь... А если вернется моя способность? Какое счастье!

Но надеяться на это трудно. Я думала, что в этих тетрадях, которые я сейчас исписываю, я могла бы расписаться. Но я добросовестно искренна. Самое легкое вдохновение уже не допускает искренности, потому что она ничто перед вдохновением, всегда новым, всегда неожиданным, дающим то, чего в себе не знаешь, но носишь — не зная. Это рождение, а не анализ. Разве можно заранее хорошо знать то, что родится. Если оно и похоже на ложь, то это ложь живая и вернее мертвой правды.

Вдохновение. За одну строку, продиктованную им, я бы с радостью отдала всю свою тепленькую правдивость и знала бы, что сказала то, что может загореться и в другой душе, а не добросовестно согреться и сгнить в моей собственной. Когда человек бездарен, он может быть черезвычайно последователен, логичен и прав, прав до бесконечности. Но и правота его, и логика, и последовательность, все бездарно, как он, недолговечно и может быть сметено одним взмахом вдохновенного крыла.

Меня бы понял Лодя.

...1917 г.

Холодно. Нездоровится. Поздно вечером, когда я легла в постель и потушила электричество, я вообразила себе, что Миша сел ко мне на кровать. Так ярко вообразила, что даже ноги отодвинула, чтобы дать ему место. Одной рукой он придерживал на груди полу халата. Мне было хорошо, покойно, и я не искала, что сказать ему, о чем думать при нем. Что же? Вся я тут.

Я думала, что мое воображение живо придумает его ответ, даст неожиданные слова, как дало неожиданный, яркий образ. Но Миша закашлялся. Потом стал ходить по комнате и все кашлял. Что он сердится, но сердится не на меня, это мне было ясно. Я все ждала, что его рука ляжет на мое плечо. Но он опять сел.

Мое воображение делало не то, что я себе воображала. И как мне больно было, что он все кашлял!

<...> Мне пришло в голову, что, если бы мои записки, хотя бы после моей смерти, попали бы в руки детей, они могли бы вообразить, что я страдала галлюцинациями. Нет! Надо это объяснить. В галлюцинациях, насколько я понимаю, играют роль внешние чувства: зрение, слух. У меня — одно воображение. Я ничего не вижу, чего не видели бы другие, и ничего не слышу, что не могли бы слышать другие. Но я себе очень хорошо воображаю и, мне кажется, воображаю лучше многих других. Все мои встречи с Мишей и его приходы — все воображение, но я довожу его до такой выпуклости и отчетливости, что моя воля над моим воображением уже бессильна. Например: я хочу, чтобы Миша вошел ко мне. Но у меня, вероятно, сегодня на это не хватает воображения, а хватает на то, что он ходит по коридору. Я хочу, скажем, чтобы он положил руки в карманы, а он вдруг достает из жилетного кармана перышко-зубочистку. Эта «самостоятельность» меня удивляет. Ведь это я воображаю! Я руковожу! Оказывается, нет, не я. А какая-то, вероятно, сумма моих впечатлений, воспоминания. Какая-то скрытая зрительная память. Там, где она очень сильна, эта память, там получается полная иллюзия жизни. Где она чуть ослабевает — я уже не могу вообразить, что я хочу, и должна уступить вызванному мною образу, который сам воспроизводит то, что сам найдет в моей памяти достаточно яркого.

Но иногда мое воображение будто нарочно мучит меня своей самостоятельностью, и тогда я не могу объяснить это памятью, а объясняю это расстройством нерв. Но это очень

неприятно. Несколько раз подряд Миша оскалился. Я не могу забыть этого ужаса! Я боюсь о нем вспоминать. Моя память не могла вызвать этого совершенно нечеловеческого движения, полного ужасной злобы. Это поразило меня ужасно. И я сейчас боюсь воображать. Очень боюсь!

...1917 г.

Эля спросила меня, не думаю ли я, что надо «ломать характер детей». Этот вопрос меня сильно взволновал и даже возмутил. Почему? Она прибавила: «Я говорю со своей профессиональной точки зрения». Профессиональность! Почему я не выношу профессиональности воспитания? Умом или... невежеством? Душой или ошибкой? Сейчас, наедине, я могла бы ответить спокойно и совершенно искренно. Я не «умела» воспитывать детей. Если я их воспитала, то без плана, без подготовки, без системы. Значит ли это, что я их не воспитывала? Вероятно, это так. Жалею ли я об этом? Нет! Почему? Ну, скажем, по невежеству. Но я и не жалею, что я их родила, а не вывела искусственно, если б это можно было, и что они мои плоть и кровь, а не плод науки. И не жалею, что я, если воспитывала, то только своею любовью, только всей своей душой, а не системой. Я ничего не ломала! Но вот что меня возмущает больше всего, это то, что профессиональные воспитатели смеют что-то ломать. Кто они, что смеют? Что они знают о душе ребенка, что смеют? Они хотят «подравнять». А что они ломают? Знают они? Скажем, дурной характер. Да что же, он растет отдельно, ни с чем не связанный, ни с чем не слитый? А если за этот характер спряталось такое сокровище, которое они и не видят своими профессиональными глазами, и они сломают гордость ребенка, чувствительность, впечатлительность? Если они, если не убьют, то изуродуют душу? Это им все равно?

Я согласна, что я невежда, но надо знать так много, так много, так ужасно много, чтобы «ломать», что я не верю, что это кто-нибудь знает, а чувствую в смелости других невежество, но больше вредное, чем мое. Главное, больше самонадеянность, и вот что меня возмущает. Нет, я не раскаиваюсь, что я не воспитала, не ломала, не умничала, не смяла. Если я принесла вред, то любя, и мне это скорей простится, чем если бы я принесла вред поучая, при профессиональной точке зрения. Нет, я не раскаиваюсь, я рада. Я уважала детскую душу, как ни странно это выражение. И повторяю в сотый раз: я не верю в воспитание души, а верю в пример, в любовь, в отношения, в семью.

И кто воспитывает? Кто? Как они имеют право? Все эти воспитательницы?

Вчера на бульваре крошечная девочка, накапризничавшись, потянулась к матери с лаской и, как только та поцеловала ее, она перестала плакать. Но отец вдруг свернул с дорожки, сорвал хлыст и направился с ним к ребенку. Та испугалась, спряталась за мать, уцепилась за нее лапками, но отец изловчился и ударил ее. Какой крик! И это после мокрого от слез поцелуя; после примирения.

Как я его ненавидела! А такой может и будет воспитывать, исправлять и ломать. Тупое животное, как же быть? Нельзя же совсем не воспитывать детей? Ну да, нельзя. А их, кажется, никто и не воспитывает, а одних балуют, а других бьют, а третьих оставляют расти как щенят, на волю рока.

Нет, именно я хочу, чтобы их воспитывали, но придаю этому слову другое значение, и такое громадное, что для такого дела не вижу людей, а в особенности профессионалов. Духовный уход, чуткий и нежный. Его нет, так пусть не будет и грубости, ломки, самонадеянной смелости, профессионального увлечения и рвения. А главное, битья. Не могу... Я не могу видеть, чтобы ударили ребенка!

Дети улицы, испорченные, порочные, может быть, подлежат системе. Пусть делают их выносимыми, что уже задача. Пусть сделают их хотя немного людьми. Это громадная заслуга. Но ведь не о них шла речь, а о детях семьи, о детях, пришедших в мир чистыми и ясными. И в них есть корни старого поколения, и в них есть зачатки, мутящие эту чистоту и ясность. И вот в них-то, без вины виноватых, метят стрелы профессиональной мудрости. Но они... (неразборчиво) и кому лучше знать, воспитателю или матери, все тайны происхождения их индивидуальности? Воспитатели возьмутся за вас с одинаковой самонадеянностью. Мать — никогда.

Нет, я не хочу оправдать себя. Я не могла не из-за того, что было лень, было баловство, было неприятно. А оттого, что я не могла. И не раскаиваюсь, и слышать ничего не хочу, и меня возмущает. А что эти совершенства, которые они воспитали? Где они? А мои для меня прекрасны. И в жизни они прекрасны, и дай бог, чтобы таких было как можно больше, как мои. Характеры? Да, вот еще! Чтобы уж ни одного недостатка! А я знаю людей с прекрасной выдержкой и манерами, да они ни к черту не годятся. Может быть, у них ломали характер, да вместе с ним и все прекрасное? Пусть мне кто-нибудь докажет, что это не так.

...июля 1918 г.

Не тяжело у меня на душе, а такое чувство, от которого я ни сидеть, ни лежать не могу. Надо куда-то бежать. Гонит меня тревога.

...Могу ли я видеть лицо Нины в слезах? трясущиеся ее губы... Бледная, усталая. Ох, не могу! Страдающая кротость, солнышко мое ненаглядное! Нашла на туалете пучочек ее волос белокуреньких, мягоньких и точно частичку ее самой нашла и спрятала. Ведь и душа у нее такая же золотая, мягкая, милая. Милая! Милая моя! ...Как часто она говорила последнее время, что ей «хочется жить». Почему она это говорила?[1] <...> Все-таки самое острое чувство — жалость. От жалости можно сойти с ума, а с горя можно зачахнуть. Жалость бьет, щемит, причиняет невыносимую боль, а личное горе точит себе да точит, как капля камень...

Нина! Придет она ко мне в комнату и сядет. Всегда у нее какая-нибудь работа. Наклонит она над ней свою белокурую головку с вьющимися кудряшками, с золотистым сиянием и шьет, мелькает белой, нежной рукой. О чем мы с ней не потолкуем! Слов много не надо: мы понимаем друг друга с одного намека. И глаза ее милые, правдивые и ясные... Радость моя! Сокровище мое бесценное! Дорогая моя! Где же ты?.. Брошусь на колени и всей тоской своей души молю, молю: господи! Защити их! Господи! Сохрани их! Есть какая-то надежда, что силой моей любви, моей тоски что-то преодолеется, что-то куда-то дойдет... Но тоска, как порыв ветра: налетит и затихнет. И вдруг странно мне станет, что валяюсь я на полу, что не веря — верю... Что, не умея молиться, молюсь, перечисляю имена одно за другим, все мне такие дорогие. «Моего» Михаила упокой! «Мою» Нину защити и помилуй... «Моих» Льва, Всеволода, Владимира, Елену, Алексея... И, стоя на коленях, я прислушиваюсь к себе, но и в квартире и в душе все пусто, тихо, темно. О, как холодно, темно и одиноко! Господи! Спаси нас и помилуй!

<...> В мои годы мамаша уже умерла. Я здорова и могла бы пожить, но зачем? Чтобы еще раз увидеть Нину? Но после смерти я буду еще ближе к ней. Я буду охранять ее и защищать, если бог позволит. Я буду частью ее и ее детей, если бог даст ей детей. Я утешу ее в ее горе за меня, тем более что это горе будет только несколькими годами раньше, чем это можно было ожидать. Чего же я боюсь? Все равно, я открою глаза в действительности, которую сознаю, и только оборву нить моего воображения, которую называла жизнью. Почему у меня не хватает смелости? Только Нина?

<...> Если бы только знать, верить, что Нине, Эле и Володе хорошо, тепло, сытно! Если бы только знать! О, как бы я благословила судьбу! Мне бы ведь только иметь о них весточку, и мне было бы достаточно для моего благополучия и даже счастья. Ни одного шагу не могу я сделать, чтобы не думать о них, и это я называю «запрещать себе думать». Ни одной минуты... А запрещаю я себе фантазии, догадки и, главное, расчувствоваться. Вчера мне издали одна молодая девушка напомнила Нину. Как это было больно! И писать о ней не хочу, не буду!

8(21) августа 1918 г.

...А я когда-то была писательницей. Это значит, что писала повести и рассказы, печатала почти все, что писала, и мое имя знали в редакции, и кое-где я убеждалась, что оно не совсем незнакомо и в публике. Я не была «известной», но я была «небезызвестной».

Это мое писательство очень отразилось на моей жизни, очень скрасило и обогатило ее. Но, странное дело, мне всегда казалось, что это **маленькое недоразумение** (подчеркнуто Л. А.), которое непременно скоро должно разъясниться. И оно разъяснилось. Вот, в этих записках, не ясно ли, что все разъяснилось? Что-то «могло быть» или, вернее, «казалось, что что-то могло быть»...

Но о чем мне жалеть? Это маленькое недоразумение дало моей жизни содержание, которого у нее иначе не было бы. У меня был маленький стаканчик, я выпила из своего маленького стаканчика, и я благодарю. У меня нет оскорбленного честолюбия, потому что у меня вообще нет честолюбия. Но у меня остались воспоминания, у меня остались друзья из того мира, в который я заглянула хотя бы по недоразумению. Из скромности ли я пишу сейчас об этом недоразумении? Кокетство после смерти, когда эти записки могут попасть в руки не только моих детей?[2] Но эти же записки тогда и опровергнут это объяснение. Я «была писательницей». Я умела написать рассказ так, что его приятно было прочесть, и я всегда знала, какой рассказ приятно будет прочесть, потому что этот рассказ казался мне случайностью, и я сама удивлялась, как это я его написала. Вот этих случайностей, как мне казалось, набралось все-таки достаточно, чтобы мое имя стало «небезызвестным». Но я же знала отлично, что сама я тут ни при чем! Мне как-то иногда «удавалось», но умения, знания, живого неиссякаемого источника я в себе никогда не чувствовала и поэтому старалась спрятаться за

своим рассказом, загородиться им как-нибудь так, чтобы меня-то не заметили. И опять это была не скромность, а сознание того, что «нет, вы не можете соответствовать!» Другая, вероятно, развила бы мою способность писать, выработала бы себе талант, приобрела бы все, что он мог бы ей дать. Я его зарыла в землю. Что-то и я все собиралась сделать, на что-то решалась, против чего-то протестовала, но ничего из этого не вышло. Нет, ничего не вышло![3] ...Не понимала я, что «приниматься» не надо было ни за что, а расширить свой ум можно было не принимаясь, а удовлетворяя свою любознательность постепенно, по мере возникавших вопросов. Но я махнула на себя рукой! <...> Как я потом часто об этом жалела! Как я сейчас об этом жалею! Сейчас, когда я стара и когда я больше, чем когда-либо требую от себя ответов, которых не могу дать. Я завела эти записки, в которых убожество моих умственных запасов оставляет мне такое крошечное поле действия. Писательница! Чтобы иметь право доверять своей мысли, надо суметь провести ее через мысль уже выраженную раньше, выраженную людьми авторитетными. Можно с ними не соглашаться, но надо считаться, надо знать (подчеркнуто Л. А.). И жизнь и мысль это всегда продолжение жизни и мысли. Оторванные от всего предшествующего и от всего будущего это пустоцвет, это полное ничтожество. <...> Вот насчет чувств — это дело другое. Чувство к моим услугам всегда. Но ведь это только для рассказов хорошо, а сейчас не до беллетристики.

...ноября 1918 г.

Очень я приспособилась писать в теплых перчатках, ничуть они мне не мешают.

Читаю Гоголя, и вот окончание «Мертвых душ»: «Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Почему он тогда это написал? Как пророчество.

<...> Сегодня много думала о Феде. Вчера, когда была у него, он показался мне очень изменившимся, стареньким, но очень напряженным, бодрым, полным своей живой веры. Мне хотелось сказать ему что-нибудь очень ласковое, и я ушла с грустью: сказать мне не удалось, как-то не вышло. И я унесла свое чувство с собой. Отчего вдруг бывает прилив любви к человеку, которого видишь часто? Сегодня Лева

возил на санках дрова. Я видела в окно, как он, нагнувшись от усилия, в полушубке и серой шапке, вытягивал санки из-под ворот, и любила его до боли. Ставя самовар, разогревая кашу и овощи, я была счастлива, что сейчас он придет завтракать со мной и я его накормлю, как дорогого гостя. Но самовар я поставила плохо, и Анюта была мною недовольна.

...ноября 1918 г.

Сегодня пошла навестить маленьких больных[4]. Лежат они обе в постелях, но Вавочка уже одета и рисует. Ей лучше. В своих длинных локонах, такая изящная и хорошенькая, она сама похожа на картинку.

Малюська еще совсем не поправилась. В русых вьющихся волосах у нее запутался красный бант. На ней вязаная кофточка, и от кругленькой мордочки и маленьких пухлых ручек все, что на ней, точно заражается ее детской уютностью и делается умилительным и трогательным. Эту вязаную красную кофточку уже нельзя себе представить без Татуськи, до того она уже передала ей всю пленительную аппетитность своей фигурки, своего маленького, плотного, нежного тельца. И одеяльце трогательное, и подушечка под головой. Не поправилась еще Татуся, и темные глазки были задумчивы и не веселы. Уж очень тиха, уж очень кротка! И такое кругленькое-кругленькое розовое теплое личико. Баночке меду обе обрадовались очень. Бедные! До чего им недостает сладкого, привычного и даже необходимого!

11 ноября (24-е) 1918 г.

Дивный день. Яркий, солнечный, тихий. С каким удовольствием я прошлась пешком к М. Н. и туда и обратно. Солнце, легкий мороз... Снег еще белый, чистый, слепит глаза. Какую радость дает природа даже в городе! Какую любовь, глубокую и странную, дает она человеку! И я чувствую, что чем я старше, тем больше я люблю жизнь и тем больше жизнь эта не во мне, а в окружающем, и живу я не собой, а окружающим. Точно я ухожу из своего тела, распространяюсь, растворяюсь. Что я? Я уже ничто. И я все больше задумываюсь над этим чувством и ищу в нем объяснение смерти. Может быть, в этой радости, близости, блаженстве, восторге и есть смерть? Из земли взятая в землю обращусь. И пойму, что мой восторг, который так часто охватывает меня и оставляет неподвижной, замеревшей от счастья,— это предчувствие смерти, когда я стану частью того, что я так, так люблю. И это единственная любовь, которая давала мне **только** (подчеркнуто Л. А.)

счастье, только чистую духовную радость. Если у меня есть душа, то она в этой любви и в этом восторге. Кто его испытал хоть один раз, тот не забудет его никогда. Ведь не о красоте природы я говорю, а о чем-то другом, необъяснимом: о каком-то слиянии с ней, красивой и некрасивой, о высоком блаженстве быть в ней, быть частью ее. Ах, все в ней хорошо! А самое прекрасное, это ее тайна, это то, что мы не можем в ней понять, но не можем не предчувствовать. Будь она благословенна, дающая жизнь и смерть! Будь она благословенна, соединяющая жизнь и смерть, не боящаяся смерти как не боящаяся и жизни, потому что нет для нее жизни и смерти как мы их понимаем, а есть вечное обновление: радостный труд и радостный покой.

Солнце! Через месяц я буду знать, что оно возвращается к нам. Солнце! Свет и тепло. Чудотворное солнце. Через месяц оно с каждым днем будет все ближе и ближе. Но и далекое и холодное, до чего оно радует, утешает.

И не умерли они никто, нет! Как-то, я не знаю как, но они в природе, они все трепещут от счастья новой жизни, и все они в лучах солнца, в творчестве жизни, в великой и непонятной душе природы. Они никто не умерли, мои любимые! И чем старше я становлюсь и чем ближе и моя смерть, тем сильнее я люблю то, что возьмет и меня, частью чего я стану и что не только не страшно, а так удивительно прекрасно, что один намек, одно смутное предчувствие дает восторг.

Умереть — отжить. Спокойно сбросить свою ненужную, износившуюся оболочку и изумленно понять, что жизнь была не более как уже забытый этап.

Так хочется думать об этом, и чтобы лучше думать — писать, но в комнате такой холод, что рука коченеет. Надо ложиться и согреться. Ну, делать нечего: мечтам конец!

12(25) ноября 1918 г.

Федя сказал: напиши что-нибудь в Единение[5]. Я все думаю об этом. Но разве я еще в состоянии что-нибудь написать? Это все равно, что заплести косу из сбившегося колтуна. Ни себя, ни жизни, ни людей я уже не знаю. Мыслям своим не верю, чувства мои сосредоточились в одну тоску и тревогу за Нину, в одно упрямство пережить разлуку с ней. «Напиши что-нибудь». Но написать, это знать. А что я теперь знаю? Только свою нищету, свое ничтожество, тот обман, который давали мне моя прошлая обеспеченность и сытость.

Так холодно, что я сижу в двух халатах, сверх двух вязаных фуфаек, в теплых туфлях на две пары чулок, в длин-

ных гетрах и митенках, но согреться не могу. Подержала руки в теплой воде, они отошли, но сейчас опять замерзают. Как же я буду штопать свои чулки? Я поминутно откладываю перо и засовываю руки в рукава Мишиного халата. А не хочется бросать писать. Но надо куда-нибудь идти, чтобы ходьбой согреться. Но скользко! боюсь. Мука ходить по гололедице, а сегодня тает. И куда идти? Сидеть над тетрадью — как спокойно и хорошо! И этого нельзя?

1 декабря 1918 г.

Мы сегодня с Алешей удивлялись, почему время так скоро идет. Летит! Ну, у него, у Алеши, жизнь более или менее интересная: он занят и занят своим искусством, творит, имеет успех, удовлетворен. Он вроде Феди! А я? Я делаю то, что меньше всего любила и больше всего избегала: я целый день думаю о том, как и чем кормиться, как что-нибудь сэкономить, спрятать, уберечь, найти, купить, выдумать... Все еда и еда! У меня нет тени удовлетворения. О личной жизни, о своей любимой работе, о развлечении — у меня нет и мысли. Я боюсь ближайшего будущего как самой реальной осязаемой опасности. Я разлучена с Ниной и даже не имею о ней вестей. А для меня время тоже бежит, как и для Алеши, и дни мелькают один за другим. Только что было воскресенье, а сегодня оно опять!

Вчера был очень уютный, приятный вечер. Сперва был Вася[6] и пил чай. В сущности, мы, конечно, все пили чай, и пили с ожесточением. Лева — потому что только что мылся и принял ванну. Лодя — потому что поздно вернулся со службы, устал и озяб; я — потому что холодно и глотать очень горячее прямо наслаждение; Вася — потому что, конечно, у него были свои причины, но он «гонит» чай, по выражению Левы, в любое время. Вот мы все «гоняли» чай и выпили два самовара досуха. Потом Лева и Вася ушли, и тут-то оказалось, что в кухне топится плита, потому что подошло тесто и надо месить и ставить хлеб. Мы с Лодей забились в теплую, теплую кухню, грели свои туфли, халаты, грелись сами и мешали Анюте. Хлебы пеклись, и в кухне удивительно вкусно пахло.

От одного запаху страшно захотелось есть, и Лодя стал подбираться к тому, чтобы я испекла картофельных блинов. От этого я отказалась, но Лодя опять стал пить чай и потом мы с ним съели по луковке с хлебом и солью, да Анюта еще сунула ему чего-то. Эта топящаяся плита оживила весь вечер и сделала его приятным и необычным. Хлеб удался.

...дек. 1918 г.

<...> Нас хотят выселить или уплотнить. У меня нет права иметь даже маленький собственный уголок. Ох, как я боюсь этого выселения! Как мне жалко, жалко лишаться своего угла! Как хочется устроить хоть как-нибудь, чтобы остаться[7].

<...> Ходила в кооперацию и надеялась что-нибудь купить. Дали 4 куска мыла и 6 фунтов соли. Есть тертый шпинат. Зачем он мне? Это не сытно. Больше ходила для того, чтобы согреться, отогреть ноги.

И вот передо мной целый вечер, длинный вечер одиночества, тишины и свободы... Я еще даже не знаю наверное, что меня выселят или уплотнят. Я еще ничего не знаю и могу чувствовать себя как хочу. Эти последние минуты «незнания» становятся мне дороги, а прежде они были или неприятностью, или тревогой, или даже горем. Экономия неприятных чувств.

12 дек. 1918 г.

Вчера был удачный день: привезли дрова $1^1/_2$ сажени. Леве дали ордер на 3 пуда ржи и пуд патоки и еще на валенки. Прямо день благодати. Но меня еще очень обрадовало, что я имела случай послать Нине телеграмму и записку. Может быть, дойдет и то и другое. За такие дни вся душа исполняется благодарности.

<...> Еще два дня, и вселяется Захарченко[8], совершенно чужой человек и, кажется, сухой, нелюдимый старый холостяк. И придется мне сидеть в своей комнате, где еще холоднее, чем здесь (чем в кухне, где плита.— *Н. А.*). Придется больше лежать, чем сидеть, если так и не будут топить.

<...> Три пуда ржи уже провалились. Если и дадут, то совсем немного. Лева принес мне бутылку сливок. Сливки не сливки, но молоко хорошее. И цена! 20 рублей! Милый Левушка! Заботится он обо мне.

<...> Завтра утром Анюта принесет кофе и газету. Почитаем. И завтра я еще буду дома, одна, в привычной обстановке, в тишине, с возможностью, если захочу, писать как сегодня... Еще целый день мой. И придет Левушка...

13 дек. 1918 г.

Мне хотелось обдумать, что существует и что не существует для человека. Таинственное и сверхъестественное. Для одних есть, а для других нет. Есть для тех, у кого развит орган восприятия, и нет, не существует и считается басней

10 Заказ 453

и ерундой для тех, у кого этого органа восприятия и общения нет. Мне кажется, что это так, наверное. Иногда для одного и того же человека невидимое есть или невидимого нет. Душа для этого открывается или закрывается. Я это знаю по себе. И я знаю, что когда душа открыта, то это очень не то что страшно, а утомительно. А когда закрыта, то глухо, и чувствуешь, что спряталась, что отдалилась из малодушия, и это стыдно. Спрятаться можно на года.

Таинственное и непонятное... Ему стоит открыть двери, чтобы оно вошло. И это не настроение, при котором «кажется», а это обостренность восприятия, которое «не препятствует».

Одно из моих самых ужасных воспоминаний, это то, что я играла в карты в ту ночь, когда Миша умер. Дверь моего восприятия была наглухо заперта. Я его смерти не почувствовала. Но какая тоска была у меня на другой и третий день! Ужасная! Но это все равно! Я могла бы, если бы была в эти дни другой, свободной от всякой дряни, чуткой и восприимчивой, я могла бы почувствовать и знать Мишину смерть, и он почувствовал бы, что я с ним. Этого-то и не было, и это для меня непоправимое горе. В минуту смерти Миша ушел с презрением ко мне, потому что он-то знал, как я далека от внешнего мира, и, может быть, огорчился этим. Смерть Л. Н. Толстого я ждала и почувствовала. Никто этому не поверит, и мне это все равно. Я-то знаю и уверена. Я знаю, что я в эти мрачные дни была именно в восприимчивом настроении, жила с открытыми дверями. Это были для меня великие дни. Я хотела и ждала, что почувствую его смерть. И вдруг ночью я проснулась от большого волнения. Лев Николаевич мелькнул передо мной, поклонился и исчез. **Поклонился** (подчеркнуто Л. А.). Я зажгла электричество, посмотрела, который час. Это было, как потом оказалось, час и минута его смерти. Но я тогда об этом не подумала. Но было это наверное. И значит, может быть и должно быть, и у человека есть способности, которых он или не знает, или не хочет, или боится, или считает до такой степени невозможными, излишними и, по-бабьи, сказочными, что у него в таком случае **их и нет** (подчеркнуто Л. А.). При страхе эти способности уже есть, но им препятствуют, не дают развиться. Я иногда боюсь, а иногда не боюсь. Но, главное, я малодушна и дорожу самой мелочной жизнью, погрязшей в самое земное, спокойное, понятное и не тревожащее. Периоды, когда я «открываю дверь», утомляют душу, и тогда я почти всегда думаю о смерти и чувствую себя как-то между двумя мирами

и до такой степени духовно обнаженной перед «непонятным» миром, что это заставляет меня следить за всякой своей мыслью от стыда, что она не скрыта. Скрыть можно только в этой жизни от людей. От напряжения утомляюсь и вдруг захлопываю свою дверь, живу взаперти, даже стараюсь убедить себя, что «остальное» я все выдумала. Но и это только от стыда.

Ходила сегодня за кислой капустой и обдумывала, и решила наскоро, что не может быть сомнений: все существует самым реальным образом, чему дано существовать душой человека. В жизнь нашу многое можно пустить жить. Мы не даем этой возможности и, отрицая, уничтожаем таинственное и непонятное. Но едва перестаем отрицать, как уже оно существует. Вот это я приберегла обдумать и развить, но не удалось, я, пожалуй, и рада. Так это сейчас обвевает, пронизывает... На улице, днем, думается просто и спокойно, а сейчас, здесь, в тишине... Я не отрицаю, я могу воспринять, но я боюсь... И вот бросаю писать и иду к себе. Неприятно. Жутко[9].

14 декабря 1918 г.

<...> Плохо написала я вчера. Мысль надо записать так, чтобы она была как обожженный фитиль: тогда ее легко можно было бы, когда нужно, зажечь вновь. У меня перевесило чувство, а главное, болезненное чувство, нервное. Это сводит всю мою мысль даже не к мистике, а к какой-то ненормальности. Если бы я сказала своим, что я думаю так, как я записала, то мне, конечно, ответили бы, что у меня расстроены нервы. Я же знаю, что это не то. Мостик от чисто материального существования к другому непонятному миру наводится и принимается не в связи с состоянием нервной системы, а по желанию, по вере, по состоянию души.

И все так просто: этот непонятный мир сейчас же существует, когда душа хочет его, и сейчас же перестает существовать, когда душа закрывается для него. Это все равно, что лунный свет за окном с задернутой или не задернутой занавеской. Нет, сравнение нехорошо...

15 декабря 1918 г.

Запишу про Анюту. Ах, удивительная, золотая душа! Как много она облегчила мне мою жизнь! Какой друг и товарищ в горе! Но если бы кто-нибудь слышал наши разговоры, вот бы посмеялся! Ведь Анюта замечательна тем, что она всегда со всем согласна, и согласна очень убежденно. Это

естественно, потому что своего мнения у нее нет, она принимает на веру чужое, а мое для нее авторитетно. Что хуже, это то, что авторитетно для нее даже мое здоровье. У нее непременно болит то же, что у меня, и совершенно так же, как у меня. Проходит, когда у меня проходит. Так что мы всегда бываем больны вместе, что для меня очень неудобно. Вообще, это мое зеркало, и надо сказать, что я смеюсь над своим отражением прямо до слез. И все-таки люблю с Анютой потолковать. Я слушаю обрывки того, что я говорила вчера, третьего дня, неделю тому назад и думаю: неужели я это говорила? Мои собственные слова ошеломляют меня своей недопустимой уверенностью и своей бесспорной глупостью. Я гляжусь в свое зеркало и хохочу...

Как коротка была Анютина жизнь! ведь она же не молодая, скоро начнет стариться. И вся она прошла у нас на глазах, эта скудная, маленькая жизнь. Пятнадцать лет ей было, когда она поступила к нам. Какие у нее были радости, горести, нужды, заботы, обиды и удовлетворения? Все было, и ничего не было. Так все было мелко, слабо. Романы. Но какие-то без душевных потрясений. Радости. Самая ее большая радость — это жизнь в Клекотках. Так и вижу ее фигуру с букетом в руках, какую-то торжественную походку среди природы. Цветы — ее страсть. И лучшее ее время — это время, когда она жила в Клекотках и еще в Новом Петергофе. Забота у нее была об отце, которому она помогала и к которому ездила изредка. А любви было много: и к своим родным и ко всем нам. Болезнь и смерть Миши были для нее болезнью и смертью очень близкого человека. Ее горе было большое и искреннее, и она и теперь молится за Мишу и любит бывать на его могиле. Я думаю, что она любит всех нас и что у нее уже нет людей ближе. Духовную ее потребность удовлетворяет православие и его обрядности. Все у нее в порядке, вся она слеплена из важнейших составных частей человека, во всем у нее равновесие, а когда она будет старенькая, она будет чистенькой святой старушкой, отмолившей свои грехи, спокойной и ясной.

...И как же нужна она мне сейчас! Какое счастье, что она со мной! Как сблизило и сдружило нас это трудное время, все наши беды, горести, лишения! Простая, несложная, но хорошая, добрая душа![10]

27 декабря 1918 г.

По докладу нар. ком. труда т. Шмидта об установлении десяти праздничных дней отдыха, кроме воскресных дней

и дней, посвященных воспоминаниям об исторических событиях, Моск. совет проф. союзов постановил считать за праздники: рождество два дня, пасху два дня, духов день, благовещение, преображение, вознесение, успение и крещение. Установлены десять праздников по старому стилю. Накануне рождества и пасхи занятия кончаются в 12 ч.

<...> Как хорошо, что я стала писать свои воспоминания! У меня есть определенная мысль. Я не бережу свои раны, отвлекаясь. Я и не подозревала, какое у меня было удивительно праздничное, даже блестящее прошлое...

1/1 1919 г.

Федя показал мне свои рукописи, приготовленные для издания. Будет большая книга из отдельных статей, уже раньше напечатанных, добавления к ним и отдельные мысли и изречения. Много клочков бессвязных. Он пишет дневник и из этого дневника черпает часть материала. Конечно, я могла получить очень поверхностное впечатление, может быть неверное. Он мне кое-что прочел. Не могу я примириться с его сравнениями, а он ими сыплет как из мешка. Сравнения должны быть не только ясные по мысли, верные, но и не выдуманные. А он выдумывает именно то, с чем сравнивает. Выходит ужасно. Хотя бы такой пример: пишет он об отношении к смерти близкого человека и сравнивает духовную сторону этого умершего с каким-то очень дорогим, ценным предметом, едва видным из-под мутного стеклянного колпака. Колпак — это тело. Вдруг — мутный колпак разбит, человек умер. Сосредоточит ли человек свою нежность на осколках мутного колпака?

До чего все выдумано, притянуто за волосы! Какая вещь? Зачем колпак? Да еще с мутным, пыльным стеклом? Это не сравнение. Я не знаю, что это.

Он пишет дневники, чтобы поучать людей, и мысли у него назидательные, и думает он, о чем ему надо думать. У него русло мысли заранее определено. И он верит, что каждая его мысль верна, ценна, полезна. Иначе он не стал бы над ней думать.

Мне кажется, это очень скучно, такое мышление. У него все оторвано от жизни ради мысли, и нет ни одного слова сгоряча, «не по программе».

4 января 1919 г.

У меня сегодня легкомысленные мысли. Я ходила перед обедом к Келлеру за кристалл-вассером, идти было хорошо

среди улицы, и можно было думать, о чем угодно. Мне было угодно думать о том, что ни один мужчина не переживает двух совершенно разных жизней, как женщина. Он об этих двух жизнях и понятия не имеет. Одна жизнь — это когда женщина молода, красива и может нравиться. А другая — когда она состарится, подурнеет и проходит незаметно, то есть живет себе не привлекая внимания, не пользуясь никакими привилегиями. Разница выходит громадная! Конечно, переход постепенный, не очень резкий, но когда старость наступает быстро, он все-таки черезвычайно заметен. Почему это на улице никто на вас не оборачивается? ослепли все, что ли? или так рассеяны? Отчего вдруг все стали так нелюбезны? ни места не уступят, ни оброненного не поднимут? Что такое? Почему? Где интерес в обществе к вашим словам? где ласковый блеск в глазах? где эта особая искательность в манерах, к которой уже образовалась привычка? Люди были одни, а стали другими? Они окружали, а теперь проходят мимо. До чего же меняется жизнь от этих мелочей! И как должно быть тяжело стареющим глупым красавицам, тяжело и обидно, непонятно и досадно. Значит, люди-то не те, кем казались? Значит, жизнь обманула? Горечи-то! Разочарования! недоумения! Ведь себя не видишь, не знаешь, не замечаешь в себе перемены! Замечаешь только отношение окружающих, и когда эти окружающие рассеяны, равнодушны, ничуть не обязательны и не любезны, то ведь они невежи! Как они смеют? О, горькая оборотная сторона красоты! Когда глупость уже называется откровенно глупостью, всякая претензия смешна, а кокетство — унизительно и жалко! А борьба бесполезна, и все средства бессильны. Живи себе как знаешь и поднимай сама оброненные платки! Упадешь, поскользнувшись, вставай без помощи. Не рассчитывай ни на что, кроме своих сил. Понимаешь теперь, что такое жизнь и люди? Не позавидуешь старой глупой красавице! Конец-то среди жизни!

А я скажу, что в этой перемене много хорошего. И красота длится достаточно долго, чтобы расстаться с ней без сожаления, потому что за это время она уже естественно становится ненужной. И к отношению людей предъявляются другие требования. Это неправда, что платка не поднимут: не поднимет какой-нибудь «кавалер», но почему-то сделает это девушка, старичок, воспитанный молодой человек. И внимание будет, но внимание стоящее, такое, какое можно ценить. Я сказала бы, что свободнее, легче и проще с людьми в старости, и яснее видят их старческие глаза. «Кавалеры»

проходят мимо. Но разве они не надоедят за два-три десятка лет?

Нет, жизнь хороша и в старости, и надо стариться охотно, без боязни, без борьбы. Старятся все вместе, кто вместе был молод. И какое это успокоение, ясность, и простота! Точно приехал домой и надел капот и туфли. Я некрасива? Ах, скажите пожалуйста! А вы меня не обойдете и не надуете. И мне великолепно! Я дома, я отдыхаю, и мне ничуть не скучно. Разве я хотела бы поклонников? Всему свое время! Пусть время и делает свое дело. Оно мудрое, и только не надо мешать ему, не надо бессильно бороться, потому что в этом-то и есть горечь и обида. Переживши лето, обрадуешься и осени.

14/1 1919

Новый год по ст. стилю встречали у Астаховых. И мне было гораздо приятнее, свободнее, чем я думала. Осталась ночевать, и в первый раз за долгое время разделась и спала, как спят культурные люди. За ужином был кулеш с мясными консервами, салат, пирог с кониной из белой, но почему-то совсем темной муки; ростбиф из конины и кофе. Все казалось необычайно вкусно и всего было съедено необычайно много. Выпили бутылку какого-то белого вина, тоже очень хорошего. Вообще встречей я была неожиданно довольна. А вернувшись, застала дома повестку на хлеб из Михайлова и сейчас же получила его.

27/1 (14 января ст. ст.) 1919 г.

Сегодня именины моей Нинуси. Случайно у нас сегодня гости к обеду и обед: кулеш, индейка и горошек зеленый. В голод-то! Кулеш с мясными консервами и салом, и я попробую сделать вместо пирожков оладьи из черной муки. Было бы сытно! Гости: Вася и Н. Л. Живаго и Варя[11]. Боюсь незваных гостей, а то всего не хватит и будет самое глупое: голодный обед. Индейка из Михайлова, подарок от Алеши. Пшено — Лодино. Приятно покормить! и самой поесть.

31 янв. 1919

Что делается на улицах! На Никитской, в особенности на Никитской площади, на Воздвиженке, на Арбате... Это не улицы, а что-то невероятное! Канавы, рвы, горы... Как ухитряются ездить извозчики? Я видела, как они соскакивают, поддерживают сани сбоку. Должно быть, много несчастных случаев? ...Недели идут быстро, а время тянется, тянется... Лишь бы пережить сильные морозы. Все-таки будет облег-

чение. Пью чай до сердцебиения. Иначе жить невозможно. И мое счастье, что я могу сейчас не голодать.

Сегодня завтракала в своей комнате на солнце, сидя на кровати. Анюта принесла самовар, расположила все на моем письменном столике. Было очень уютно. А в столовой окна промерзли сплошь, и было так мрачно, холодно, что сидеть там невозможно. А солнышко уже греет: я положила термометр, и стало 7°. Сейчас опять 3°.

2 февраля 1919 г.

Как часто я стала замечать в последнее время, что счастливые женские жизни кончаются мучительно и драматично. Сломается что-то в такой жизни, и дальше идет все хуже и хуже. А я? Могу я себя причислить к этим счастливым? По совести сказать: я не знаю! Жизнь моя была очень счастливой? Не хочу задаваться таким вопросом. Счастье не только от окружающих зависит, не только от условий и обстоятельств. Больше всего от себя. Но у меня было громадное счастье, что мужем моим был Миша, что дети мои — мои три. Лучшего я себе ничего, ничего представить не могла.

3 февр. 1919 г.

Теперь я поняла, что самые непонятные для меня раньше чувства не только стали мне понятны, но стали мне присущи. Я поняла, что не только «здоровый дух в здоровом теле», но что тело это и есть дух. Его власть безгранична. Его влияние — неотвратимо, непобедимо. Нельзя ничего осуждать, и можно все понять и поправить в жизни. Духовный рост человечества в тесной связи с его физическим благом. Чтобы человек был хорош, надо, чтобы ему было хорошо, чтобы он был удовлетворен физически. Мысль совершенно не новая, но, если бы ее никогда никто не высказывал, я бы теперь открыла ее...

10/2 1919

И вот, хочется быть бодрой и веселой. Так надоело мне угнетение, подавленность духа и добровольное заключение в моей тесной комнате среди мокрых стен с температурой 2—3°! Так надоело. Жить этой нищенской жизнью! Сколько месяцев я сплю одетая, под тяжестью одеял и шубы, которые я с трудом натягиваю на себя, так это тяжело, утомительно. Как утомительно, что все, что я беру в руки,— мерзло, сыро, невыносимо! За каждым пустяком, который мне необходим, надо куда-то лезть, что-то разгораживать, отмораживая себе

руки. Как ужасно утомительно, что скатерть на моем столе мокрая, спички отсырели, папиросы отсырели, сахар отмокает, сахарин разбухает, хлеб плесневеет, с окна течет под кровать, подушки ледяные, конверты сами собой запечатываются, перья ржавеют, даже книги портятся.

12 февраля 1919

Вчера выдался необыкновенно счастливый день. Ведь не может быть, чтобы мои горячие молитвы дошли до бога. Ведь это невероятно уже из-за того, что меня-то он не должен бы был слушать.

Только что я вчера кончила писать и собиралась уйти, как приехал Лодя. Сколько времени я о нем ничего не знала! Приехал, нагруженный провиантом. Чего-чего он не привез! И следом за его приездом... телеграмма от Эли из Хреновóго: «Получила известие, здорова, благополучно». Значит, известно, где Нинуся, и известно, что она жива, здорова, благополучна. Сегодня утром вернулся Лева. Я могу верить, что мои три все целы. Я могу успокоиться... Я непростительно счастлива, счастливее меня быть нельзя...

февр. 1919

С. Д. Селезнев[12] вел дневник, который мы, тогда еще зеленая молодежь, с хохотом читали после его смерти. Каждая запись начиналась так: «Под сие число сон...» И затем записывался сон. Почему он каждый день видел сны? И почему ему так хотелось их запомнить? <...> Неожиданно солнце проглянуло сквозь тучи, разъяснело, и я вся на солнце, и мне тепло и приятно. Окно мое за эти дни совсем оттаяло, с него даже не течет. Хочется думать о чем-нибудь приятном. Главное, хочется заглушить чем-нибудь свою обострившуюся тоску по Нине. Ах, как она иногда обостряется, эта тоска! В особенности по вечерам. На солнышке легче. И не тянет меня сегодня никуда идти. Такое удовольствие: можно писать без перчаток, без повязки на голове! Мечтается о весне, когда можно будет это окно выставить, открыть, проветрить свежим весенним воздухом просыревшие насквозь стены.

23 февраля 1919

Приходили Лева и Варя и пили чай. И в прошлое воскресенье заходили вечером. Я люблю, когда они приходят.

Сегодня у меня $6^1/_2$°, а в столовой 8. Но ужасно сыро. В воздухе туман. Все мокрое. Конфеты в шкапчике растаяли и стали как сироп.

25 февр. 1919

Ночью было 17° мороза. Сейчас солнце, на солнце тает, а у меня в комнате светло и весело.

Слава богу, у Наташи ничего серьезного не оказалось. Просто засорила желудок. Лева рассказывал, как она страшно обрадовалась сливочному маслу. Это его огорчило, потому что он думает, она чувствовала это лишение, когда масла не было. А мне кажется, что дети могут сильно радоваться тому, чего сознательно не желали и о чем не тосковали.

28/2 1919

Это 15-е по старому стилю. Это день рожденья моей ненаглядной. Помоги ей бог! Как рвется моя душа к ней, к моей душеньке...

...И я вспоминаю с ужасом и бесконечным отчаянием, как Ольга Владимировна[13] сказала мне: «Взгляните в окно, посмотрите как Нина садится на извозчика», а я ответила: «Зачем? Все равно я ее больше никогда не увижу!» Как я могла это сказать? Ах, какой это был кошмар — ее отъезд и наше прощанье у Ольги. И Ниночкина бледность и дрожащие губы. О господи! Спаси нас и помилуй!

5/3 1919

Вчера была на Мясницкой, на Кузнецком, в Газетном. О, что это за вид! Мясницкая в таких сугробах, в которых могли нырять наши предки в своих возках. А Петровка! Все эти заколоченные досками окна магазинов! И всюду, всюду шуршат и скрипят салазки, салазки, салазки... Медленно прополз служебный вагон трамвая с зажженным фонарем, точно в погребальной процессии. Желтый огонь под ярким лучезарным солнцем. Протарахтело несколько автомобилей, тяжело ухая в ухабы. Как злые насекомые промчались мотоциклетки со свистками, с выстрелами, с треском...

И опять скрип и шуршание по снегу салазок, скрип шагов, негромкие голоса... То, чего раньше на улицах не было слышно...

9/III-19

Если бы зашли сегодня Варя с Левой, я была бы рада... Может быть. зайдут.

Натуся сказала матери «черт». Рассердилась, вспылила ужасно и сказала: черт! <...>

Разве маме сказала? Выразила свою досаду, как выражают ее отец, братья, всякие дяди. Разве у них всегда такие важные

причины досадовать, когда они говорят «черт»? Тата отлично знает, что они говорят это по малейшему поводу и так часто и просто, что этого уже никто не замечает. Спичка сломалась: черт! папироса потухла: черт возьми! Про дядю уж и говорить нечего! Он и газету читает и слушает, когда кто-нибудь что-нибудь рассказывает, и все приговаривает: «Вот черт!» И никто не обижается, не огорчается, не плачет. И вот пойми этих старших! И бери с них пример! И верь в справедливость!

Трудно быть маленькой девочкой! Только маленькие всегда во всем виноваты!

23/III 1919

Лева притащил $1^1/_2$ пуда картофеля и столько же сухих овощей, да еще мороженой свеклы, луку... Второй день мы пьем морковный чай, и, к моему удивлению, это не только не скверно, а прямо хорошо. Цвет чая естественный, чайный, вкус... просто никакого и поэтому очень легко не заметить, что пьешь. Конечно, запаха чая нет, но нет и другого запаха. Гораздо лучше земляничного, фруктового, черносмородинного. Чая нет, а моркови много. Ко всему можно приспособиться!

25/III 1919

Какую это я тогда книгу читала? Какой-то дневник московской барыни Марии Ивановны, или даже не дневник, а ее письма к сыну в 1812 году, когда она с семьей бежала из Москвы, когда ее постигло разорение, смерть ее дочери и всякие другие беды[14]. Я помню, что это было очень интересно. Мы читали вместе с Мишей. И приходило ли нам в голову, что я, как Мария Ивановна, буду писать о своих горестях и нуждах и что у меня, как у нее, «под подбородком образуется сморчок». Я даже ходила смотреть дом, где она жила около Страстного монастыря. Охотно перечла бы эту книгу, если бы помнить ее название или автора. Хорошо тем, что очень просто, очень нелитературно.

Из моих записок ничего сделать нельзя, и они неинтересны уже тем, что я все сижу в одном и том же кресле и смотрю в одно и то же окно. Нет никакого движения, никакого содержания. Ахи и охи.

<...> Когда жилец уходит, моя квартира вся проникается родной тишиной, задумчивостью, ласковой грустью. Каждый стул, каждая вещь принимает свой прежний, давно знакомый вид, и мы с ними в ладу, в мире, знаем и любим

друг друга. Мне кажется, что они ласковы со мной, как и я с ними. Они, бедные, зазябли, состарились, отсырели и они видят, что и я претерпела то же, что они. Длинная была зима!

27/III 1919

В прошлом году 31/1 1917 г. я записала, чтобы не забыть: курица — 12 р. Что она стоит теперь? 50 р. Да можно ли купить? Судак — 4 р. Теперь ржавая селедка 8—10 р. Масло сливочное 11—12 р. Теперь — 120. Телятина — 4—5 р. фунт. Теперь конина 15 р. фунт. Ветчина — 8 р. фунт. А теперь — свекла 8 р. фунт. Пшено 27 р. фунт. Мука ржаная — 1000 р.

Вот когда внукам удивляться, что мы остались живы. Но я, впрочем, совсем не права: цены на продукты очень растут, но параллельно растет и цена за труд. Жалованье в 800—900 р.— ничтожно, любая барышня так получает, а то и 1000 р. Просто деньги дешевы... Я не служу и не зарабатываю, а живу на труд сыновей, как жила раньше на труд мужа, а еще раньше на счет родителей. Эксплуатирую третье поколение. В полном смысле паразитическое существование. Надо бы положить ему конец.

28/III 1919

Вчера дома меня ждал сюрприз: Издательство писателей прислало мне уведомление, из которого я узнала, что вышла и продается книжечка дешевой библиотеки «Пышная жизнь»[15] и что продано уже 18 302 экземпляра на сумму 10 293 руб. 70 коп., из них уплачено за издание 3640 руб., а за вычетом комиссионных и после какого-то «распределения» я смогу получить 2079 р. 37 коп. А я и не знала, что у меня вышла книжка, и не подозревала, что я ею что-то зарабатываю! Приятный сюрприз! А издание «Образа человеческого» разошлось. В отчете от 8/III оставалось 52 экземпляра. Конечно, с 8 марта эти экземпляры тоже проданы, и у меня остается на память только 3 книги, спрятанные у меня.

А досадно, что я заупрямилась и не согласилась на издание моей второй книги «Все впереди». Была бы я сейчас богата. Рассказ «Все впереди» неважный, это правда. Но мысль его верная и незатасканная. Мысль, что для всех всегда все впереди. Даже слепой старик, и тот своими незрячими глазами смотрит не в свое прошлое, а вперед, в следующую жизнь, где для него несомненно, что он увидит то, что ему хочется видеть. В жизни всегда все впереди, потому что она всегда начало. Меняется, но не прекращается жизнь. Передается, но не уничтожается. Если это сознавать,

то нельзя не чувствовать и не понимать бессмертия. Я поставила этот рассказ в начале книги, чтобы назвать книгу «Все впереди». Первая — образ человеческий, вторая — бессмертие этого человечества. Можно ли хотя дать намек на эту мысль такими незначительными рассказами? Конечно, нет. Ведь именно незначительное явнее всего бессмертно. Муха, цыпленок, галка — до чего всегда и везде бессмертны. Смена их поколений совершенно незаметна. Ни одной черты эти поколения не изменяют. Смерть над ними бессильна. Но у них ничего нет впереди, потому что нет сознания, нет духовной работы. У человека — то же бессмертие, но с сознательностью, с работой, со стремлением вперед. И поэтому перспектива безгранична. «Все впереди»! Ведь невозможно умереть, если смерти нет. А ведь ее нет!

...Надя мне вчера сказала: «Хоть бы ты писала детские рассказы, чем писать никому не нужные записки! Заработала бы!..»

30/III 1919

Федя вчера рассказал: вез он вчера дрова, и его воз сцепился с другим, чужим возом дров, так что несколько поленьев этих чужих дров рассыпались по снегу. Возчик стал ругаться. Федя поднял поленья и только хотел бросить их на место, как возчик выхватил их у него из рук и обругал Федю уже самым отборным способом.

«За что же вы на меня так сердитесь? — спросил Федя.— Я был виновником того, что дрова рассыпались, я же их и подобрал!» — «Знаем мы! — кричал мужик,— подтибрить хотел?» и т. д. Федя очень огорчился. «И отчего я так расстроился? — рассуждал он вчера,— оттого ли, что мне было жалко себя, что мне так несправедливо досталось, или мне жалко было возчика за его грубость, злость и несправедливость? Как ты думаешь?» — спросил он меня. Я сказала: «Я думаю, что нам беспрерывно и беспрестанно пришлось бы быть огорченными, если бы мы так близко к сердцу принимали грубость и злость других. И если ты раньше не огорчался, а тут огорчился, то только потому, что грубость и злость задели тебя». Федя промолчал. А я грубо и зло думаю и теперь, что Федя надеялся, что дух святой толстовства уже настолько изменил в нем человеческое свойство огорчаться, что в нем и другие уже не должны предполагать обиды, а вместо нее охотно допустят страдание за несовершенство человеческое. В Феде я в первый раз заметила эту черту, но в других толстовцах она проходит красной

нитью. Чувство совершенно такое же, как у других, они объясняют совершенно иначе и делают из него ореол. У Феди робкая мечта: уж не достиг ли он такой высоты? Те подавляют собственной уверенностью, что несомненно достигли. Смирение паче гордости. Жаль, если Федя заражается. Он был среди них как белый голубь. Чистил свою душу по мере сил, но не любовался ею и не указывал другим: смотрите! Как хороша!

Как мне хотелось бы его остеречь! Но я знаю, что это-то невозможно. И я знаю почему. Я знаю, что он никогда не поверил бы, что я могу быть права в моем понимании его. Если я что-нибудь думаю, что ему неприятно, то я не права, а виновата, недодумала, недоразвилась и недоросла. По крайней мере в этой области. А что мне не надо много премудрости, чтобы уловить фальшивую ноту (а для этого достаточно того, что у меня есть),— этого он не допустит.

12 апр. 1919

Завтра Левино рождение (13/IV н. ст. 1888 г.). Он родился в вербное воскресенье в 4 ч. утра, а в пятницу была гроза. Ровно через месяц мы увезли его в Москву, а оттуда на Караичку. В Москве отдохнули дня два-три и взяли няню, Мавру Агаповну.

Когда мы подъехали к крыльцу, она встретила нас на лестнице, в белом плоеном чепце, в праздничном платье, приняла Леву на руки и расплакалась. И тут же сразу она его полюбила, раз и навсегда. Помню, что я потом танцевала зачем-то мазурку с Алешей в коридоре, и, вероятно, это-то и положило начало моей болезни, от которой я, в сущности, никогда не избавилась. Люба только что перенесла брюшной тиф. Она была стриженая, еще бледная и худая и очень впечатлительная. Помню, как мы ехали из Алексикова на Караичку в нашем крытом рыдване — ландо с ситцевой обивкой, но на великолепных рессорах, четвериком. От жары всем нам едва не делалось дурно, и Любу вспрыскивали водой. Лева кричал, няня ворчала, Анисья Ильинична, по обыкновению, улыбалась. Вошли в какую-то избу перепеленать Леву и немного отдохнуть. Нам принесли молока в ночном горшке, и хозяева были удивлены, что нам это не понравилось и показалось неаппетитным. Посуда новая, чистая, удобная. Потом опять поехали, и казалось, что путешествию нашему не будет конца. Сорок пять верст!

И вот с тех пор прошел тридцать один год! Эле тогда было 15 лет, Алеше — 14. А о моей Нинусе я тогда и представ-

ления не имела и появления ее не желала. Как это я могла не скучать о ней. Я хотела, чтобы второй номер был тоже сын. И это оказался Лодя. «Ах, какой мой Всеволóдушка молодчик!»

17 мая 1919

С 15 мая мы сидим в темноте. Электричество окончательно бездействует. Свечи стоят 70—80 руб. фунт. Поневоле надо рано ложиться. Но теперь темнота не так страшит, как зимой, хотя весна необыкновенно холодная. Вчера ночью, говорят, было 3° мороза. Днем — 2—3° тепла. Ветер, пасмурно. Опять в квартире сырость, а наши часы, очень чувствительные к сырости, начали бить с дрожанием, охрипшим голосом.

<...> Я записалась в члены проф. союза писателей. Получила охранную грамоту...

28 июня 1919

Вчера в квартиру 47 забрались жулики в 5 ч. дня, едва не задушили женщину, но она вырвалась и успела крикнуть в окно. Прибежал Василий, еще кто-то, и жуликов схватили.

28 сент. 1920 года

Эту тетрадку подарил мне Левушка. Пусть в нее заглянет солнышко. Пусть я занесу в нее не только скорбь и печаль души моей, но еще и возможную мне радость. О, жаждет душа моя радости! Все еще жива и не хочет умереть. Редки ее короткие тусклые праздники, но все, что похоже на праздник, поглощает она с благодарностью и восторгом. И вот вчера было что-то, похожее на праздник.

Перед самым заходом солнца пошла я в сквер Спасителя, и, когда шла по набережной... ясная и полная луна поднималась над рекой. Еще не угас запад, и оранжевая полоса заката отражалась в окнах домов, в длинных рядах верхних этажей, но отражалась уже не яркими огнями, а теплым мягким светом. Где-то правее, почти над рекой, у Кремля высоко горели три ярких фонаря, три разноцветные огня, один повыше, другие — пониже. И странно было, что небо еще по-дневному голубое и веселое, а на нем уже огни, на нем уже луна, хотя и без лучей, но вся сияющая легким сиянием, радостно молодая, хотя уже полная. Я обернулась и увидала над оранжевой полосой широкую ярко-зеленую. Что праздновала природа? Почему в этот вечер облеклась она так ярко и разнообразно?..

30 сентября 1920 г.

Анюта ходила на вокзал переносить дрова. 30-го их перевезли на возах на наш двор. Нам пришлось 6/10 сажени, и за перевозку я заплатила 6250 руб. Пилили их вечером в тот же день. На ярко освещенный двор высыпало чуть не все население дома. Начали складывать дрова в сажени. Все спешили, тащили березовые поленья и старались уложить их как можно плотнее. Одна толстая дама в дымчатом платье работала особенно усердно, так как никто ей не помогал, и она одна должна была натаскать сажень. Были ссоры, претензии. Особенно зла была Ираида, которая, прожив в санатории больше полугода, поправилась, но подурнела и постарела до неузнаваемости.

Лева вернулся домой мокрый до последней нитки. Яркую лампочку на дворе так и не потушили, и двор казался опустевшей бальной залой.

6 октября 1920 года

<...> Сегодня очень холодно, а у нас в квартире теплынь, кирпичная печка греет великолепно. На рынке пусто: хотела продать что-нибудь, денег нет. Ничего не продашь! Палец у меня опять нарывает. Писать не мешает, а писать нечего. Вся прошлая неделя была неудачная и тяжелая: взломали Машин сундук; Эля пришла взволнованная и обиженная до истерики; был мир, был сбор, нарывал палец, был насморк и ужасно скучно. Не было только денег. Бог с ней, с этой неделей! Сегодня понедельник, и опять нет денег, нет папирос, нет картофеля и нет Лоди со вчерашнего вечера.

У меня бронхит.

«При встрече с поэтом он не задавался вопросом: был ли тот у исповеди, а спрашивал лишь одно: «Здоров ли он?» Быть здоровым — в этом все дело. «Если поэт болен,— говорил Гете,— пусть он сперва вылечится». (Ромен Роллан. «Жан Кристоф».)

Был ли прав Гете? Разве иногда болезнь не есть источник вдохновения, а следовательно и высшего провидения? Разве Достоевский не был болен и разве ему надо было сперва вылечиться? Разве нервы, мешая устойчивому равновесию, не изощряют слуха, зрения и проникновения в высшем... (не кончено)

В здоровом теле — здоровый дух, но в больном теле нередко бывает истонченная проникновенная, мудро-больная душа. Не должен ли отчасти прислушаться к ней здоровый дух, чтобы не превратиться в чисто практический или юнкер-

ский. <...> Талант сам так индивидуален, что на него мало влияет даже сама жизнь. Он сам по себе, здоров или болен, силен или слаб, светел или мрачен. Болезнь его не искажает, а убивает, если касается его. Талант легче убить, чем изменить его характер. Ведь и голос пропадает, а не делается контральто из сопрано и обратно, смотря по условиям. Но это я, кажется, написала ерунду. Вот почему-то не могу согласиться с Гете и не могу обдумать возражение. Встану, пойду читать газеты и покупать спички и обдумаю.

Солнце светит мне на кровать, хорошо! 11 ч. Лева заходил, занес $1^1/_2$ стакана соли. Лодя опять не ночевал и не вернулся. Я съела два яблока вместо утреннего чая или кофе. Я теперь почти всегда так делаю, но ем одно яблоко, а сегодня два по случаю кашля.

17(4) февр. 1921

Я начала эту книжечку со слов: «Пусть в нее заглянет солнышко», и вот солнышко заглянуло: 25 дек. по ст. ст. я получила письма от моей ненаглядной, от Алеши и Володи. В день рождества, только что ушли священники с крестом и я сидела за кофе с Асей и Васей Живаго, как принесли эти письма. Миша родился 4 декабря, ему минул год. Он уже почти ходит, у него шесть зубов, он начинает лепетать: — Пука, бука... Ангел мой!

Нина обещает прислать его фотографию. Вот и получила я «возможную мне радость». Теперь опять могу ждать и жду, всегда жду вестей. И сама пишу и воображаю себе, как эти письма идут, доходят, как они их получили, читают...

Все счастье, которое вы трое могли мне дать, вы мне дали. Не только счастье, но и гордость. И счастье, и гордость — как ужасно много!

Могло бы быть еще вот что: старческий покой и уют, семейные праздники, баловство внучат... Мои «воскресные обеды», о которых я мечтала с Левушкой. Мирное догорание ушедшей жизни.

Но почему-то я не умею догорать. Я не состарилась. Я ужасно хочу жизни и рвусь к жизни... За эти годы я привыкла запихивать куда-то вглубь свои чувства и не позволять им говорить. Они кричали бы, а не говорили! И это ужасно! Надо держать их в узде, чтобы жить. Мы с Левушкой умеем молчать и понимать друг друга. Он мне много-много сказал молча одним своим милым прекрасным для меня лицом. Я верю, что он и поймет меня, хотя я промолчу. Вот у меня уже и нет спокойствия! А разве это надо? Боли и печали так

много, зачем бередить их и разжигать! Надо быть спокойной, надо запретить им брать верх, надо думать, надо понимать. Надо стараться не страдать, потому что стараются страдать только те, кто не страдает. Надо облегчать друг друга и для этого быть сильным.

Я где-то прочла, что, когда луна исчезает,— это бог ее крошит на звезды. Если бы я могла раскрошить свою любовь к вам, мои любимые, на вашу взаимную привязанность! Чтобы она спаяла вас навек! Чтобы я в ней осталась с вами!

<...> Я хотела из своих записок составить книгу. Вряд ли успею. А в том виде, как они есть, они никуда не годятся. Это все сырой материал.

А все, что я печатала, у меня собрано. Все это в маленьком сундуке у Даниловых[16]. <...>

5 марта 1921 года

Есть становится нечего. 1 фунт картофеля — 900 руб., свекла — 700, морковь — 600. Хлеб не меньше 1500, а продают и гораздо дороже.

Два дня тому назад получила второе письмо от Нинуси. И образчик волосиков Коташки. Все письмо о нем.

Вчера праздновали Левушкины именины. Были Сережа, Варя и Чиж (Наташа). Чиж вел себя не похвально, ругался. Приехала она на салазках, и на обратном пути Лева ее вывалил. Обед был: борщ с консерв. мясом, пирожки с кашей из пшеницы и пилав. Потом много кофе, и кофе хороший, мокко.

18 марта 1921 г.

Вчера приехала в санаторию[17]. Ехала на автомобиле, застряли в яме, Лодя с шофером выталкивали машину за колеса.

Здесь Георгий Чулков. Я знаю, что он пишет, но не помню ничего из его произведений. Сегодня приезжали Лева с Варей на понурой лошаденке, в розвальнях. Приходил Вася. Взяла книг в библиотеке. Жить можно.

Воскресенье

Вчера долго ходила вечером по балкону. Вид чудесный. Были сумерки, почти полная луна. На балконе сидела только одна женская фигура, играла на гитаре и тихо пела, покачиваясь. А внизу уходил в сумерки город, начинали зажигаться огни...

Была лекция Чулкова «Поэзия и жизнь».

24 марта 1921 г.

Я здесь уже неделю. Скучно. Даже не думается и не читается. Почему-то кажется, что я не только дальше от своих московских, но и от Нинуси. Здесь я вижу людей и чувствую жизнь иначе. Хочется домой. Точно я там оставила много-много хорошего. И молиться здесь не могу. Здесь мне точно говорят: — Кто тебя слышит, глупая? ведь никто!

Среда на страстной 14 апр. по ст. ст. (27-го) первый холодный день. Цветет черемуха, развертывается дуб. Завтра я должна уехать.

3(16) мая 1921 г.

Все время сильная жара. Был всего один прохладный день 1-го мая ст. ст.

Неделю тому назад получила от М[арии] В[ладимировны] Гзовской-Маргулис Коташкину карточку. Это было в среду утром. Надо ее вернуть, она не моя! Удержала ее еще на 2—3 дня наглядеться!

Продала еще кое-что: у нас нет ничего: ни крупы, ни муки, ни картофеля. Эля сильно помогает хлебом и маслом. Кое-как еще живем.

Вернувшиеся из путешествий рассказывают о междуусобной на Украине.

Вторник 4(17) мая 1921 г.

Получила письмо Нинуси с карточкой Коташки. Как же не «возможно, что мне радость» записывала я в этой Левиной книжечке? Коташкину карточку! Она у меня постоянно на глазах и постоянно вызывает во мне радость и бодрость. «Если я, то все, значит, хорошо»,— говорит мне его улыбка. Да, милый! Если ты, то все, значит, хорошо. Радость моя. Ненаглядный.

9(22)/V1921

Сегодня 9-е ст. ст. Жарко ужасно. Третьего дня немного поссорилась с Левой и даже, когда ссорилась, чувствовала, что люблю и жалею его до боли. И в нем чувствовала то же. Не поссорились, а объяснились в любви, и эта любовь переполняет меня эти два дня. Знает ли он, какую нежность и боль вызывает во мне его худое измученное лицо? Но сказать этого я не могла и не могу. И ни Эля, ни Лодя не понимали, что я плачу от нежности, от любви.

28 мая (15) 1921 г.

Продала Нинины занавески за 200 т[ысяч] и доставляю себе множество удовольствий: купила 24 фунта пшена, картофеля, масла. Два раза покупала белый хлеб. Пшено... 3800—4000 за фунт. Продала я во вторник. С понедельника мне везло, и, кроме того, что я купила, я получила еще от Эли соли, масла, свиного сала, сахара и т. д. У меня 7 ф. рису. Это все. Очень меня все это радует. Обеды у нас всю неделю были сытные и вкусные, и Лева принес колбасы, и мы ее ели и жареной и холодной, и еще ели яйца. Я за эту неделю растолстела. Будущая неделя во всяком случае обеспечена едой. Нет хлеба, но у меня еще есть деньги, значит, будет и хлеб. Надо считать, что две недели обеспечены, т. к. не будем же мы есть каждый день пшено, а картофель тоже есть. А две недели это срок большой, а газеты обещают к этому сроку конец продовольственного кризиса. Вероятно, что Лева скоро получит паек, и Лодя получит. Если бы мука!

7 июня н. ст. 1921 г.

...Опять угроза выселения всего дома.

Читала сейчас Арцыбашева «Жена» и только теперь поняла хорошо, хотя читала и раньше. И возмущение еще острее, чем раньше. И ненавижу еще ярче, чем раньше: ненавижу не свободу, а это легкое оправдание свободой таких вот... (неразб.) всю эту грязь и мерзость, распущенность, грубость и бессмысленность...

Читать Арцыбашева до невозможности противно.

Июль 1922 года

Три недели тому назад он позвонил у моей двери[18]. Я была совсем одна. «Кто здесь?» — «Лидия Алексеевна дома?» Я сразу узнала этот голос. Может быть, надо было быть спокойнее? Может быть, надо было быть холоднее? Но ведь это кто пришел ко мне? И разве я не знала, что если он пришел, то как неспокойно, с каким волнением он назвал мое имя? Это призрак пришел к призраку. Остались имена, остались голоса... Осталось только это из далекого, далекого прошлого. Тридцать семь лет тому назад... Судьба иногда делает маленькие неожиданные подарки. Этот вечер был для меня подарком. Как я за него благодарна!

Тридцать семь лет тому назад мы разошлись, после того как целый год были женихом и невестой... Ах, это совершенно все равно, как это было, но мы любили друг друга. И вот оказывается, что эта любовь еще оставила какие-то следы

в наших шестидесятилетних сердцах, что-то зацепилось, как-то сохранилось, но не живой, не существующей в настоящей жизни, а в прошлом, точно засушенный цветок в прочитанной книге. В настоящем ей места нет, но она настолько жива, что с ней ожило все прошлое, все забытое и тоже стало жизнью и действительностью. От одного голоса, от одного имени! С одного края своей жизни я вдруг переселилась в другой. Разве это тоже не реальность? Разница только в том, что то, что есть,— пройдет, то, что было,— уже прошло. Тридцать семь лет. Время важно только в будущем, в прошлом оно значения не имеет. То, что было тридцать семь лет назад, было вчера, если его хорошо, ярко вспомнить <...> Это воспоминание чувств. Как легко их вызвать, воскресить! И вот три недели я живу в прошлом, и живу только чувством. Мы не успели разглядеть друг друга, какие мы есть, а видели только то, что в нас осталось от прошлого, оттого так ярко вспыхнуло воспоминание.

Июль 1922 г.

Тридцать семь лет тому назад я испортила жизнь человеку. И вот вчера мне было предложено объяснить, почему и зачем я это сделала. «Скажите мне,— попросил он,— зачем вы написали мне это письмо?» Я невольно засмеялась. «Но ведь оно было написано тридцать семь лет тому назад... Разве я его помню?» — «Вы не можете не помнить, что вы отказали мне в вашем последнем письме». Я не могла не помнить этого и, так как он просил, я ему рассказала, почему я отказала ему. Между прочим, я сказала: «У вас не было воли, у вас не было характера и поэтому у вас было мало любви ко мне...» — «Вы говорите — мало любви, а я всю жизнь только одну вас и любил». И опять этот восторженный взгляд и улыбка, вся душа во взгляде. «Это судьба!» — «Да, судьба, которая сделала для вас — лучше, для меня — ужасно! <...> Но ведь вы обещали мне ждать три года? Вы помните? Я должен был прийти в церковь Неопалимой Купины...» Но этого я решительно не помнила. «Семен Александрович! Но ведь уже прошло тридцать семь лет!» — «Да, и за это время я... мне... мне даже никто не нравился, ни одна женщина, никогда! А вы отказали мне, потому что я вас мало любил...»

...Как это должно быть смешно со стороны! Не только смешно, но и глупо. А меня это перевернуло. Я легла спать, и мне хотелось плакать! Конечно, я не допускаю никакого недоразумения. Просто я уже немножко разлюбила его, когда

написала это письмо с отказом. Потом совсем забыла. Если бы вышла за него замуж, была бы ему скверной женой. Когда дала слово Мише, даже не думала о назначенном свидании у Неопалимой. Значит, я во всем виновата. Но разве разлюбить — вина?

<...> Но я отчетливо вспоминаю, почему я отказала ему, почему я «испортила ему жизнь». Ах, умница я была! Все равно, я испортила бы ему жизнь, но испортила бы и свою! Я все вспомнила и обрадовалась. Человека я не убила, глупости я не сделала, легкомысленна и непоследовательна я не была. Все я сделала так, как нельзя было сделать иначе.

Но он оказал мне большую услугу: он открыл мне забытую дверь туда, где давно все отжило, где нет боли об утратах, и только осталось нежное и светлое воспоминание. Завершился и сомкнулся мой круг жизни, и я могу отдохнуть где-то, где не была так давно-давно, и где ничего не изменилось. Я опять вижу себя девушкой, а эта девушка видит старуху, и мы протянули друг другу руки, удивленные и радостные, что мы так понимаем друг друга, что мы — одно.

И вот я спокойна. И все объяснилось. И мое волнение от прихода Семена, и мое воскресшее чувство. Я ни перед кем не виновата, мне нисколько не стыдно. Все так как надо, и Миша не мог бы отречься от своих слов, что я «правильная старуха». Так легко стало и просто!

9/VII 1922 г.

Я еще ни разу не писала о том, что мы с Элей собираемся поехать за границу к Нине. Вот об этом я не могу писать. Не писала и о Нининой предполагаемой болезни. Нет, об этом я не могу писать!

20/VII 1922 г.

О, как скучно! Попаду я к Ниночке? Мне еще не сказали «нет», и поэтому я думаю «да». Но я боюсь думать. Пусть придет этот день, и тогда я переживу и его. Все, что я переживаю теперь, так сложно! Я жду отъезда как счастья, но если он будет, то разве я буду счастлива? А вы, кого я оставляю здесь? Ведь это опять моя душа. Я променяю одно на другое. Но моя Ниночка больна и грустна, и если нельзя быть всем вместе, то я хочу быть теперь с ней. Как это все трудно передать!

ПИЛЬЩИК[1]

Удивительная вещь: мне без него скучно. Лежа ночью, в тишине, я прислушиваюсь, не слышу его и думаю: — Где ты, маленький? Что с тобой? Отчего ты молчишь? Почему ты не работаешь? Погиб ли ты от голода, потому что все съел, что мог? Зазяб ли ты и заснул? или ушел куда-нибудь потихоньку искать себе нового приюта и пропитания? — Я никогда и не видела тебя. Я не знаю, червячок ли ты или жучок, животное или насекомое; есть ли у тебя глазки, хвостик; светленький ты или темненький... Но уж так давно-давно я привыкла к нашей совместной жизни, к твоим привычкам, к проявлениям твоей индивидуальности, что, когда я перестала слышать тебя, мне кажется, что я стала более одинокой. Я подхожу к углу, где стоят твои дрова, где ты жил и работал, но на коре поленьев уже нет новых следов, на полу нет свежих опилок, и все тихо в твоем осиротевшем маленьком царстве между гардеробом и стеной. Как хотелось бы мне знать, умер ли ты или ушел и заснул на время.

Десятого июля принесли и поставили сюда эти дрова: четыре кругляка по полтора аршина каждый. Вечером мне показалось, что кто-то осторожно подпиливает замок у нашей двери. Я тихо подошла к ней, но звук прекратился. Через некоторое время опять стали пилить, а потом и стругать, но едва я подходила, звуки прекращались. Всю ночь продолжалась та же история, и так как я уже оглядела дверь и убедилась, что никто не пытается отворить ее, я уже и не пугалась, а старалась объяснить этот непонятный мне шум. На другое утро весь угол у двери, между гардеробом и стеной был засорен опилками. «У нас завелся пильщик!» — сказал Лева. Пильщик? Так вот как зовут тебя. Но что ты за фигура? Какая у тебя внешность?

Иногда ты работал и днем, но вечер и ночь были твое обычное рабочее время. Ты пилил и строгал так усердно и громко, что, кажется, напугал мышей, и они уже не смели лезть на гардероб за мукой. Анюта иногда кричала мне из кухни: «Работает наш работник!» — «Усердно работает», — отвечала я ей, и мы смеялись.

Иногда нам хотелось видеть тебя, найти, поймать, не для того чтобы причинить тебе зло, а чтобы познакомиться лично, чтобы составить себе понятие о твоей особе. Но как мы ни старались, видеть тебя нам ни разу не удалось. И ты почему-то представлялся мне крошечным-крошечным человечком, одетым в старенькое, с колпачком на голове, очень близоруким,

робким, застенчивым чудачком. Мне было жалко тебя за то, что тебе скучно жить, что ты вечно один, в темном углу, без друга и без света. Мне казалось, что слишком сурова и безрадостна твоя жизнь в вечной работе.

Анюта находила, что ты слишком соришь, а я завидовала тебе в том, что ты делал свое дело упорно и уверенно, не прислушиваясь к чужим мнениям и не сомневаясь в своей правоте. Если ты сорил, то, значит, ты не мог поступать иначе и не мучился тем, что не мог. Нам, людям, так мало дано возможности и власти изменить что-либо в том, как мы проявляем свою личность, а нас мучат и мы мучаемся, и все мы укоряем друг друга, что мы слишком сорим, что мы слишком шумим, что мы занимаем в жизни так много места. Глупый маленький пильщик! Ты не огорчался, потому что не понимал, что о тебе говорят, и спокойно продолжал делать то дело, которое предназначено было тебе природой. Но прошел июль, август, прошла часть сентября, может быть даже весь сентябрь, и вдруг ты стал менее энергично, менее бодро работать. Приходила ночь, а в твоем углу царило безмолвие. «А пильщик-то наш бастует, не работает?» — говорила я Анюте. «Сорит еще, только меньше. Что-то заленился»,— отвечала она.

Но скоро ты и совсем перестал сорить, и тихо, скучно стало в углу.

Как узнать, там ли ты еще? Может быть, забился где-нибудь и спишь, пережидая холод, весь съежившись в крошечный комочек, безжизненный и бесчувственный. Или видишь ты сны о лучшей поре твоей жизни, когда жил ты не в темном углу и не в одиночестве, не в мертвых иссохших дровах, а в лесу или саду, с друзьями-приятелями, с женой и детьми. Если снятся тебе такие сны, не просыпайся от них, маленький! Не надо. Дрова твои сожгут, и ты сгоришь с ними. Это ничего. Это лучше, чем проснуться.

Но, может быть, ты умер от тоски и голода? Не увидим мы твоего трупика, как не видели тебя живым. Как жалко, что ты страдал, умирая! Тебе некому было пожаловаться, и никто не умел тебя пожалеть. Да и нужно ли было это тебе? Как мне это знать, если я не знаю ничего о тебе, не знаю даже, были ли у тебя глазки, хвостик, лапки.

Может быть, ты ушел от нас искать себе лучшей доли, но, конечно, ее не нашел и погиб? Но в таком случае ты смолк бы сразу, а не замирал постепенно, заявляя о своем существовании все реже и реже.

Так или иначе ты исчез, но ты остался в моей памяти, и я

вспоминаю о тебе с ласковой печалью. Ты, конечно, не был крошечным человечком в колпачке, близоруким и застенчивым, но потому, что ты жил, жило и это мое представление о тебе, и ты ничем ему не противоречил. Это ты создал для меня коротенькую наивную сказочку в темном сорном углу.

Прощай, мой безвестный работничек! Признаюсь, я рада, что твои дрова, в которых ты жил, будут гореть не в моей печке! Мне бы могло представиться, что среди пламени вдруг проснулся бы ты от глубокого сна и скорчилась бы от муки твоя маленькая фигурка в старенькой одежде, в колпачке, с близорукими добрыми глазками, полными укора и страдания. Я не хочу такого конца своей сказочке. И, когда уже унесут дрова, я все-таки буду воображать, что ты остался у нас, забился в какую-нибудь щелочку и спишь сладко и крепко, отдыхая от своих трудов. А так как в сказке все возможно, то возможно, что и нас с тобою ждут лучшие дни не в тесном темном углу, не в разлуке с любимыми.

Но ты не слышишь меня, маленький. Тебя нет. И сказки нет, а если нет сказки, то невозможно невозможное. Как скучно мне, что тебя нет! прощай, глупенький!

[ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ]

В 1922 году Лидия Алексеевна уехала за дочерью в Чехословакию. Весной 1924 года она вернулась с неизлечимо больной дочерью[1] и четырехлетним внуком. В ее бумагах сохранилась запись о возвращении:

«У подъезда нас встретила целая толпа. Все свои, любимые, родные. И эта большая девочка — Наташа? Анюта приняла Мишу из автомобиля прямо на руки. «Мишенька! Милый ты мой!» — «Миша, это твоя няня!»

Все наши показались мне такими красивыми. Ася, Вавочка... Таких красивых девушек в Кошице я никогда не встречала. Там таких и быть не может! Но разве может быть, что мы приехали, что мы дома, среди своих? Это не сон?

На столе кофе, пасха, кулич, слоеные пирожки... Миша стоит между колен у Левы. Варя гладит его по головке и говорит: «Да какой же ты большегла-а-зый!» Анюта хихикает. Аня обняла Ниночку, и они о чем-то шепчутся. Надя рассказывает, что нас встречали уже неделю назад. Сережа чему-то тонко смеется. Наташа притащила свою игрушечную лошадь и поставила перед Мишей: «...это теперь твоя!» Я все вижу, все слышу, но... я еще не верю. Какой-то туман в голове. А

если это только яркий сон? Разве бывает такое счастье?»

Дальнейшая жизнь Лидии Алексеевны в Москве была посвящена дочери (до ее смерти в 1930 году) и внуку, который вырос на ее руках. В. Гзовский, переехавший из Чехословакии в США, просил отдать ему сына, но Лидия Алексеевна отказала: она хотела воспитать и воспитала внука в России.

[ИЗ ДНЕВНИКОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ (1937—1941) ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ]

...1937

И вот сколько лет прошло! Ах, сколько лет[1]. Я вся седая, старая. Смерть близких и горячо любимых и другие тяжелые несчастья раздавили меня, обессилили, обезличили. Тяжело жить. Надоело жить. Противно жить. И я уже не живу. Внешний мир вызывает в моей душе только болевые ощущения. Я не живу, я существую, и в этом существовании у меня есть все: и любовь, и радости, и огорчения. Я люблю и очень люблю своих кровных родных, своих друзей, но я иногда замечаю, и меня удивляет: почему это моя любовь какая-то не та, что прежде? Прежде я что-то требовала от тех, кого любила, теперь я не только не требую, но мне ничего не надо. Лишь бы знать, что им всем хорошо, что никто не страдает,— и я совершенно счастлива. Мне от них ничего не надо. Какая-то часть меня перестала существовать. Но до чего я страдаю, если кто-нибудь из них страдает! Значит, люблю. Но все больше и больше люблю одиночество, тишину, спокойствие. И мечту. А мечта — это Антон Павлович. И в ней мы оба молоды и мы вместе. И это чувство молодости во мне так сильно и ярко, что кажется действительностью. И вот опять двойная жизнь: явная и тайная. Я не знаю, у многих ли это так? или я исключение? И если исключение, то какое? счастливое или постыдное? Боюсь, что постыдное, потому что не могла бы я об этом рассказать никому: было бы очень стыдно.

И вот кончаю жить, а сколько вопросов не разрешила. «Да стоит ли она, эта жизнь, которую мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы? Это еще вопрос» (А. Чехов).

Сент. 1937 г.

А я еще живу. Когда же конец? И как будто в насмешку я еще здоровею, полнею. У меня даже нет никакой болезни. Одно время я надеялась, что у меня сердце не в порядке,

но оказалось, что это сущие пустяки. Еще жить... Зачем? За эту способность [неразб.] я презираю себя. Муха. Всегда я знала, что у моей судьбы желтые глаза. Муха? Но разве мне легко?

Лева вернулся. Это была громадная радость. Но во что она обратилась! <...> Еще жить. Зачем? Я уже никому не нужна, кроме Эли. Но ведь и это «беллетристика». А мне несносно, что я глуха, глупа. Кто не испытал, что значит быть глухой, тот этого не поймет, как и я раньше не понимала. Это унизительно. Окружающие никто с этим не считаются, забывают. Они забывают, а я обижаюсь. Я хочу не обижаться и не могу: ведь благодаря тому, что я не слышу, я часто задаю неуместные вопросы, смешу или вызываю пожатие плечами: «Где же ты была? Ведь только что об этом говорили!» Это мелочь. Это мелочь, как теснота у стола, из-за которого мне трудно выбраться, как Мишин угол, похожий на помойку, как окно, к которому нельзя подойти даже летом, как надпись на стене напротив[2]. Но как это все угнетает! Как жизнь из-за этого лишена хотя бы мелких радостей! Большие чувства ужасны, ну, были бы хоть маленькие немного приятны... И жить? и, может быть, долго? Дождаться беспомощности от болезни и слабости. Дождаться сознания, что в тягость всем. А нарочно не умрешь.

Вот взяла и перечла сегодня эту тетрадь. Когда я писала ее? Давно[3]. Любовь. О любви. В семьдесят четыре года (скоро будет) я думаю о любви. И думаю я, что я ее никогда не знала. Так жизнь и прошла. Единственный год, когда я сознавала себя очень счастливой, это тот год, когда я была невестой Семена. Но тогда была не любовь, а влюбленность. Все равно! Это было удивительно! Была ли у меня влюбленность в Чехова? Конечно, была, но такая подавленная, такая загнанная! Одна боль <...> Я уверена, что когда-нибудь будут лечить любовь, как и всякую другую болезнь. Любовь-страсть. Столько-то вспрыскиваний — и готово! Не станет ни Вронских, ни Карениных, ни Отелло, ни Дон-Жуанов...

Евдокия Родионовна Жив[аго] говорила мне: «Не хотелось бы еще умереть, я нужна детям: кто будет убирать на лето сундуки с теплыми вещами? Проветривать белье?» У меня нет ни вещей, ни белья. Мой Миша вырос. Он работает на меня, мой дорогой. Он делает это с радостью, а мне это тяжело. На какую молодую, еще не окрепшую шею мне пришлось сесть? Надолго? Ему я уже не нужна. Ниночкин сын[4].

Чтобы жить, нужна или молодость или дело. Жить беспо-

лезной старухой унизительно и несносно. В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шелка, решить один вопрос: любили ли мы оба? Он? Я? «Я любил нежно, страстно» (из рассказа «О любви»). «В клинике я был слаб. Я недостаточно владел собой. Но, может быть, мы слишком много рассуждали, слишком сдерживались...» (из пропавшего письма). Я — бегала лечиться. Я не хотела оставить семью. Я не осталась в Москве, когда он просил, больной. Я убежала от ответственности. И дома я чувствовала большое облегчение: все осталось по-прежнему!

И он не приехал в Петербург, как обещал, как хотел. «Нельзя забыть, что я больной. Не могу забыть, не должен забыть. Связать с собой женщину молодую, здоровую... Отнять у нее то, что у нее есть, а что дать взамен? Я врач, но я не уверен, что я вполне выздоровею» (из того же письма)[5].

Сколько рассуждений! И, может быть, тоже чувство облегчения, что все осталось по-старому?

Я не могу распутать этого клубка.

После 1937 года Лидия Алексеевна прерывает свои дневниковые записи. Можно предполагать, что все ее время было посвящено (поскольку позволяли силы и обстоятельства) переработке повести «О любви» и созданию окончательного варианта «А. П. Чехов в моей жизни. (Наш роман)». В это время, которое было наполнено переживаниями дней ее молодости и раздумьями о них, Лидию Алексеевну часто навещают литературоведы — А. Р. Эйгес и А. Б. Дерман. На полях повести «О любви» Лидия Алексеевна записывает: '«Вообразите,— сказал мне Эйгес,— сколько мы ни роемся, но не находим женщины в жизни Ан[тона] Павл[овича]. Нет любви. Серьезной любви нет». «Он был сух, черств. Он не мог любить»,— сказал Дерман»'. И вот она пишет письмо М. П. Чеховой. Оно опубликовано адресатом, но здесь мне представляется необходимым вновь его привести.*

«Москва 14 апреля 1939 года.

Дорогая Мария Павловна!

Не сердитесь, что я называю Вас «дорогой». Поверьте, что иного обращения к Вам я в душе своей найти бы не могла.

Думаю о Вас часто и много. И грустно мне, что я Вам чужда и, возможно, неприятна. Мы не сошлись с Вами когда-то в одном вопросе, и Вы огорчились тогда до слез. С тех пор

---

* Чехова М. П. Из далекого прошлого. Запись Сысоева. М. ГИХЛ, 1960, с. 169—170.

я считала, что Вы не хотите больше иметь со мной никаких отношений. Даже не решилась зайти к Вам, когда была в Ялте. А я до сих пор горячо благодарна Вам за то, что Вы дали мне случай поцеловать руку Евгении Яковлевны.

Сегодня был у меня Ал. Р. Эйгес. Я спросила его, как бы Вы отнеслись, если бы я написала Вам? Он меня поощрил. Свалю свою вину, если она есть, на него.

А знаете что мне хотелось сообщить Вам? Несколько лет тому назад я жила летом и осенью на даче под Полтавой и познакомилась с Ал. Ив. Смагиным. Он был мне черезвычайно симпатичен, тем более что он постоянно говорил о Вашей семье. И вот он признался, что любил Вас всю жизнь. Любил только Вас. А один раз он сказал: «Не только любил, а люблю. И теперь люблю». И если бы Вы видели его лицо при этом признании!

Теперь он умер. Пусть Вы вспомните лишний раз о его большой любви и преданности. И пусть это будет ему наградой. А на меня Вы не рассердитесь за то, что я напоминаю Вам о нем? Нет, пожалуйста, не сердитесь на меня! Я старая, больная, слабая. Надеюсь, что скоро умру. И так мне хочется от Вас хотя бы одно ласковое слово!

Ведь и у меня тоже, как у Смагина, всю жизнь была одна любовь. Можно мне Вас поцеловать?

Л. Авилова»

Опубликовав это письмо, М. П. Чехова пишет, что навестила Лидию Алексеевну, будучи в Москве летом 1939 года. Но не пишет, что сразу же по получении этого письма ответила Лидии Алексеевне. В архиве Лидии Алексеевны это ответное письмо сохранилось. Привожу его с незначительными сокращениями.

«20 апреля 1939 г.

Милая и дорогая Лидия Алексеевна! Называю Вас так без всяких оговорок! С радостью прочитала Ваше хорошее письмо и мне остро захотелось повидаться с Вами и надеюсь, что это скоро осуществится — наше свидание... Не теряю надежды в конце апреля выехать в Москву и, конечно, повидаться с Вами **обязательно** (подчеркнуто М. П. Чеховой.— *Н. А.*). Нам с Вами есть о чем поговорить и вспомнить! Вы дороги мне уже тем, что любили моего брата. Что же касается наших прежних недоразумений, то я о них совершенно забыла.

...Итак не умирайте, пожалуйста, я хочу Вас видеть и говорить с Вами, милая Лидия Алексеевна...

Желаю Вам бодрости, здоровья и желания жить и жить подольше. Без позволения позвольте мне обнять Вас и поцеловать.

Ваша М. Чехова.

Конверт, в котором я посылаю Вам это письмо, я взяла из стола Антона Павловича.

До свидания!»

27/XI—1939 года

Я сегодня уничтожила копию письма Алехина. Жалко. Я сделала ее после того, как погиб оригинал[6]. Помнила каждое слово, даже длину строк. И написала все точь-в-точь так же, даже подражая мелкому почерку Ант. П. Так вышло похоже, что меня это утешило. И я долго хранила эту копию. А сегодня уничтожила. Вот почему: нашли бы после моей смерти и, конечно, узнали бы, что это фальшивка, подделка. Кто бы мог понять, зачем она была сделана? Не возбудило бы это подозрений? Не отнеслись ли бы с недоверием к моей рукописи?[7] Одна ложь все портит. Если письмо явный наивный обман, как верить словам? Почему не выдумка, что А. П. говорил мне, что меня надо любить «чисто и свято»? Почему не выдумка, что в клинике он не мог скрыть своей любви? «Один день, для меня...» Один обман — все обман, все ложь, все подделка, как письмо.

И не хотела я совсем упоминать об этих письмах Луганович—Алехина, да не могла вычеркнуть их[8]. Они меня так примирили, так утешили. Без них... После моей смерти... Неужели еще долго жить?[9]

Июль 1940 г.

Все труднее и труднее писать. Конечно, никогда не будет легче, и вот я лишена своей последней отрады. Сегодня рука тверже, но это не надолго. Возможно, что скоро я совсем не буду в состоянии взять перо в руки... А могла бы я пережить Нину, не будь Миши? «Мамочка, я для тебя его родила. Он твой». И он был мой луч. Мой Миша. Мой единственный луч. Значит ли это, что я мало любила вас? моих? Оттого и было столько муки, что сильно любила[10]. А луч был счастье. Другого после смерти Нины не было <...> А разве я не любила и не люблю Наташу? И любила! И жалела! Жалела! И ее и себя! За нее больше всего боюсь.

Как жизнь скверно кончается. Это когда заживешься. Ведь Миша умер счастливый! Лева, Лодя, Нина — все были еще очень связаны с нами, очень свои, близкие, хотя и взрослые, но «наши дети». Была семья, и он умер в семье. Не видел

он болезни и смерти Нины, несчастья Левы, не видел ничего, что пришлось видеть и испытать мне и от чего уже не стало семьи, и мне остались бы только горькие подонки, если бы не мой Миша, опять сын, только мой, милый, ласковый, теплый, душевный. Нинин сын. Если он изменится, я этого уже не увижу. Я забыла, что у него был отец. Нет, я верю в своего мальчика и не жду от него сюрприза[11].

...У писателей, говорил мне Чехов, сердце работает не так, как у других людей. Я уверен, что у вас писательское сердце, потому что вы талантливы, хотя пишете мало, потому что очень ленивы. Выслушав сердце, я скажу, принадлежит ли этот человек к миру художественности. Художники нервны, трепетны, и сердце у них нервное и трепетное, ненормальное. Это не болезнь, а присущее им качество.

Тютчев сказал: «мысль изреченная есть ложь». Нет, не мысль. Мысль способна выразить, и нужно выражать, «изрекать». А чувство? отношение? «изречешь» сегодня, а завтра ясно почувствуешь, что это ложь. Исправишь изреченное, но это вновь будет ложь.

Страшное разочарование: я поняла или, вернее, вспомнила, что когда умрешь, то уже не будешь чувствовать покоя. Просто меня не будет. Трудно вдуматься в это «не будет». Никакого удовлетворения. Ничего. Ничего. Мне ничего, а близким — одним облегчение, а другим, пожалуй, тяжело придется. Я не о чувстве. По чувству я знаю, что — кто поплачет, а кто и глубоко погорюет. Все знаю про всех. Хорошо, что у М[иши] будет жена. Я тогда сразу об этом подумала. А мне — ничего. Даже покоя. Мне ничего. Будто и не жила. И следа от меня не останется..

Июнь 1941 г.

Можно ли думать без ужаса, без содрогания о войне? Прежде она была ужасна, но теперь она стала невероятна. Прежде сражались, а теперь просто убивают кого попало, где попало, лишь бы убивать, разрушать, уничтожать. Кто-то начинает разрушать города, убивать бомбами стариков, женщин, детей... И вот казалось, что такому порядку должен быть положен конец, что война должна была быть упразднена, что должны были быть найдены другие пути и средства. И даже говорилось: «Это последняя война. Слишком много изобретено орудий уничтожения. Война становится невозможной»[12]. А невозможное стало еще ужаснее и все-таки оказалось возможным. И никто с ужасом не спрашивает: — Да куда же мы идем? До какого предела дошли? Люди мы? или уже не люди, тогда кто же?

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ

Без привычки. Рассказ печатается по сборнику: Авилова Л. А. «Власть и другие рассказы». М., Посредник, 1906.

На хуторе. Впервые опубликовано: Биржевые ведомости, 1898, № 26.

Забытые письма. Впервые напечатано: Петербургская газета, 1897, 9 июня, № 155.

Известен отзыв о рассказе А. П. Чехова: «Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочитал Ваши «Забытые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. Это маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма — это неудачная, скучная форма, и притом легкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу... Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант...» (А. П. Чехов, письмо Л. А. Авиловой 3 ноября 1897 года).

Власть. Впервые опубликовано в кн.: Власть и другие рассказы. М., Посредник, 1906.

А. П. Чехов писал 15/II 1895 г.: «Власть» милый рассказ, но будет хорошо, если Вы изобразите не земского начальника, а просто помещика» (А. П. Чехов. Письма, т. 6. М., Наука, 1978.).

Пышная жизнь. Печатается по изданию: Образ человеческий. М., Книгоизд-во писателей в Москве, 1914.

Глупыши. Печатается по изданию: Образ человеческий. М., Книгоизд-во писателей в Москве, 1914.

Первое горе. Печатается по изданию: Власть и другие рассказы. М., Посредник, 1906.

В весенней дымке. Печатается по изданию: Образ человеческий. М., Книгоизд-во писателей в Москве, 1914.

Тайна печали. Впервые опубликовано: Русские ведомости, 1899, № 336.

Творчество. Печатается по изданию: Образ человеческий. М., Книгоизд-во писателей в Москве, 1914.

Последнее свидание. Впервые опубликовано: Сын отечества, 25 февраля 1899 г., № 55.

Образ человеческий. Печатается по изданию: Образ человеческий, М., Книгоизд-во писателей в Москве, 1914.

ВОСПОМИНАНИЯ

А. П. ЧЕХОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ[1]

Впервые напечатано с сокращениями в сборнике «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ, 1947. Переиздано в том же сборнике в 1952, 1954 и 1960 гг. В отрывках опубликовано в журнале «Советская литература», 1980, № 1. Перепечатано за рубежом: во Франции в журнале «Europe», в номере, посвященном А. П. Чехову (1954); в Англии отдельным изданием (1950); в Америке отдельным изданием (1950). В настоящем издании публикуется по рукописи с сокращениями.

И. А. Бунин писал, ознакомившись с повестью в первом издании: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой» (Бунин И. А. Собр. соч. в 9-ти т., т. 9. М., Худож. лит., 1967, с. 230).

[1] Сестра Л. А. Авиловой Надежда Алексеевна — была замужем за редактором-издателем «Петербургской газеты» Сергеем Николаевичем Худековым. В «Петербургской газете» печатался Чехов.

[2] *Авилов* Михаил Федорович (1863—1916).

[3] *Гольцев* Виктор Александрович (1850—1906), публицист и журналист, редактор журнала «Русская мысль».

[4] *Суворин* Алексей Сергеевич (1834—1912), редактор-издатель газеты «Новое время».

[5] Имеется в виду Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931), беллетрист, журналист.

«...Могли рассказать это только Лейкин или Ясинский, который, по моим сведениям, кутил в этот вечер вместе с Чеховым.

...Ясинский! В этот день Ясинский тоже был на юбилее и, следовательно, на обеде у Худ[ековых]. Он видел нас вместе. Дорого он возьмет солгать? Чехов мог говорить одно, а он слышать другое, потому что всякий видит и слышит наиболее ему свойственное» (Авилова Л. А. О любви. Рукопись, с. 42).

[6] *Лейкин* Николай Александрович (1841—1906), писатель-юморист, редактор журнала «Осколки».

[7] *Потапенко* Игнатий Николаевич (1856—1929), писатель.

[8] *Альбов* Михаил Нилович (1851—1911), писатель.

[9] *Лазарев* (псевдоним Грузинский) Александр Семенович (1861—1927), писатель.

[10] *Баранцевич* Казимир Станиславович (1851—1927), писатель.

[11] Имеется в виду эпизод из рассказа М. Н. Альбова «Рыбьи стоны» (Осколки, 1885, № 27—31).

---

[1] Частично использованы примечания из издания: «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ, 1954.

1/2 11 Заказ 453

[12] В Эртелевом переулке была квартира А. С. Суворина, где остановился А. П. Чехов.

[13] Из письма А. П. Чехова от 21 февраля 1892 г.

[14] *Кривенко* Сергей Николаевич (1847—1907), редактор газеты «Сын отечества».

[15] *Буренин* Виктор Петрович (1841—1926), журналист-фельетонист, сотрудник газеты «Новое время».

[16] Младшему брату Лидии Алексеевны Алексею Алексеевичу Страхову (Алеше), пианисту и композитору (род. в 1874 г.).

[17] В повести «О любви» Лидия Алексеевна пишет: «Я не пишу романа, мне нечего бояться, что я погрешу против психологии, против логики, даже против вероятности. Я пишу то, что было. Значит, то, что я пишу,— правда. Если она мне самой кажется невероятной, это уже не моя вина. Ант[он] Павл[ович] замолчал, а я с напряженным вниманием следила за собой. Почти каждый день я говорила себе: «Вот, мне уже лучше. Я выздоравливаю. Я уже меньше думаю о нем. Сегодня утром проснулась и, кажется, не вспомнила ни разу». Я точно щупала себе пульс и измеряла температуру» (О любви. Рукопись, с. 65).

[18] *Яворская* Лидия Борисовна (1872—1921), артистка.

[19] Далее в рукописи повести Лидии Алексеевны «О любви» (первого варианта повести «А. П. Чехов в моей жизни») были такие строки: «Ну, хорошо! Конечно, глупо. Кто же с этим спорит? Но что я могла сказать умнее? Согласиться, чтобы он шел со мной? А что он сказал бы мне? Или опять ничего или сказал бы слишком много. Что бы мы тогда стали делать? Ведь я об этом думала тысячу раз. Что бы мы **могли** (подчеркнуто Л. А.) сделать? Расстаться с детьми я бы не могла <...> О, до чего глупо все, что я говорила А. П. в театре! Но боже мой! Что я могла сказать? Что?» («О любви», с. 71—72).

Отнесение этой главы к периоду после представления «Чайки» в Александринском театре вызывает сомнение. Лидия Алексеевна писала (текст этот в ее беловой рукописи зачеркнут): «Совершенно не помню, когда это было» (рукопись с. 80.). В неопубликованной повести «О любви»: «Нет, я не могу писать последовательно. Ну, когда это было?» (с. 69). Таким образом, сама Лидия Алексеевна, живо воспроизведя эпизод ее встречи с Антоном Павловичем в театре Суворина, колебалась, к какому времени его отнести. Сопоставив содержание глав VIII и XI, а также исходя из того, что после премьеры «Чайки» в октябре 1896 г. Чехов не бывал в Петербурге до 23 июля 1897 г. (см. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», 1954 г., «Примечания», с. 624), И. А. Гофф справедливо полагает, что гл. XI должна следовать непосредственно за гл. VIII текста воспоминаний.

[20] *Страхов* Федор Алексеевич, Федя (1861—1923), старший брат Лидии Алексеевны, писатель, последователь учения Л. Н. Толстого.

[21] Л. Н. Толстой навестил А. П. Чехова в больнице 28 марта 1897 г.

[22] Рассказ А. П. Чехова «Шуточка».

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

[1] В 1940 году Лидия Алексеевна закончила и отдала для опубликования мемуарную повесть «А. П. Чехов в моей жизни», которая была издана лишь после ее смерти и выдержала ряд изданий (см. выше). При подготовке к печати рукопись подверглась значительным сокращениям. Так, сняты предпосланные повести эпиграфы из Тургенева и Блока. Они восстановлены в издании 1960 года, но лишь в примечаниях (см. «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», 1960, с. 724). Между тем Лидия Алексеевна долго выбирала эпиграфы. Первоначально в рукописи был еще третий эпиграф из Достоевского: «Об женщине нельзя сообщать третьему лицу. Конфидент не поймет. Ангел и тот не поймет. Если женщину уважаешь, не бери конфидента. Если себя уважаешь, не бери конфидента». Эпиграф в окончательный вариант автором не помещен.

Лидия Алексеевна считала эпиграфы очень существенными для всей тональности повести, как бы задающими ее настроение. Показывая эти эпиграфы автору настоящих примечаний, она замечала: «Только почему у Блока «смеющийся мальчик»?» (О глупое сердце, смеющийся мальчик. Когда перестанешь ты биться?) Можно предположить, что эпиграфы были сняты первым редактором повести.

Эпилог повести под названием «Тысяча девятьсот четвертый год» вообще не увидел света. В примечаниях к повести в издании 1960 года говорится об эпилоге как о «незаконченном отрывке» (с. 724). Между тем эта глава является именно и композиционным и сюжетным завершением повести. В настоящем издании эпилог (с незначительными сокращениями) представляется вниманию читателей впервые.

[2] В усадьбу Авиловых Клекотки.

[3] См. «А. П. Чехов в моей жизни».

[4] «Несколько лет после смерти...» и т. д. Этим отрывком заканчивается первый вариант воспоминаний Лидии Алексеевны — «О любви».

ИЗ ПОВЕСТИ «О ЛЮБВИ»

Повесть «О любви» является первым вариантом повести «А. П. Чехов в моей жизни». Заглавие, очевидно не случайно, перекликается с заглавием рассказа А. П. Чехова «О любви». Повесть сохранилась в рукописи, написанной на страницах школьной «общей» тетради, на обороте которых впоследствии Лидия Алексеевна вела дневниковые записи последних лет. В такой записи 1937 года она пишет, очевидно перечитав рукопись: «О любви. Когда я писала ее? Давно». Следовательно, написание рукописи можно отнести ко времени не позднее начала 30-х годов. Рукопись содержит описание юных лет Лидии Алексеевны, ее первую несостоявшуюся помолвку, ее замужество и знакомство с А. П. Чеховым. При переделке рукописи вся первая часть была из нее исключена.

Здесь предлагается вниманию читателя отрывок из этой рукописи, который содержит в себе как бы оправдание за невнимание в повести к своей семейной жизни и к своему мужу М. Ф. Авилову.

[1] Лидия Алексеевна имеет в виду то обстоятельство, что в повести «О любви» (и позднее, в повести «А. П. Чехов в моей жизни») все повествование ведется под углом зрения ее отношений с А. П. Чеховым, а ее семейная жизнь остается почти не отраженной.

[2] Этот разговор в сокращении описан в повести «А. П. Чехов в моей жизни». И. А. Бунин, прочтя воспоминания Авиловой, даже предположил возможное влияние ее на Чехова. Так, рассказывая Вере Николаевне Буниной о своем разговоре с Антоном Павловичем, в котором Чехов советовал ему вернуться к сыну, так как сын будет страдать от разрыва родителей, Иван Алексеевич, улыбнувшись, заметил:

— Это влияние Авиловой, как я теперь понимаю, она говорила Чехову: «Ведь непременно должны быть жертвы. Прежде всего дети. Надо думать о жертвах, а не о себе» (см. М у р о м ц е в а-Б у н и н а В. Н. Жизнь Бунина. 1870—1906. Париж, 1958, с. 129).

[*НА ПЛЮЩИХЕ*]

[1] Надежда Афанасьевна Страхова, урожденная Кузмина (1841—1893).

[2] Вера Дмитриевна Кузмина, урожд. Кутузова (годы жизни неизвестны).

[3] Надежде Дмитриевне Черторижской, урожд. Кутузовой (ум. в 1878 г.)

[4] Алексей Федорович Страхов (1812—1875).

[5] Воспитанницей закрытого учебного заведения для девушек-дворянок — Смольного института благородных девиц.

[6] Афанасия Николаевича Кузмина (годы жизни неизвестны).

[7] Дом № 38 по Плющихе, ныне ул. Еланского. Снесен в 1968 году.

ГОРЕ

[1] Усадьба Клекотки Тульской губ. Епифанского уезда, в которой выросла Лидия Алексеевна, была разделена на три части, одна из которых принадлежала Селезневым, другая — Кропоткиным и третья — Страховым. В XVIII веке Клекотки принадлежали Петру Алексеевичу Кропоткину (р. в 1770 г.), дочь которого, Анна Петровна Кропоткина, вышла замуж за Ф. А. Страхова, деда Лидии Алексеевны, и получила часть усадьбы во владение.

Таким образом, анархист Петр Алексеевич Кропоткин доводился троюродным братом Лидии Алексеевне Авиловой (урожд. Страховой). Но семьи эти отношений между собой не поддерживали. Брат Лидии Алексеевны, Федор Алексеевич Страхов, во время своего пребывания в Англии в 1907 году, познакомился с П. А. Кропоткиным и восстановил родственные связи.

После смерти Надежды Афанасьевны Страховой в 1893 году имение по наследству перешло к ее второму сыну — Павлу Алексеевичу,— который очень быстро прокутил его. Михаил Федорович, зная привязанность к Клекоткам Лидии Алексеевны, занял денег и купил имение «с молотка» на аукционе. Так Лидия Алексеевна получила возможность опять вернуться в родовое гнездо.

[2] Немецкая бонна.

[3] Английские часы XVIII века, сохранившиеся в Клекотках со времен их первого владельца. Лидия Алексеевна очень любила эти часы, никогда с ними не расставалась. Она неоднократно упоминает о них в своих воспоминаниях. Часы сохранились в семье и исправно ходят до настоящего времени.

[4] Гувернантка, преподававшая французский язык и музыку.

[5] Александра Алексеевна Воейкова и Надежда Алексеевна Худекова.

[*ОТРОЧЕСТВО*]

[1] В живых осталось шестеро: Федор, Лидия, Павел, Николай, Елена, Алексей.

[2] Лидия Алексеевна имеет в виду свою двоюродную бабушку.

[3] Позднее Павел Алексеевич убежал из дому и стал юнгой на английском корабле «Плимут». В доме долго жила кружка с такой надписью. Проделав большое плаванье, Павел Алексеевич вернулся домой. Став взрослым и обладая великолепным голосом и драматическим талантом, он был послан на купеческие деньги в Италию учиться пению, но ничему не выучился. По рекомендации Л. Н. Толстого выступил перед директором императорских театров Теляковским, был принят в Петербургский оперный театр с условием подготовить репертуар. Этого условия не выполнил. Прокутил унаследованное после смерти матери имение Клекотки и умер в 1914 г. 47 лет от роду.

[*ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ*]

[1] В Большом Могильцевском переулке между Арбатом и Пречистенкой (ныне улицей Кропоткина).

[2] В этой шкатулке находилось и письмо А. П. Чехова за подписью «Алехин» (см. «А. П. Чехов в моей жизни»; Л Н, 1960, т. 68, с. 260; Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем, т. 10. М., Наука, 1981, с. 33).

[3] Об этом Лидия Алексеевна пишет в повести «А. П. Чехов в моей жизни».

ПОЧЕМУ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ СТАЛ БЫВАТЬ В НАШЕМ ДОМЕ

[1] Впоследствии, когда Лидия Алексеевна стала печататься, Толстой с сочувствием относился к ее произведениям. Так, Д. П. Маковицкий записал слова Льва Николаевича о том, что «Авилова пишет лучше Андреева.

Она выбирает старые нравственные темы и пишет на них» (Маковицкий Д. П. У Толстого, т. III. М., Наука, 1979, с. 149). 11 марта 1905 года Толстой писал Лидии Алексеевне: «...если Вы позволите, то я помещу в Круге чтения «Первое горе». Позволите ли Вы мне сделать в нем некоторые, очень маленькие, сокращения? Я пришлю их на Ваш суд. Я перечел этот рассказ, и он мне понравился еще больше, чем прежде, то есть очень. От души желаю Вам всего истинно хорошего... Лев Толстой» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 75, с. 236). Рассказ помещен в книге «Круг чтения», Пб., 1906 г.

В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ Я СТАЛА НЕВЕСТОЙ...

[1] Семен Александрович Унковский, впоследствии предводитель дворянства в Кирсановском уезде Тамбовской губ. Умер в 1927 г. (примечание Л. А. Авиловой).

[2] Вспоминаю такой рассказ Лидии Алексеевны: она ехала в Клекотки со своей гувернанткой на поезде. Было ей лет шестнадцать. На платформе ее внимание привлекла одна девушка. Она была примерно того же возраста, что и Лидия Алексеевна, но наружность ее поразила Авилову своей миловидностью и каким-то благородством. Лидия Алексеевна невольно на нее посматривала. Гувернантка заметила ее взгляды.

— Что, Лида, не хуже вас, не правда ли? — спросила она. Лидия Алексеевна была так поражена, что не сразу ответила. Разве могла она сравниться с этой красавицей?!

А вот как описывал И. А. Бунин наружность Л. А. Авиловой: «Я помню ее в юности. Вся бледная, с белыми волосами, с блестящими глазами... Молодая девушка с розами на щеках. Она обладает таким тактом, таким неуловимым чутьем, каким не обладает ни один из моих товарищей по перу» (Л Н, т. 68, 1960, с. 402). В другом месте: «В ней все было очаровательно: голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз... И как хороша она была в трауре по ее рано умершему... мужу (Бунин И. А. Собр. соч., т. 9. М., 1967, с. 230).

Ср. воспоминания о ней ее племянницы Н. Ф. Страховой:

«Она была ни на кого не похожа. Она ходила, говорила и была одета совсем не так, как другие, а гораздо-гораздо лучше! Она была красавица, и все у нее было красивое. Помимо того, она была писательница, а для меня это слово было полно очарования» (Страхова Н. Ф. Воспоминания. Машинопись, с. 54).

ЗВОНОК

[1] Описанное относится ко времени, когда Лидия Алексеевна была невестой С. А. Унковского.

[2] *Страхова* Елена Алексеевна (в замужестве Ленц), Эля, Аленка (р. 1873 г.), младшая сестра Л. А. Авиловой. В 1922 году уехала вместе с Лидией Алексеевной в Чехословакию к дочери Л. А. Авиловой Нине

Михайловне Гзовской. Позднее жила в Англии, постоянно помогая Лидии Алексеевне материально. Во время Великой Отечественной войны связь с ней прервалась, дальнейшая ее судьба неизвестна. Лидия Алексеевна испытывала к ней постоянную и крепкую привязанность, чувство большой благодарности. В 1939 году она записала: «Как передать Эле мою безграничную любовь и благодарность? Как ей выразить, чем она была для меня? Для этого слов не найду. Думая, могу только плакать».

[*ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В КЛЕКОТКАХ*]

[1] Описанное здесь, как и в следующем отрывке [«Летний день в Клекотках»], относится уже к самому последнему периоду жизни Л. А. Авиловой в Клекотках, незадолго до смерти ее мужа М. Ф. Авилова (ум. в 1916 г.).

[*ПЕТЕРБУРГ*]

[1] *Ежов* Николай Михайлович (1862—1942), беллетрист, фельетонист.

[2] *Тихонов* Владимир Алексеевич (1857—1914), писатель, редактор журнала «Север».

[3] *Гнедич* Петр Петрович (1855—1927), писатель-беллетрист и драматург.

[4] *Тихонов* (Луговой) Алексей Алексеевич (1853—1914), писатель.

[5] Не было исполнено.

[6] Описанное относится к самым первым шагам Лидии Алексеевны на писательском поприще. Позднее, как мы видим, отношение ее к Тихонову изменилось.

[7] Авилова Л. А. Счастливец и др. рассказы. Спб., изд. Стасюлевича, 1896.

[8] *Скалон* Василий Юрьевич, журналист, общественный деятель.

[9] Брат Лидии Алексеевны Федор Алексеевич Страхов, писатель, был помощником В. Г. Черткова по составлению Свода мыслей (предметного указателя) Л. Н. Толстого и жил одно время в усадьбе Александры Львовны Толстой, Телятинках, рядом с В. Г. Чертковым, недалеко от Ясной Поляны. Лидия Алексеевна с дочерью Ниной Михайловной навестили там Федора Алексеевича 9/1 1909 г. и, по приглашению Л. Н. Толстого, побывали также в Ясной Поляне. Этот визит зафиксирован в книге Д. П. Маковицкого «У Толстого» (1979, кн. 3, с. 305).

[10] *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель.

[11] *Вейнберг* Петр Исаевич (1830—1908), поэт и переводчик, председатель Литературно-театрального комитета.

[12] Лидия Алексеевна имеет в виду помощь П. И. Вейнберга в постановке ее пьесы «Любовь» (см. ниже).

[13] «Счастливец и др. рассказы». Лишь в 1914 г. была издана вторая книга Л. А. Авиловой «Образ человеческий». В 1914 г. Лидия Алексеевна была избрана членом Общества любителей российской словесности при Московском университете.

[14] Имеется в виду первая империалистическая война 1914—1918 гг.

[15] Здесь Лидия Алексеевна еще не знает, что ящичек безвозвратно утерян.

[16] Сестра Л. А. Авиловой Елена Алексеевна, которая хорошо пела, и брат Алексей Алексеевич, пианист и композитор. Елена Алексеевна петь училась в Дрездене, но ученье не закончила. Алексей Алексеевич был студентом консерватории, учеником Н. А. Римского-Корсакова, подавал большие надежды, но консерваторию не окончил; Павел Алексеевич Страхов, несмотря на великолепные данные, певцом не стал; Федор Алексеевич был композитором-дилетантом, талантливым пианистом, но музыка его была известна лишь в узком кругу: он увлекся толстовством. Таким образом, то обстоятельство, что Лидия Алексеевна не развила в полной мере своего писательского таланта, что она неоднократно подчеркивает, находит объяснение в общем «дилетантизме» семьи, при наличии в ней разнообразных талантов. Эта талантливость вместе с духом «дилетантизма» восходит еще к деду Лидии Алексеевны Афанасию Николаевичу Кузмину, который, не будучи профессиональным писателем и музыкантом, писал стихи и играл на виолончели.

[17] В то же время Лидия Алексеевна писала: «Читала Бунина «Суходол». Ни одного рассказа, или почти ни одного, без убийства. Даже естественная смерть и та неестественна, так как кто-нибудь способствовал ей. Убивают спокойно, даже радостно, даже ласково. Это как будто в духе народа — убивать. Даже животные убивают со злобой, наслаждаясь убийством и страданием. Только один Сверчок умел любить сильно и бескорыстно и горевал о своем сыне, о своем «товарище» много лет. Это единственный человеческий образ. Тяжелая книга!» (Дневник, 1921, янв.).

[18] *Савина* Мария Гавриловна (1854—1915), артистка Александринского театра.

[19] Кони Анатолий Федорович (1844—1927), либеральный судебный деятель и публицист.

[20] Шапир Ольга Андреевна (1850—1916), писательница.

[21] «Фру-фру» — французская мелодрама Мельяка, которая была популярна среди русских театралов еще в 70-е годы XIX века. Упоминается в драме А. Н. Островского «Таланты и поклонники». Имя героини использовано Л. Н. Толстым как кличка лошади Вронского в романе «Анна Каренина».

[22] В одном из неопубликованных писем А. П. Чехову Лидия Алексеевна пишет об этом посещении: «В прошлом году у меня был Алекс[ей] Макс[имович] Горький, сидел вечер, пил чай...» (февр. 1904 г.).

[23] Лидия Алексеевна, в противоположность брату Федору Алексеевичу, не разделяла философского учения Л. Н. Толстого, «толстовства». Поэтому после слов «великий мыслитель» она поставила вопросительный знак.

[24] Эти высказывания Л. А. Авиловой не вполне точно приведены в примечаниях к повести А. П. Чехова «О любви» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем, т. 10. М., Наука, 1977, с. 385).

[ЗНАКОМСТВО С ГОРЬКИМ]

[1] Отрывок не окончен. Насколько мне известно, в «Знании» Лидия Алексеевна не печаталась. Что Горький посетил ее, видно из другой части мемуаров (см. выше).

[«ИВАНОВ» А. П. ЧЕХОВА В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕ]

[1] См. в настоящем издании «А. П. Чехов в моей жизни».

[2] «Стрелочек» — популярная песенка конца XIX века:

Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать,
Как девица шла гулять...

[3] По пьесе Саша. Л. А. Авилова неточно приводит следующую реплику Саши: «Ну, послушайте, сделайте мне такое одолжение! Если не хотите плясать, смеяться, петь, если все это скучно, то прошу вас, умоляю, хоть раз в жизни, для курьеза, чтобы удивить или насмешить, соберите силы и все разом придумайте что-нибудь остроумное, блестящее, скажите даже хоть дерзость или пошлость, но чтоб было смешно и ново! Или все разом совершите что-нибудь маленькое, чуть заметное, но хоть немножко похожее на подвиг...

...Тысячу раз я вам говорила и всегда буду говорить, что все вы не то, не то, не то!» (д. II, III).

[4] А. П. Чехов в письме к А. С. Суворину от 30/XII 1888 г. разъяснил свое понимание характеров действующих лиц пьесы «Иванов».

[5] В письме к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) А. П. Чехов писал: «Вы в письме утешаете меня на счет «Иванова». Спасибо Вам, но уверяю Вас честным словом, я покоен и совершенно удовлетворен тем, что сделал и что получил. Я сделал то, что мог и умел,— стало быть прав: глаза выше лба не растут; получил же я не по заслугам, больше чем нужно. ...Кстати, об успехах и овациях. Все это так шумно и так мало удовлетворяет, что в результате не получается ничего, кроме утомления и желания бежать, бежать... (18 февраля 1889 г.).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ [«ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГАЗЕТЫ»]

В «Петербургской газете» (20/X 1896, № 290), спустя два дня после первого представления «Чайки» в Александринском театре, было напечатано «Письмо в редакцию» Л. А. Авиловой (подпись Л. А-ва). Письмо приводится с небольшими сокращениями. Несколько лет спустя А. П. Чехов спрашивал в письме Лидию Алексеевну: «Вы писали о «Чайке»? Где и когда? Что Вы писали?» (письмо А. П. Чехова Л. А. Авиловой 23/III 1899 г.).

[*НА СПИРИДОНОВКЕ*]

[1] В 1907 году семья Л. А. Авиловой переехала в Москву. Был снят особняк на Спиридоновке (ныне ул. Алексея Толстого). Вниманию читателя предлагаются два отрывка из воспоминаний об этом периоде жизни Л. А. Авиловой. См. также о Спиридоновке в главе [«После 1916 года»].

[2] Хутор Авиловых в Области войска Донского.

[*ПОЕЗДКА В КРЫМ*]

[1] 1914 или 1915 года.

[2] Таня (Татьяна Николаевна Страхова) умерла от диабета в 1918 году.

[3] Владимир Владимирович Газовский женился на Нине Михайловне Авиловой в марте 1917 года, спустя полгода после смерти М. Ф. Авилова.

[4] Лидия Алексеевна долго не имела известий о дочери, последовавшей за мужем-офицером за границу.

[*СЫНОВЬЯ*]

[1] Авилов Лев Михайлович (1888—1950), старший сын Л. А. Авиловой, юрист по образованию.

[2] Авилов Всеволод Михайлович (1889—1952), второй сын Л. А. Авиловой, юрист и филолог.

[3] Авилова Нина Михайловна, в замужестве Газовская (1891—1930).

[4] В семейном архиве сохранился машинописный том стихотворений В. М. Авилова, а также тетрадь его юношеских стихов с пометами В. Я. Брюсова, очень сочувственными: «Очень хорошо, вот это ваши стихотворения, в них вы страшно сильны, и я их... очень высоко ценю...»

Как мне запомнилась она
Под звон печальный колоколен...
Великий пост, апрель, весна,
А я — я не влюблен, я болен!
Взволнован чем-то я до слез,
Тем, что иду я рядом с нею,
Люблю лицо ее и шею
И завитки ее волос...
Тем, что на миг она близка,
Тем, что на миг она покорна,
Тем, что в руке моей рука,
Любимая, в перчатке черной.

1912

Стихи его ценил И. А. Бунин. Запросто бывая у Авиловых, он приходил в комнату Всеволода и просил: «Всеволод Михайлович! Ну прочтите «и вообще»!

Вот это стихотворение:

Помню утро в росистом плаще,
Помню милый твой смех, твои шалости,
И сжимается горло от жалости
И к тебе, и к себе... и вообще!
Ты сидишь на открытом окне
В волнах воздуха, шелеста, щебета,
Смотришь в синее небо, а в небе-то
Облака, словно пух, в вышине!
Помню, как ты безгрешно чиста,
Как глаза твои солнечно сужены,
Как блестят твои зубы-жемчужины
В улыбнувшемся венчике рта...
А теперь... Посмотрись же, скорбя,
В эти строки как в верное зеркало:
Все ты смяла, ты все исковеркала!
Как мне жаль и тебя и себя!

[*ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ*]

[1] Телеграмма была от Михаила Федоровича, поехавшего лечиться на Кавказ. Там он заболел и неожиданно скончался (летом 1916 г.). Позднее Лидия Алексеевна с ужасом вспоминала об этой телеграмме: «И жутко вспоминается мне другая телеграмма, больше года тому назад: всегда один, ухода нет... Из такой страшной дали прилетела эта жалоба! И когда дошла, даже когда еще шла, все уже было кончено. Страшные и незабываемые это для меня слова!» (Дн., февр. 1918 г.).

[*ПОСЛЕ 1916 ГОДА*]

[1] Город Михайлов на реке Проне в Рязанской губ., где жила вдова брата Лидии Алексеевны Маргарита Николаевна Страхова, по второму мужу Бурмина.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

1917—1922

[1] Запись сделана непосредственно после отъезда Нины Михайловны из Москвы.

[2] В силу различных обстоятельств ни один из троих детей Лидии Алексеевны не читал ее записок.

[3] Многими Лидия Алексеевна так и воспринималась, см. определение Н. А. Лейкина: «В Москве писательница-дилетантка Л. А. Авилова» (А. П. Чехов в воспоминаниях современников, 1960, с. 728). Ср., однако,

характеристику И. А. Бунина, хорошо понимавшего, что Лидия Алексеевна не была писателем-профессионалом: «Она принадлежит к той породе людей, к которой относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах,— конечно, она не отдала писательству своей жизни, она не сумела завязать тот крепкий узел, какой необходим писателю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с литературным искусством, но в ней есть та сложная таинственная жизнь. Она как переполненная чаша» (ЛН, т. 68. М., 1960, с. 402).

[4] В ноябре 1918 г. мы со старшей сестрой болели корью, и бабушка Лидия Алексеевна навещала нас.

[5] Рукописный журнал, издаваемый для толстовцев Ф. А. Страховым на гектографе.

[6] *Живаго* Василий Романович (1887— год смерти неизвестен), инженер, приятель Льва Михайловича.

[7] Выселение не состоялось, но ввиду дороговизны квартиры, плата за которую была повышена сравнительно с довоенной в 10 раз (750 р. в месяц, не считая стоимости дров), пришлось согласиться на «уплотнение», т. е. на вселение в одну из трех комнат постороннего человека, военного врача М. А. Захарченко.

[8] Лидия Алексеевна очень тяготилась присутствием постороннего человека в квартире, однако, считая Захарченко своим жильцом, она вменила себе в обязанность заботиться о его питании. Коммунальной квартира ею не воспринималась. Таким образом Захарченко столовался у Авиловых, что было в то время очень сложно для Лидии Алексеевны: приходилось кормить троих мужчин, кроме себя и Анюты.

[9] Позднее Лидия Алексеевна рассказывала Н. Ф. Страховой, что в день смерти Федора Алексеевича Страхова, точно 7 сентября 1923 г., он вошел к ней в комнату в словацком городе Кошице (она жила тогда в Чехословакии и с родными не переписывалась) и сказал: «Ли́душка, я умер!» (Страхова Н. Ф. Воспоминания, с. 185).

[10] Обстоятельства сложились так, что Анюта (Анна Павловна Павлова), прожившая всю жизнь в семье Авиловых, пережила и Лидию Алексеевну и всех ее троих детей. Последней ее воспитанницей была дочь Всеволода Михайловича. Умерла Анна Павловна в 1957 году. В июле 1940 года Лидия Алексеевна записывает: «Мне хотелось бы записать, о чем я прошу... Я хочу, чтобы все мои тряпки перешли Анюте. Ни от кого я столько преданности и забот не видала. Я без нее жить не могла. Все носильное, что было мое — ее. Это очень убого, но она оценит. Я знаю, что никто из вас не покинет ее в старости и сделает для нее все, что можно сделать. Я ничего не могла и не могу, и мне это очень тяжело. Главная моя надежда на Мишу: он заплатит этот долг».

[11] Варвара Александровна Астахова (1879—1970), гражданская жена Л. М. Авилова.

[12] Селезнев — один из совладельцев Клекоток.

[13] Ольга Владимировна Газовская, артистка, сестра В. В. Газовского.

[14] Речь идет о письмах к сыну Марии Ивановны Римской-Корсаковой. См. о ней: Гершензон М. Грибоедовская Москва. М., Изд. Сабашниковых, 1928, изд. 3-е.

[15] Пышная жизнь, Камардин. Книгоизд-во писателей в Москве, 1918. Серия «Дешевая библиотека».

[16] «Маленький сундук», «литературный сундучок» — неоднократно упоминается Лидией Алексеевной. Он хранился в подвале ее друзей Даниловых и был разграблен позднее. Там находилась и шкатулка с самыми дорогими письмами.

[17] В связи с заболеванием туберкулезом Лидию Алексеевну удалось поместить в легочный санаторий на Воробьевых (ныне Ленинских) горах.

[18] В дневнике описывается последнее свидание Лидии Алексеевны с ее первым женихом С. А. Унковским.

ПИЛЬЩИК

[1] Написано в Гагаринском переулке в 20-х гг.

[*ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ*]

[1] Уехав с мужем в эмиграцию, Нина Михайловна по дороге родила и в родильном доме заразилась не сразу распознанным энцефалитом. Болезнь запустили, и она сделалась неизлечимой. В Чехословакии, куда Гзовские, наконец, попали, Владимир Владимирович оставил семью, и приехавшая Лидия Алексеевна увезла дочь с внуком в Россию, где и ухаживала за ней до ее смерти в 1930 году и вырастила, с помощью сыновей, внука. Что пережила Лидия Алексеевна, ухаживая за медленно умиравшей дочерью, превратившейся в беспомощного инвалида, не поддается описанию. Двоюродная сестра Нины Михайловны — Наталья Федоровна Страхова — так описывает Нину в это время: «Голова ее не держалась на шее, а лежала на плече, глаза почти никогда не открывались, фигурой она напоминала пустое платье, повешенное на плечики — так она была худа. Ее кормили с ложечки, одевали, раздевали. Передвигалась она с большим трудом. Маленький Миша вскакивал к ней на колени и пальчиками старался открыть ей глаза, требуя ее внимания. Но сознание у нее сохранилось полностью, хотя реакция на все была очень замедленная» (Страхова Н. Ф. Воспоминания. Машинопись, с. 185—186).

[*ИЗ ДНЕВНИКОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ (1937 — 1941)*]

[1] Дошедшие до нас отрывочные записи последних лет написаны на оборотных листах повести «О любви» — первого варианта повести «А. П. Чехов в моей жизни». В это время Лидия Алексеевна — тяжело больной человек, страдающий деформирующим спондилезом, почти лишенный способности двигаться.

[2] Лидия Алексеевна была вынуждена управляющим домом, где она жила, обменять свою 27-метровую солнечную комнату на 2-м этаже на полутемную комнату в 18 метров на 5-м этаже (ул. Воровского, д. 10, кв. 22). Там с трудом удалось установить две кровати, диван, стол, шкаф и кухонный стол с керосинкой. Стряпали в комнате. Здесь Лидия Алексеевна с внуком прожила до 1941 года, когда, после объявления войны, она переехала к Всеволоду Михайловичу, продолжавшему жить в Гагаринском переулке. Там она и скончалась 23 сентября 1943 года 79 лет от роду.

[3] Переработанный вариант повести «О любви», которая писалась в этой тетради — мемуарная повесть, первоначально озаглавленная «А. П. Чехов в моей жизни. (Наш роман)»,— был написан позднее и отдан для опубликования в 1940 году. В архиве Л. А. Авиловой сохранился договор ее с Литературным музеем за подписью В. Д. Бонч-Бруевича об опубликовании этой повести в Летописях Литературного музея. Редактировал повесть П. С. Попов. Публикации помешала война.

[4] Лидия Алексеевна боготворила своего внука. К тому времени, когда писались эти строки, Миша окончил школу, поступил в Геологический институт, был отличником, получал стипендию. Это дало основание Лидии Алексеевне сказать, что она «села ему на шею». Между тем она пользовалась постоянной помощью сына, Всеволода Михайловича. Однако ощущение материальной поддержки именно со стороны жившего с нею внука заставило ее написать эти горькие строки. Лишь перед самой войной — в марте 1941 года — ей была назначена, как старой писательнице, академическая пенсия.

[5] Примечания сделаны на полях тетради карандашом, нетвердым почерком: «Из пропавшего письма», «из того же письма».

[6] Речь идет о погибшем в неоднократно упоминаемом «литературном сундучке» автографе письма Чехова за подписью Алехин.

[7] Речь идет об окончательном варианте повести «А. П. Чехов в моей жизни», которая к этому времени была завершена.

[8] На полях повести «О любви» карандашом: «Может быть добавить и письмо Алехина? Но оно только переписано. Подлинника нет. Можно ли?»

[9] Последние три фразы без знаков препинания нетвердым почерком.

[10] Дети обожали Лидию Алексеевну. В одном из последних писем к матери Лев Михайлович писал: «...всюду и всегда ты как источник, как символ этого счастья, этой полноты жизни, этой радости и остроты восприятия. Всегда ты со мной и около меня, моя дорогая, моя обожаемая маманя» (7 июня 1942 г.).

[11] Михаил Владимирович Газовский (1919—1971) блестяще оправдал надежды Лидии Алексеевны: вся его жизнь была озарена яркой талантливостью. Крупный ученый-геолог, он всю жизнь посвятил своей науке. Скоропостижно скончался 52 лет от роду. До конца жизни сохранял о Лидии Алексеевне благодарную память.

[12] Лидия Алексеевна имеет в виду первую мировую войну 1914—1918 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Лидия Алексеевна Авилова

РАССКАЗЫ
ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор *Т. М. Мугуев*
Художественный редактор *Г. В. Шотина*
Технический редактор *Г. О. Нефедова*
Корректоры *Э. З. Сергеева, М. С. Никитина, Г. М. Ульянова, Л. В. Конкина, Т. А. Лебедева*

ИБ № 3399
Сдано в набор 10.11.83. Подп. в печать 11.05.84. А05847. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2, на вклейку — мелованная. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,75 (в т. ч. вкл.-0,11). Усл. кр.-отт. 18,17. Уч.-изд. л. 21,04 (в т. ч. вкл.-0,04). Тираж 200 000 экз. Заказ 453. Цена 1 р. 70 к. Изд. инд. ЛХ-391.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 103012, Москва, проезд Сапунова, д. 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

